**С. Я. Штрайх. Роман Медокс. Похождения русского авантюриста XIX века.**

**(По изд. М.: Воениздат, 2000)**

**ПРЕДИСЛОВИЕ С. Я. ШТРАЙХА К ИЗДАНИЮ 1929 ГОДА**

Свыше полувека судьба Романа Медокса представляла загадку для русских историков. При Александре Первом он был заточен в Шлиссельбургскую крепость и просидел там безвыходно четырнадцать лет как опасный государственный преступник. Известно было, что в 1812 году Медокс, вырядившись блестящим свитским офицером, вился с подложным царским повелением на Кавказ, собирал там среди горских народов ополчение для борьбы Наполеоном и получил по фальшивым ордерам крупные деньги из разных отделений государственного казначейства. Освобожденный Николаем Первым в 1828 году из крепости, он недолго пробыл на воле, вскоре был снова заточен в Шлиссельбургскую крепость и на этот раз просидел там целых двадцать два года.

В одном месте своего Дневника Медокс говорит, что он подобно гомерову Юпитеру хотел двумя шагами достигнуть края вселенной, но очутился на одной из самых низших ступеней человечества. Два раза Медокс пытался сделать карьеру крупными авантюрами, и оба раза сорвалось: юпитеровы шаги привели его в крепость на тридцать шесть лет. Только смерть Николая Павловича освободила Медокса из каменного мешка, но уже там он был тогда на краю могилы и через три года после выхода из крепости умер, оставив неразъясненной загадку своего вторичного заключения.

Уходя в могилу, старый авантюрист позаботился еще о том, чтобы имя его было окружено легендою. За полгода до смерти Медокс опубликовал в специальном историческом сборнике записку о своих кавказских похождениях, выставляя себя в этой записке плутарховым героем, последователем Минина и Пожарского и Орлеанской девы. Ни словом не обмолвился он здесь о том, что делал на свободе с 1827 по 1834 год и за что был посажен в крепость при Николае Первом.

Только двадцать лет спустя стали появляться в русских исторических журналах сведения о Медоксе, нисколько, однако, не способствовавшие разъяснению его судьбы после восстания декабристов в 1825 году и не дававшие даже намека на то, что судьба эта была тесно связана с историей декабристов после их ссылки в Сибирь. Мало того: один из родственников Медокса, исходя из своих фамильных интересов, всячески старался осложнить за­гадку и, пользуясь письмом самого авантюриста, пытался, по поводу рассказа об его сношениях в 30-х годах с жандармским ведомством, создать легенду о том, что вто­ричное заточение Медокса в крепость вызвано было бояз­нью правительства Николая Первого, что он сбежит в Европу и опубликует там какие-то важные разоблачения.

Так и вошел Роман Медокс в энциклопедические словари с ореолом неразгаданной тайны. Трудно было догадаться, что таинственная связь Медокса с III отде­лением в начале 30-х годов обусловливалась ловко за­думанной провокацией, которая одно время грозила ухудшить положение сосланных в Сибирь декабристов и причинила много неприятностей их семьям в России.

Ничего нового не дали для разъяснения загадки Медокса ставшие после революции 1917 года доступ­ными для исследователей дела декабристов и другие документы, сохранившиеся в разных правительствен­ных архивах. Только благодаря случайно попавшейся мне пачке бумаг я имел возможность раскрыть тайну второго, двадцатидвухлетнего заточения Медокса.

Хотя вся изложенная в этой книге история очень ярка и красочна, хотя она полна захватывающей интриги и драматизма, мне не пришлось прибегать к фантазии ни в один из моментов продолжительного и сложного труда. Достаточно было выбрать из многочисленных документов наиболее сочные эпизоды, достаточно было систематизи­ровать весь материал и извлечь из него самые интригу­ющие отрывки, чтобы получилась книга, которая чита­ется как злободневный кинематографический роман.

Сама собою, без специальных стараний автора этих строк, перед читателем вырисовывается картина нравов той среды, которая на развалинах тайных обществ правилаРоссией в первое десятилетие царствования Николая Павловича, и выясняется обстановка, которую создавала эта среда для побежденных ею заговорщиков, хотевших освободить народ от рабства политического и социального, проходит на экране цветистая фигура самозванца, задумавшего на фоне этой эпохи и обстановки вывести грандиозную провокацию.

Появившиеся в печати — отечественной и зарубеж­ной — многочисленные отзывы о моей работе отмечали чрезвычайную занимательность включенного в книгу материала, который в настоящем издании пополнен новыми письмами и записками Медокса, а также очень интересным в историко-литературном и бытовом отно­шении Дневником его.

Занимательность повести о похождениях Медокса объ­ясняется живым изложением ее: во всей книге рассказ ведется от имени самого героя. Теперь еще больше, чем в указанной выше работе, я ограничил свою роль группи­ровкой и систематизацией собственных писаний Медокса, обладавшего хорошим литературным слогом и большой начитанностью. К тому же писания Медокса исполнены того пафоса лжи, о котором говорит Гоголь в своем указа­нии актерам, как играть Хлестакова: «Он сам забывает, что лжет, и уже сам почти верит тому, что говорит».

Кроме своего историко-литературного и бытового значения в качестве документов для характеристики эпохи хлестаковщины собранный мною материал инте­ресен также для истории пребывания декабристов на каторге и для истории отношения правительства Нико­лая Первого к побежденным в 1825 году заговорщикам, даже тени которых боялся могущественный император. Из вновь публикуемых здесь документов особенно интересны списки книг, читавшихся декабристами в Петровском заводе.

Надо еще отметить значение собранных здесь доку­ментов для истории русского общественного движе­ния — ими выявляются источники русской политиче­ской провокации. Переписка Медокса с шефом жандар­мов А.Х. Бенкендорфом дает возможность видеть корни Азефовщины в медоксовой авантюре: уже в 30-х годах прошлого столетия царское правительство нащупывало почву для создания кадра агентов-провокаторов.

Вообще же все вновь включенные в настоящую работу материалы, с одной стороны, еще более рельефно, чем прежде, выявляют провокационный характер авантюры Медоксл среди декабристов, с другой стороны, отчетливо вскрываютготовность правительства Николая Первого поддержатьэтого авантюриста в целях окончательного ущемления побежденных заговорщиков.

Ввиду содержания этой книги нет надобности давать общую характеристику Медокса — она сама вырисовываетсяв его писаниях.

Но мне все-таки кажется интересным подчеркнуть здесь особенности в характере Медокса, роднящие его с гениальнейшим авантюристом всех времен — Казановой. Как и этот крупный международный шарлатан, Медокс был наделен от природы весьма щедро, и подобно Казанове он мог обращать свои дарования только на авантюры. И если бесконечно далеко Медоксу до бессмертия Казановы, то, может быть, только потому, что волею судеб ему приходилось действовать в XIX веке, который не был так благоприятен для грандиозных авантюр, как XVIII век, когда жил и действовал Казанова.

Подобно своему духовному предку, наш герой также происходил из театральной семьи, унаследовав от отца способность к перевоплощениям — моральным и физи­ческим. Подобно Казанове, Медокс в совершенстве знал главные европейские языки, был хорошо начитан, умел разбираться в серьезных научных вопросах; как этот прославленный обольститель, он был привлекателен для женщин, причем в отношении к ним у него преобладало начало эротическое, отличавшее также отношения Ка­зановы к женщинам.

Но главной страстью для Медокса — что особенно роднит его с Казановой — была безудержная страсть игрока, у которого всегда про запас имеется колода крап­леных карт. И подобно Казанове он стал авантюристом не из нужды, а по врожденному темпераменту, всю жизнь не умея, при всех своих блестящих данных, заняться чем-нибудь положительным, чем-нибудь серьезным, ибо, как говорил о себе сам Казанова, разумный образ жизни был противен натуре Медокса, ибо, как и для Казановы, для Медокса являлось отправлением организма — шар­латанить, ослеплять, одурачивать и водить за нос.

По условиям времени и обстановки Роман Медокс разменялся на мелочи, но размах и замыслы были у него большие, дающие ему право на включение в гале­рею крупных авантюристов.

**ПОТОМОК ФИНИКИЙСКОГО ПЛЕМЕНИ**

«Чрез сие объявляется, что славной Аглинской Эк­вилибрист Меккол Медокс 15 числа сего октября месяца на театре, что при деревянном зимнем доме, искусство свое показывать будет, к чему всех охотников почтен­нейше приглашает». Это объявление было напечатано в № 81 «Санкт-Петербургских Ведомостей» от 9 октября 1767 года. А через 120 лет внук Медокса, старавшийся доказать древнее и благородное происхождение своего рода, писал: «Фамилия Медокс, вероятно, происходит от древнефиникийских племен, живших в нынешнем Закавказье... Михаил Георгиевич Медокс родился в Англии 14 мая 1747 года. Будучи профессором матема­тики Оксфордского университета, в 1766 году прибыл в Россию и через посредство английского посланника милорда Макартнея был представлен графу Н.И. Пани­ну и определен преподавателем физики и математики к наследнику великому князю Павлу Петровичу, по окончании образования которого, около 1775 года, сде­лался учредителем и владельцем московских театров».

Несмотря на всю решительность заявления внука М.Г. Медокса о том, что последний был в 19 лет про­фессором знаменитого английского университета и на­столько признанным ученым, что Екатерина II вместо отказавшегося от ее предложения великого француз­ского математика Даламбера пригласила Медокса пре­подавателем к наследнику престола, — этому заявле­нию верить не приходится.

Правдоподобнее предположение о том, что М.Г. Ме­докс успешно продолжал в течение ряда лет в Петер­бурге, а затем и в Москве свою славную деятельность эквилибриста. Во всяком случае, в № 15 «Московских Ведомостей» от 19 февраля 1776 года появилось такое объявление: «Показывающий московской благоприятельствующей публике до сего времени любопытства достойные! механические и физические представления англичанин г. Маддокс; во-первых, за долг почитая принести спою всенижайшую благодарность всем удо­стоившим его своим смотрением представляемых им .чабан и с надлежащим почтением имеет донести, что оные по окончании сего месяца более показываемы не будут; а дабы не лишить удовольствия желающих в последний раз видеть, через сие с надлежащим почте­нием просит и приглашает».

Конечно, оба приведенные здесь объявления упраз­дняют легенду об оксфордской профессуре родоначаль­ника русских Медоксов, хотя, как допускает О.Э. Ча­янова в своем интересном и обстоятельном исследовании о деятельности М.Г. Медокса как учредителя и много­летнего директора московского Большого театра, это не исключает возможности того, чтобы он в качестве пре­восходного механика был приглашен ко двору показать Павлу Петровичу свое искусство и давал ему разъясне­ния по этой части.

Что касается «древнефиникийского, закавказского» происхождения Медокса, то старая Москва была на этот счет иного мнения, чем внук ее популярного антрепре­нера. Мемуаристы начала XIX века, люди, знавшие М.Г. Медокса лично или по рассказам отцов, — от Е.П. Яньковой (знаменитые «Рассказы бабушки», из­данные Д. Благово в 1885 г.) до Ф.Ф. Вигеля (его за­писки переизданы мною в 1928 году), — называют его английским жидом. И спустя много лет после прекра­щения антрепризы М.Г. Медокса, глава жандармского ведомства в циркуляре, разосланном по всей России, о поимке скрывшегося P.M. Медокса называет последне­го «сыном бывшего содержателя московского театра, английского жида».

Правда, Роман Медокс в своем письме к тому же шефу жандармов с предложением своих услуг в качестве разоблачителя нового, им самим выдуманного, заговора декабристов опровергает версию о своем еврейском про­исхождении и предлагает жандармам удостовериться в Москве, «сколь ложны справки циркуляра, будто по­койный отец - - английский жид; отец так прозван актерами, ибо достоинства всегда возбуждают зависть». Л спустя десять лет, в письме к брату из Шлиссельбур­ге кой крепости, он объясняет распространение Бенкен­дорфом ложных сведений о еврейском происхождении Медоксов боязнью шефа жандармов держать англича­нина в крепости.

Но если не выяснен вопрос о том, был ли М.Г. Медокс чистокровным англичанином или происходил от анг­лийских евреев, то вполне установлено, что от эквилиб­ристики он перешел к механическим и физическим представлениям, проявив в этой области большое ис­кусство [[1]](#footnote-1), а своей последующей тридцатилетней антреп­ренерской деятельностью заслужил почетное имя в ис­тории русской культуры. Его театральное дело, по сло­вам исследователя, «воистину явилось тем горнилом, из которого родилось национальное русское театральное искусство».

Что касается его сыновей, которых у московского антрепренера было трое, то об одном из них — адъю­танте генерала Вельяминова — А.П. Ермолов писал в 1822 году А.А. Закревскому, что это — «величайшая дрянь». Несущественно, к какому из двух находивших­ся тогда в военной службе сыновей М.Г. Медокса отно­сится это определение знаменитого боевого генерала, но третий его сын, герой нашей повести, Роман Михайло­вич, гораздо больше привлекал внимание своих совре­менников и оставил по себе яркий след в истории русского быта первой половины XIX века.

**МИНИН—ПОЖАРСКИЙ И ЖАННА д'АРК**

Первое выступление Романа Медокса на обществен­ном поприще относится к 1812 году — к моменту на­ивысшего напряжения сил русского народа в борьбе с нашествием Наполеона. Невозможно установить с точ­ностью, сколько лет было P.M. Медоксу в то время: сам он несколько раз заявлял, что родился в 1795 году, племянник его утверждал, что дядя родился 18 июля 1789 года, но правдоподобнее всех других дата жандар­мов, считавших, что Роман Медокс родился в 1793 году. Получив хорошее и разностороннее образование в доме своего отца, P.M. Медокс вступил в военную службу и при своих недюжинных способностях мог сделать хо­рошую карьеру. Но, унаследовав отцовский размах и стремление ко всему внешнему и блестящему, его склон­ность к чудесным превращениям и переодеваниям, P.M. Медокс всю свою предприимчивость умел обра­щать только на авантюры уголовного характера.

КРАТКАЯ ЗАПИСКА МОЕГО ПРОЕКТА СОСТАВИТЬ

КАВКАЗСКО-ГОРСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ПРОТИВ ФРАНЦУЗОВ

В 1812 ГОДУ

*В те дни, как Россия, зрев пламенем объятую Москву, мечтала снова пасть рабою пред другим Батыем, я, семнадцати лет от роду, в пылу юности рвался на ее защиту, быв корнетом по кавалерии, и по ходатайству лейб-медика Виллие — при атамане донских казаков графе Платове. Не излишне сказать, что я, сын доброго англичанина, от детства питался ненавистию к Бона­парту, а от многого чтения, при романическом вообра­жении, дышал духом плутарховых героев. Когда же Москва, моя родина, обратилась в груды пепла**и ее окрестности усеялись смердящими трупами людепй****,*** *то во мне родилось какое-то презрение и к жизни, и к смерти. В бранном жару, я ощутил в себе силы сделать**б о л е е в о з м о ж н о г о в с т р о ю; объятый хаосом отважнейших предприятий, кои, смею сказать, ободрил сам монарх, вызывав подражателей Пожарскому, Палицыну и Минину, я, без малейшей мысли самохранения, вздумал составить конное и пешее ополчение: конное* — *из казаков кубанских, моздоцких, волжских, гребенских**и терецких. А так как они, обще с регулярными поисками, защищают Кавказскую линию, то, дабы их уменьшение не ободрило хищных горцев к вящшим набегам, я предполагал набрать Его Величеству л е й б-к а в к а з с к о-г о р с к у ю с о т н ю из заграничных владетельных князей, которые, отправленные вместе с помянутыми казаками о главную армию, служили бы заложниками к обузданию их родственников[[2]](#footnote-2)* . *Потом я хотел ехать в Стародубовские старообрядческие слободы (Черниговской губернии), вы­звать там охотников для пехоты и, с ними присоединясь к коннице, идти на поле брани[[3]](#footnote-3)* .

*Вот в таком-то смысле я написал себе инструкцию, будто бы данную мне по высочайшему повелению правив­шим должностию военного министра князем Горчаковым, с предоставлением власти действовать по совету командующего на Кавказской линии, не спрашивая раз­решения по дальности расстояния.*

*По прибытии в Георгиевск я переменил эти предна­чертания. Начав с лейб-сотни, я спешно склонил в службу его величества многих весьма знатных особ, а именно: султана Арслан-Гирея (родного племянника последнего крымского хана Шагин-Гирея, потомка Чингисхана), князя Расламбека, князя Албуриаджио, князя Бекича и прочих, с их узденями, то есть дворянами[[4]](#footnote-4) .*

*Вслед за ними горцы съезжались ко мне толпами, явили возможность составить целое кавказско-гор­ское ополчение, что я и предпринял немедленно. Для совещания я пригласил к командующему на Кавказской линии генерал-лейтенанту Портнягину тамошнего гражданского губернатора Брискорна и губернского про­курора Озерского: они все трое подписали «Запись совета о составлении кавказско-горского ополчения».*

*Здесь за краткостию нельзя да и не нужно распрост­раняться о всех средствах достижения сей цели; один случай достаточно покажет путь действия, неоскорби­тельного величию Российской империи. Лазутчики, мною в горы посланные для расхваливания богатых добыч в войне с французами, хотя и произвели возбуждение, но желанных последствий не оказывалось по причине рас­сеянности аулов (деревень; там нет ни одного города, нет прочных сообщений).*

*Приметив это и узнав, что закубанцы очень нужда­ются солью, я от своего имени послал к их князю Айтек-Мисоусту двести пудов оной для раздачи неимущим. Народ, в свирепую зиму бедствовавший, собравшись за солью и подстрекнутый задаренными, вдруг взволновался идти служить России, так что князь Айтек-Мисоуст был принужден сам выехать и обещаться договариваться о том со мною, что он и сделал. Мы виделись на границе, в Усть-Лабе. Он имеет пятнадцать тысяч конницы и дать две тысячи вершников; но я был задержан до окончания переговоров. Во всех же городах можно было наврать от пятнадцати до двадцати тысяч человек.*

*Всем известно, сколь чудесно храбры обитатели подошв хребта Кавказского и сколь в войне полезны их легкие стаи всадников; но не бывший в том краю не может вообразить того зрелища, какое представляли мною собранные витязи в их блестящих кольчугах и полном азиатском вооружении.*

*Надобно сказать, что это ополчение было предприня­то а декабре 1812 года, когда вспять гонимые французы уже* с *проходили границы России, и что я весьма разумел негодность оного в бытность неприятеля внутри России; ибо в подобных случаях чужие вспомогательные войска не помогают, а грабят и по возможности завоевывают. Сей урок твердят летописи почти всех государств, да и в своих мы читаем, что шведы, Шуйским на помощь против поляков безрассудно призванные, разорили Новгородскую область и потом на Столбовском миру принудили к уступке земель.*

*Да позволится на мгновение отступить, чтоб вспом­нить великое деяние Минина, и рассмотреть, можно ли и полезно ли бы сделать точно то же через два столетия? Выслужив урочные годы простым рядовым, Кузьма Минин возвратился на свою родину, в Нижний Новгород, и взялся за отцов промысел, торговать мясом. Когда же Россия, внутрь и вне терзаемая, молила о помощи, то он бросил топор, но не пошел в стан князя Трубецкого, предводительствовавшего московскими силами, где его гений был бы ничтожен, как капля в океане.*

*«Великие люди выходят готовыми из рук природы»,* — *Сказал Фонтенель в похвальном слове Петру Великому; то же самое можно сказать и о Минине, впрочем, не равняя воина с просветителем народов. Он на площади принес в жертву отечеству коробку жениных нарядов; но его примеру явились груды богатств, которые он забрал к себе, и чрез то сделался, так сказать, государственным казначеем.*

*Имея ум и деньги, можно успеть во многом. Он неко­торых склонил, других принудил уполномочить его подпискою в распоряжении их имуществом и даже в праве, при крайности отечества, продавать их самих с детьми в рабство. Потом его старанием составилось ополчение, которое он вручил своему прежнему военачальнику князю Пожарскому и которое на пути в Ярославль, а оттоле к Москве, спешно умножившись, стало многочисленною ратию и спасло Россию, бывшую на краю падения.*

*Легко видеть, что если б я хотел сделать точно то, что Минин, то был бы столь же смешон, как если б, с желанием нравиться Пленире, явился на бульвар, убрав­шись во французскую пару и большой, по плечам кудри развевающий парик, ибо в подобном наряде Людовик XIV был счастливейшим Адонисом. Годное в одном случае негодно в другом. В старину наши крестьяне могли бить­ся с поляками врукопашную; против же нынешних регу­лярных войск с конною артиллериею им нет возможно­сти действовать. Тут была бы брань почти столь же неравная, как нагих мексиканцев с Кортесом. Надобно и то рассудить, что нынешнее местное начальство не допустит частного человека даже и приступить к со­ставлению войск. Если б знаменитый Минин, воскресши во время нашествия французов, снова одушевил завалить площадь пожертвованиями, то, разумеется, градоначаль­ство приставило бы к оным свою стражу. Что же сделал бы он без денег? А если б сей герой российской летописи взял что-нибудь в свое распоряжение, то* — *увы!* — *не степень думного дворянина, не бессмертие и не памят­ник, десницею Александра сооруженный, а позорная казнь торговая была бы мздовоздаянием любви его к отечеству.*

*С помощью собственных денег* — *3000 рублей* — *я богато оделся офицером Конной гвардии, назвался пору­чиком, флигель-адъютантом, и с ложным предписанием о содействии поехал на Кавказскую линию. По получении там на расходы 10 000 рублей ассигнациями я на другой же день, с донесением о том и описанием проекта, послал Казанского пехотного полка прапорщика Зверева курье­ром к находившемуся при государе министру полиции Балашову для донесения его величеству.*

*Помянутые 10 000 рублей розданы большею частию в присутствии командующего на Кавказской линии из­вестным людям и под расписки, находящиеся в моем журнале. Так, дано князю Бекичу 4000 рублей, султану Менгли-Гирею* — *1000 рублей, князю Албуриаджио* — *1000 рублей, курьеру* — *500 рублей, за соль* — *300 рублей. Были расходы и другого рода, в коих нет расписок, на­пример: осьмилетней дочери султана Менгли-Гирея по­дарена турецкая шаль в 600 рублей; свидание с князем Айтек-Мисоустом стоило более 1000 рублей; но все это известно по следствию, которое производил сам с.-петер­бургский главнокомандующий граф Вязъмитинов.*

*Конечно, невзирая ни на что, погиб бы я безвозвратно, если б император Александр Павлович, среди самого раз­гару величайшей войны, не имел присутствия духа за­няться жребием ничтожного юноши, а предал бы суду законному. Судьи, смотря в книги законов, не загляды­вают ни в сердце виновного, ни в источник преступления. Судьи не судят, а лишь, подобно эху, повторяют слова законодателей, предоставивших дела необыкновенные благорассмотрению самих венценосцев. Посему-то даже и в Англии, где среди царских утварей председает едина тень монарха, королю дано право прощать законами осужденных.*

*«Добродетели,* — *говорит Декарт,* — *не всегда про­истекают от познания блага, например: простота рож­дает милость, страх* — *набожность, отчаяние* — *храб­рость». Так точно и преступления не всегда проистека­ют от зла и порока.*

*Без сомнения, странно, что юноше вздумалось соста­вить войско. Но тут надобно вспомнить, как деревенская девушка Жанна д'Арк, назвавшись посланною от Бога, предводительствовала в битвах и освободила Орлеан от осады и как в награду ее сожгли живую, а потом чтили наравне со святыми.*

*Роман Медокс.*

Так рисовал Роман Медокс свои кавказские похожде­ния значительно позднее — в записке, представленной Николаю I приблизительно в 1830—1831 году, когда он осуществлял свою авантюру с новым заговором декабри­стов, и направленной к оправданию этой провокационной затеи («имея ум и деньги, можно успеть во многом»). Не так изображает его подвиги 1812 года материал, сохра­нившийся в различных архивных делах.

Когда Медокс, назвавшись флигель-адъютантом Соковниным, явился в центр тогдашнего управления Кав­казом — город Георгиевск — в качестве адъютанта все­сильного министра полиции генерала А.Д. Балашева, то убеленные сединами и украшенные орденами мест­ные представители высшей власти приняли этого мо­лодого человека с подобающими его служебному поло­жению почестями. Губернатор барон Врангель вопреки прямому требованию закона предписывал казенной па­лате выдать Соковкину 10 000 рублей, командующий войсками генерал С.А. Портнягин, имевший большие боевые заслуги, соревновался с губернатором в старании облегчить блестящему столичному офицеру выполнение

его задачи.

Все вообще местные начальники наперерыв чество­вали юного, но облеченного царским доверием гостя обедами и увеселительными прогулками, устраивали в честь него праздники, и все спешили уведомить высшую власть о своем усердии, стремились лично оповестить министров о том, как они, несмотря на помехи со стороны других местных начальников, содействуют Соковнину в выполнении возложенного на него патрио­тического поручения.

Барон Врангель сообщал 19 декабря 1812 года гене­рал-адъютанту Балашеву, что «наставления о завязании сношений с горскими народами, преподанные ему через адъютанта Соковнина, он постарается выполнить». Ми­нистру финансов Д.А. Гурьеву Врангель рапортовал, что вот-де адъютант министра полиции Соковнин тре­бует денег, а казенная палата не дает, считая полномо­чия приезжего офицера недостаточными. Но так как губернатор имеет переданное ему тем же Соковниным предписание генерала Балашева оказывать Соковнину содействие, то он словесно велел выдать деньги. Палата снова отказалась, заявив, что сомневается в подписи министра финансов. А он, губернатор, не сомневается и дал палате письменное предложение отпустить Соков­нину деньги, чтобы «не задерживать успеха дела».

Генерал Портнягин старался превзойти барона Вран­геля усердием, ведь дело, ради которого приехал Со­ковнин, — военное, как же ему отставать от граждан­ских властей в помощи Соковнину. Генерал разослал воззвания на местных наречиях к горским князькам, сам вызвался сопровождать Соковнина в объезде Кав­казской линии, показывал ему все крепости, устраивал смотры.

В рапорте военному министру от 31 декабря 1812 года генерал Портнягин сообщал, что, хотя и не имеет прямого предписания ни от своего начальства, ни от министра полиции, но так как «Соковнин сообщил ему откровенно», что командирован по высочайшему пове­лению, то он и старался помочь молодому человеку, «горя ревностным усердием содействовать во всем том, что относится к пользе и славе государя и отечества». При этом Портнягин отмечал успешность действий Соковнина и писал, что «если этот молодой офицер будет так же и впредь действовать, то успех несомнителен». Казенная палата продолжала сомневаться и составила подробный доклад министру финансов о выдаче Соковнину 10 000 рублей, представив этот доклад на под­пись губернатору. Барон Врангель подписал доклад и показал его Соковнину как знак доверия к нему. Но адъютант министра полиции не верил губернатору и немедленно принял свои меры. Он предъявил местному почтмейстеру предписание центральной власти о том, чтобы Соковнину выдавалась для ознакомления вея официальная переписка губернатора, как идущая от него в столицу, так и поступающая из министерств к нему. А так как Соковнин сфабриковал это предписание в качестве «секретного», подлежащего ведению одного лишь почтмейстера, то последний и не задумался о совершенной несуразности такого распоряжения. Убе­дившись, что губернатор не обманывает его, Соковнин поспешил обезвредить неприятные для него рапорты не в меру усердствующих Портнягина и Врангеля, а в особенности доклад казенной палаты. Он заявил гене­ралу Портнягину, что правительство не доверяет барону Врангелю и что он должен отправить секретный доклад министру полиции о действиях местной губернской власти**.**

Старый боевой генерал, ни минуты не сомневаясь, дал в распоряжение ловкого самозванца специального офицера для его собственных особых поручений. С этим офицером, минуя всякий надзор почтовых и других властей, Соковнин послал рапорты о своих действиях министру финансов и министру полиции. Генералу Балашеву Соковнин послал рапорт в качестве его адъютанта о своих действиях по вербовке войск среди горских народов и этот рапорт показал Портнягину.

В таком виде он и отправил этот рапорт в Петербург, приложив к нему без ведома Портнягина особое письмо министру полиции, где заявлял: «Если Монтескье мудр, говоря, что много таких случаев, в которых преступления делаются добродетелью, то я, конечно, не преступник; если Петр Великий был великим, простив Долгорукова, разорвавшего его высочайший указ, то и ныне царствующий монарх, будучи великим, простит меня, нарушившего законы для пользы отечества. Буде же я ошибаюсь, то не раскаиваясь умру, желав спос­пешествовать благу человечества».

ДалееСоковнин говорит в письме к Балашеву о Дон Кихоте, о ветряных мельницах, рассказывает, как он сам написалот имени министра финансов отношение в казеннуюпалату о выдаче ему денег, просит Балашева подтвердить от имени государя все его действия и вы­сказывает уверенность, что Балашев поспешит сделать это. Зная, что министру уже известны его проделки, Соковнин пишет Балашеву: «Может быть, нарочный от вашего высокопревосходительства летит уже арестовать меня как преступника. Без страха ожидаю его и без малейшего раскаяния умру, споспешествуя благу оте­чества и его монарха».

С тем же офицером Соковнин послал секретное письмо министру финансов Гурьеву, которому сообщал, что взял по подложному от его имени ордеру в кавказской казенной палате деньги для «великой важности государственного дела»; при этом он предлагал министру финансов ничего не предпринимать без предварительного сношения с ми­нистром полиции Балашевым, «который все знает». В конце письма Соковнин добавляет, что ему еще понадо­бятся деньги для того же государственного дела.

Возможно, что денежные операции Соковнина ус­пешно продолжались бы еще довольно долго, возможно, что он получил бы еще раз 10 000 рублей на свое кавказское ополчение: его наглость производила оше­ломляющее впечатление, а большой размах аферы гип­нотизировал всех крупных местных чиновников, но он поскользнулся на мелких жульнических проделках. Еще до получения доклада о выдаче Соковнину на Кавказе 10 000 рублей в Министерстве финансов пол­учены были сообщения о том, что из казенных палат Тамбовской, Воронежской и Ярославской проезжавший на Кавказ адъютант министра полиции взял по несколь­ку сот рублей, представив бумаги о командировке по важным государственным делам и предписание мини­стра финансов об оказании ему содействия.

Это были удачные репетиции обширной кавказской инсценировки, окрылившие Соковнина, но и ускорив­шие его провал. В министерстве всполошились, забили тревогу, дело перешло к главнокомандующему в столице генералу С.К. Вязьмитинову, который предписал кавказскому губернатору задержать Соковнина. Ловкий самозванец сумел отдалить арест, умудрившись замешать в свою историю еще известного московского глав­нокомандующего Ф.В. Ростопчина и даже Комитет ми­нистров, но все-таки 6 февраля 1813 года Соковнин был арестован в Георгиевске и 14 февраля отправлен в Петербург в сопровождении специально присланного от Комитета министров чиновника.

При аресте самозванец сознался, что фамилия Соковнин — вымышленная, и назвался Всеволожским. Под этим именем он был доставлен в Петербург 28 мирта. На допросе самозванец снова переменил фамилию и назвался князем Голицыным. Вся история была изложена в докладе Вязьмитинова царю, причем самозванцу была дана такая характеристика: «Получа от природы изящные способности, образовал он их хоро­шим воспитанием, которое доказывается на первый чай знанием иностранных языков: французского, немецкого и английского, сведениями в литературе и в истории, искусством в рисовании, ловкостью в обра­щении и другими преимуществами, свойственными че­ску благовоспитанному, а особливо основательным знанием отечественного языка и большими навыками изъясняться на оном легко и правильно». Со слов самозванца аферы его объяснялись тем, что «из честолюбия сделался он мечтателем».

Еще более красочно изображена вся эта история в докладе, сохранившемся в военно-ученом архиве Глав­ного штаба. Здесь имеются любопытные подробности, характеризующие административный быт эпохи.

«Среди смутных в 1812 году для России обстоятельств явился в город Георгиевск один молодой человек под именем Соковнина, якобы лейб-гвардии Конного полка поручик и адъютант министра полиции; он предъявил надлежащие документы, как бы от правительства ему данные на имя гражданского губернатора и в казенную палату. В тех бумагах он показывался нарочито посланным по высочайшей его императорского величества воле для набора войск из черкес и разных племен кавказского народа. Для обмундирования же сего войска и отправления куда следует якобы поручено было сему Соковнину требовать деньги из казенной палаты.

Бывший тогда на Кавказе гражданским губернатором Яков Максимович Брискорн находился в жестокой бо­лезни, от которой чрез несколько дней и умер, а губер­ния лишилась в нем добродетельного и опытного чи­новника. Посему дело о сформировании черкесского войска поступило к вице-губернатору Врангелю, кото­рый, желая оказать в исполнении столь важного пред­приятия деятельнейшее содействие, приказал, вопреки мнению советника казенной палаты Хандакова, без за­медления выдать десять тысяч рублей Соковнину, как доверенной от министра особе.

Ген. Портнягин, соревнуя в сем государственном де­ле, зависящем более от военной части, не желал явить усердия менее вице-губернатора: он тотчас склонил кня­зя Бековича-Черкасского уговорить кабардинцев к из­бранию и вооружению из собственного круга сколь можно более князей и узденей, обещав дать для пред­варительных издержек некоторую сумму денег. Князь Бекович приступил к сему со всем усердием и в ожи­дании награждения употребил не мало собственных денег для приготовления себя и товарищей к службе. От Соковнина деньги были раздаваемы черкесам в Моздоке при комендантах и за их свидетельством. Каж­дый кабардинец получал не более 500 рублей. Замеча­тельно, что Соковнин почти все десять тысяч рублей роздал черкесам, не употребив ничего в свою пользу. Одно только открытие его ложного предприятия унич­тожило успех.

Генерал-майор Портнягин поручил также султану Менгли-Гирею сделать подобный набор относительно закубанских народов. Озабоченный как нельзя более, он повез мнимого адъютанта министра полиции по крепостям Кубанской линии, в Четь-Лабе обязал темиргойского владельца Мируста Айтекова постараться о наборе войска из закубанцев, который обещал это и обнадежил. После этого генерал возвратился в Георгиевск в ожидании событий, долженствовавших увенчать успехом ревностно предпринятые им меры.

Между тем каждый из двух начальников военной и гражданской части наперерыв заботились угощать, за­бавлять и лелеять сего мнимого чиновника: одни праз­дники сменялись другими увеселениями, и все, будучи в надежде на успех от набора черкесского войска и занимаясь единственно сим предметом, казалось, забы­ли тягостное положение отечества, уже страдавшего от вторжения неприятеля. Может быть, все они желали со всею искренностью способствовать намерению пра­вительства об усиления войска набором черкесских наездников; может быть, действительно никакая легкая кавалерия неприятельская не устояла бы против их стремления и удара, но жаль, что все это было не иное что, как игра воображения предприимчивого юноши.

Еще до отъезда Портнягина с Соковниным по крепо­стям на Кавказскую линию советник Хандаков, желая оправдаться против вице-губернатора в том, что он не соглашался на выдачу казенных денег мнимому адъю­танту министра полиции, и не доверяя, чтобы столь важное дело формирования войска из черкес могло быть поручено юному офицеру, требовал официально обстоя­тельства сего дела с его мнением представить министру финансов. Таким образом, донесение, подписанное всеми советниками и самим вице-губернатором, было послано с эстафетою в Петербург. Мнимый Соковнин, узнав о том и усматривая невыгодные для себя последствия, поспе­шил выпросить у генерала Портнягина расторопного пор­тупей-прапорщика для отправления с чрезвычайными донесениями министру полиции. Его желание исполнили без замедления: Казанского пехотного полка портупей-прапорщику Звереву предписано было отправиться в действующую армию, которая уже преследовала расстроен­ного и бежавшего неприятеля.

Неизвестно, что заключалось в бумагах Соковнина, но кажется, что, признаваясь во всем откровенно он старался оправдать свои поступки рвением к пользе отечества, дабы через то избегнуть или смягчить заслу­женное наказание. Невзирая на сомнительное свое по­ложение, Соковнин не терял присутствия духа, он даже уверял генерала Портнягина, что в вознаграждение сильныхего стараний к сформированию черкесского войска выпрашивает ему столовые деньги, как необходимые офицеру в звании командира Кавказской линии При этом объявил за тайну, что он усматривает из вновь получаемых бумаг недоверчивость министра полиции к поступкам вице-губернатора, а потому требовал, чтобы все бумаги на имя господина Врангеля, приходящие с эстафетою, перехватывали и передавали ему, Соковнину. Таким средством он думал предупредить угрожавшее себенесчастие и выиграть время для получения ответа, ожидаемого от министра полиции, на милость которого он довольно надеялся. Но последствия разрушили сию окончательную хитрость. По прошествии некоторого времени с полученного почтою сия комедия получила развязку. Главнокомандовавший в Петербурге генерал Вязьмитинов, узнав из донесения министра финансов о явившемся на Кавказской линии нового рода само­званце, предписал его немедленно задержать и отпра­вить под строгим караулом в столицу».

Убытки казны по этому делу были переложены на доверчивых кавказских администраторов, которые пол­учили официальные выговоры и замечания и, подобно героям «Ревизора» через двадцать лет, старались один на другого свалить вину в признании самозванца. Кавказ­ские похождения Медокса долго еще были памятны начальствующим лицам тех местностей, где он действовал в 1812 году. Н.Н. Муравьев-Карский рассказывает в сво­их Записках, что когда он молодым офицером был в 1816 году с важным поручением по военному делу на Кавказе, то один из местных начальников, гвардейский полковник Д.Н. Крылов, заподозрил в нем самозванца и «стал на­поминать приключения Соковнина, который строил чу­деса на линии с поддельным открытым листом».

Еще один бытовой штрих, и над кавказской эпопеей нашего героя можно будет опустить занавес. В обшир­ной записке известного начальника тайной полиции Я. де Санглена, отправленной в феврале 1813 года для осведомления находившегося на театре военных дейст­вий Александра I о «с.-петербургских слухах, известиях и анекдотах », рассказывается история Соковнина. Здесь по поводу получения им в Воронеже 275 рублей гово­рится, что деньги были выданы «из уважения к особе министра полиции» А.Д. Балашева. Если сопоставить это выражение со словами доклада Главного штаба о том, что Соковнин «довольно надеялся на милость ми­нистра полиции», и если иметь в виду, что впоследствии А.Д. Балашев был замешан в грязной истории с попыт­кой присвоения наследства богатейших купцов Баташевых, причем аристократический царский генерал-адъютант не гнушался доказывать свое родство с куп­цами, ссылаясь на ошибку в начертании одной из этих фамилий, то получится довольно любопытная подроб­ность для характеристики приближенных императора.

Александр I приказал заключить самозванца в кре­пость навсегда «для воздержания от подобных поступков ». Соковнина—Всеволожского—Голицына посадили в Петропавловскую крепость и продолжали выяснять его личность. Оказалось, как отмечено в одном из поз­днейших докладов III отделения, что это — «Роман Медокс — сын бывшего содержателя московского теат­ра, английского жида Медокса, который за распутство его у себя не держал (М.Г. Медокс умер в 1822 году), был писарем при полиции, унтер-офицером в армейском полку, потом был в ополчении (1812 год) и у начальника похитил две тысячи рублей». Это были деньги для прокормления ополчения, и они дали Медоксу возмож­ность сшить мундир лейб-гвардейского офицера и пое­хать на Кавказ для совершения своих подвигов во славу царя и в память о Минине—Пожарском, подкрепленном Орлеанской девой.

Любопытные подробности об этой истории находим также в переписке главнокомандующего в Петербурге С.К. Вязьмитинова с главнокомандующим в Москве Ф.В. Ростопчиным. Петербургский воевода, не сообщая московскому подробностей о кавказских похождения Соковнина, просил Ростопчина собрать для него сведе­ния о сыне англичанина Медокса. «Он должен быть лично известен обер-полицеймейстеру как по отце, так и сам по себе, будучи не последним из числа всегдашних посетителей московских бульваров и притом хорошим каламбуристом ».

Ростопчин собрал сведения, между прочим, у надвор­ного советника Яковлева, в доме которого Медокс снимал квартиру в 1812 году, и сообщил Вязьмитинову, что Роман Медокс, изгнанный отцом из дому за распутство, был писарем при полиции, но и оттуда изгнан. Затем он определился унтер-офицером в какой-то армейский полк, бывший во время последней войны со Швецией в походе в Финляндии, и оттуда, по-видимому, «утек».

В июне 1812 года, при наборе ополчения, Медокс пристал к полку, формировавшемуся в Дмитрове князем Одоевским, которого вскоре сменил князь Касаткин-Ро­стовский. Когда полк перешел в Тарутино, Медокс ук­рал у Касаткина деньги и скрылся. Позднее, во время своей авантюры с новым заговором декабристов, Медокс пытался отомстить Касаткину-Ростовскому за сообще­ние об этой краже и назвал его одним из главарей тайного общества. Касаткину пришлось перенести мно­го неприятностей в связи с этим доносом.

**АВАНТЮРИСТ СРЕДИ ДЕКАБРИСТОВ**

Никакие мольбы, ничьи ходатайства не могли убе­дить Александра I выпустить Медокса из крепости. За­ключенный сначала в Петропавловскую крепость, Медокс был вскоре переведен в Шлиссельбургскую, где просидел до воцарения Николая I и где познакомился в середине 1826 года с некоторыми декабристами, со­державшимися там до отправления в Сибирь. Встреча­ясь с осужденными заговорщиками, любознательный Медокс старался узнать от них как можно больше об­стоятельств из их личной жизни, из их взаимоотношений до катастрофы 14 декабря 1825 года, узнал азбуку, посредством которой они перестукивались в заключе­нии. Все это пригодилось ему впоследствии, когда он в начале 30-х годов затеял свою авантюру с новым заговором среди сосланных на каторгу декабристов.

В ноябре 1826 года Медокс был снова переведен из Шлиссельбургской крепости в Петропавловскую, а в феврале 1827 года подал всеподданнейшую мольбу о помиловании. Одновременно Медокс обращался к на­чальнику жандармского ведомства А.Х. Бенкендорфу с просьбой ходатайствовать за него перед царем как за раскаявшегося, а не как «за того негодяя, каким он был в 1812 году». При этом он просил назначить его на службу по дипломатическому ведомству.

В приложенной к этим письмам исповеди Медокс заявляет, что бросился в свою кавказскую авантюру вследствие того, что промотал казенные две тысячи рублей. Одновременно он просил разрешения на свида­ние с братом. Свидание было дано, и Медоксу было предложено выбрать себе местожительство в одном из трех городов: в Архангельске, Петрозаводске или Вятке. Медокс выбрал Вятку, и царь в начале марта 1827 года велел послать его туда под надзор полиции, чтобы он мог доказать свое раскаяние.

Неизвестно, что делал Медокс в Вятке, как он дока­зывал тамошней полиции свое раскаяние и чем добывал средства к жизни. Вероятно, ему пригодились здесь его обширные познания в различных языках и науках, его хорошее умение рисовать.

Через Вятку пролегал тогда путь в Сибирь, и Медоксу часто приходилось встречаться здесь с останавливающи­мися для отдыха декабристами, которых отвозили на каторгу. Так, например, декабрист И.И. Пущин писал 25 октября 1827 года родителям из Вятки: «Тут я узнал, что некто Медокс, который 18-ти лет посажен был в Шлиссельбургскую крепость и сидел там 14 лет, теперь в Вятке живет на свободе. Я с ним познакомился в крепости, и там слух носился, что он перемещен был в другую крепость. Это меня мучило». Некоторые декабри­сты из числа менее важных заговорщиков, как, например, И.Н. Горсткин, проживали даже в Вятке подолгу. Конеч­но, и теперь Медокс жадно собирал всякие сведения из личной жизни декабристов, интересовался их предполо­жениями об устройстве своей жизни в Сибири.

Скучно стало впечатлительному Медоксу в Вятке, и в декабре 1827 года он скрылся оттуда, устроив себе паспорт на чужое имя. Дарю было доложено о бегстве самозванца, только недавно выпущенного из крепости, и Николай через начальника Главного штаба поручил Бенкендорфу поймать Медокса. Шеф жандармов разо­слал всем губернаторам циркуляр с приметами Медокса и просил задержать последнего.

«Находившийся в г. Вятке, по высочайшему пове­лению, под надзором полиции Роман Медокс, сын быв­шего содержателя московского театра, английского жи­да Медокса, бежал, — пишет Бенкендорф, — как пред­полагается, с паспортом на имя мещанина Ал. Мотанцова... Прошу ускорить распоряжением о непременном отыскании и задержании помянутого жида Медокса... Приметы бежавшего такие: росту 2 аршина до 7 вер­шков, лицом бел и чист, волосы на голове и бровях светло-русые, редковатые, глаза серые, нос невелик, островат, когда говорит — заикается; от роду ему до 35 лет».

Другая полицейская справка, относящаяся к 30-м го­дам, так рисует его внешность: «Роман Михайлович Медокс. От роду, по-видимому, около 40 лет. Росту — не­малого. Лицом бел. Глаза голубые, впалые. Нос прямой, острый. Рот большой. Волосы на голове светло-русые, взлизает. Бакенбарды рыжие. В разговорах приметно заикается. Говорит кроме русского языка по-французски и по-англински. Одевается чисто в партикулярное платье». А племянник Медокса, восхваляя в «Русской Старине» за 1880 год своего дядю и заявляя, что «он был человек чрезвычайно энергический, острый, очень ум­ный, сильно развитый, прекрасно образованный и чрез­вычайно даровитый», сообщал, что в конце 50-х годов, то есть в глубокой старости, P.M. Медокс «был среднего роста, широкоплечий, крепкого телосложения, с чрезвы­чайно умным выражением лица английского типа». Об английском типе лица Р. Медокса говорит знавший его в 30-х годах в Иркутске Э.И. Стогов.

Все губернаторы стали отдавать соответственные рас­поряжения подчиненным им уездным властям, но по­иски бежавшего были тщетны. Медокс меж тем побывал в Москве, выклянчил у родных денег и стал пробираться на Кавказ, с которым у него были связаны такие при­ятные воспоминания. В марте 1828 года Медокс был задержан в Екатеринодаре и отправлен в распоряжение шефа жандармов в Петербург. Царю было доложено о поимке самозванца, и он велел отправить Медокса сол­датом в один из сибирских батальонов и содержать его там под строжайшим надзором.

Но пока Медокса везли в Петербург, он снова умуд­рился бежать и с пути писал сестре, которой сообщал, что по своему прошению он высочайше определен ря­довым в Омск. К этому он добавлял: «Дух мой скоро воспрянул — и я на краю пропасти нашел случай писать к государю, который по первой почте отвечал».

Вместе с тем Медокс послал письмо В.А. Перовскому, который был близок к членам тайных обществ, но в заговоре замешан не был и по своему семейному поло­жению был одним из приближенных к новому царю лиц. Перовского, о котором Медокс мог слышать от декабристов, он просил ходатайствовать за него, так как он «жаждет делать добро».

Отослав эти письма, Медокс направился в Одессу, где жил по чужому паспорту. Здесь он прожил, как сам пишет в Дневнике, «почти целый год» и вертелся среди многочисленных родственников и друзей сослан­ных декабристов, пополняя свои шлиссельбургские и вятские сведения о заговорщиках. Имел он тогда, не­известно откуда, «достаточные» средства.

Приобретенные в Одессе сведения пригодились впос­ледствии. А пока Медокс послал из Одессы (30 мая 1828 года) письмо самому Николаю. В этом письме он расска­зывал, как 14 лет мучился в Шлиссельбургской крепости за свой проект набора кавказского горского ополчения против французов, и просил помиловать его и определить рядовым в Молдавскую действующую армию.

Видя, что Медокс каким-то образом ускользает от Бенкендорфа, Николай велел главноначальствующему в Петербурге графу П. Толстому взяться за поимку самозванца. Граф Толстой написал в Одессу о задержа­нии Медокса, но тот был неуловим в этом интернаци­ональном городе со своей внешностью иностранца и со своим знанием нескольких европейских языков. Словно издеваясь над разыскивавшими его властями, Медокс вторично писал (12 июля 1828 года) из Одессы Нико­лаю — по-английски — и просил о помиловании.

Почему не могли поймать Медокса в Одессе и почему нет никаких сведений о нем в «делах» разных ведомств за 1828—1829 годы, куда отправился он из Одессы и каким способом совершал свои дальнейшие передвиже­ния, каковы были в течение ближайших двух лет вза­имоотношения Медокса с жандармским ведомством и почему все заинтересованные в его поимке власти вдруг перестали беспокоиться о нём и об его местопребыва­нии — установить с точностью невозможно. Ведь по свойству своего характера Медокс не мог скрываться притаившись. В многочисленных «делах», которые ве­лись о Медоксе в разных канцеляриях в течение пяти­десяти лет, есть зияющий провал: не удалось найти ни одной официальной бумаги, заведомо относящейся к периоду времени от 12 июля 1828 года (письмо Медокса к царю из Одессы) до 19 марта 1831 года (письмо Медокса к царю из Иркутска). Есть Дневник Медокса с октября 1830 года по октябрь 1831 года, но и этот очень ценный во многих других отношениях документ не помогает уяснению поставленных вопросов.

Здесь-то и начинается загадочное в отношениях на­шего героя с жандармским ведомством. И особенно загадочны обстоятельства, при которых он очутился вместо Омска в Иркутске.

ТАИНСТВЕННОЕ ПОЯВЛЕНИЕ МЕДОКСА В ИРКУТСКЕ

Но если нет официальных данных о том, как поя­вился Медокс в Иркутске, если приходится строить, впрочем, довольно достоверные предположения о при­чинах и целях появления его в Западной Сибири на основании косвенных доказательств, сохранившихся в различных архивах, то имеется любопытное свидетель­ство современника, встречавшегося с Медоксом в Ир­кутске именно в 1830 году. Известный своими интересными и содержательными очерками из провинциальной жизни русского общества в первую половину XIX века жандармский офицер Э.И. Стогов жил в Иркутске в 1818 году. Затем он был переведен на службу в другой город и, вернувшись в Иркутск через двенадцать лет, нашел в нем большие перемены.

«Много воды утекло, — красочно рассказывает Сто­гов. — Перемены нашел во всем: в начальстве, в жи­телях, даже частью в обычаях. Между многими особен­ностями я обратил внимание на пять-шесть человек. Не знаю, сосланных или удаленных. Прежде бывали такие субъекты, но они жили по деревням, а теперь в Иркутске. Было их, может быть, и более, но эти были особенно приличны, образованны и приняты — кроме генерал-губернатора — почти везде. По рассказам, осо­бенно мое внимание обратил некто Медокс; о нем везде много говорили, но, странное дело, из многого не ри­совалось ничего ясного, рельефного — все рассказы с какими-то недомолвками. Что бы ни говорили о Медоксе, непременно слышишь: говорят, будто бы, веро­ятно, должно быть и проч. Положительного — ничего.

Говорили, что он член европейского тайного общества, что неизвестно от кого, но от разных лиц получает деньги, и довольно часто; Медокс ли он — и это не верно; что он был флигель-адъютантом в 1812 году; даже из бумаги, по которой он прислан, ничего заклю­чить нельзя. Помню, первый раз я встретил его у путейского офицера.

Медокс лет 35-ти, небольшого, даже малого-среднего роста, с редкими напереди волосами — светлыми, но с сильным рыжим оттенком; выбрит чисто, лицо продол­говато, бело, как у рыжих, правильно; глаза необык­новенно подвижны, сложен крепко и правильно; голос тих, при начале речи заикался порядочно. Заметно, ни с кем не начинал говорить сам, но отвечал коротко и обдуманно; поведения безукоризненного. Одет всегда в сюртуке, часто горохового цвета, всегда очень опрятен. Что особенно обращало внимание, то это щегольское белье — очень тонко, необыкновенно бело, видно, это была любимая его статья костюма. Медокс держал себя прилично, но я не помню, чтобы он сам подходил к кому-нибудь.

Первое впечатление у меня было — это кровный англичанин! Я говорил с ним, он отвечал охотно и вежливо, но я остался с теми же сведениями, как и все: говорят и то и се. Я ласково пригласил Медокса к себе в адмиралтейство; он был несколько раз, иногда по целому дню, и говорил охотно, да не то, что я хотел знать. По его словам, у него было огромное знакомство с высокостоящими в Питере и за границей.

Медокс отлично знал Кавказ, говорил занимательно об обычаях горцев и вообще о жизни Кавказа. «Вы там долго были, Медокс?» — «Не очень долго». — «Вы что там делали?» — «Я имел поручение, но зависть, инт­риги испортили прекрасное предприятие». — «Какое предприятие?» А он начнет рассказывать прелюбопыт­ные анекдоты об обычаях и личностях, да тем и отде­лается. О чем ни спросите, у него всегда готова ширма, за которую он ловко спрячется, рассказывая не то, что вам хочется знать.

В деньгах Медокс никогда не нуждался; он получал по почте; раз я сам видел повестку на 700 рублей. От кого деньги — никогда никто не знал. Если б я хотел продолжать рассказ о Медоксе в Иркутске, то повто­рялся бы — не более...»

Рассказ Стогова любопытен, но все-таки не дает точ­ного ответа на вопрос о том, как, когда и зачем появился Медокс в Иркутске. Зато сообщение Стогова позволяет с большей уверенностью сделать определенные выводы из всего приводимого здесь материала.

Итак, Николай Первый приказал назначить Медокса после поимки его в Екатеринодаре или в Одессе рядовым линейного батальона в Омске. Медокс и сам сообщал об этом сестре с пути из Екатериподара в Одессу, до­бавляя, что царь сделал это по его просьбе. Но во всех просмотренных мною архивных «делах» нет никаких следов более или менее длительного пребывания Ме­докса в Омске до 1833 года. Сам он два раза определенно говорит, что прибыл в Иркутск в октябре 1829 года — в Дневнике и в большом доносе на декабристов, — но нигде не упоминает про свое пребывание в Омске.

Ничего не дает в этом смысле и заявление его пле­мянника К.П. Медокса (в заметке о дяде, напечатанной полвека спустя после интересующего нас времени) о том, что Роман Медокс был учителем кадетского кор­пуса л Омске и занимался там геологическими иссле­дованиями.

Это сообщение в смысле достоверности имеет ту же цену, что и сообщение К.П. Медокса об оксфордской профессуре его деда — московского антрепренера. Прав­да, когда Медоксу пришлось в мае 1834 года бежать от полиции в Таганроге, то в оставленном им чемодане найдено было удостоверение о том, что он был учителем казачьего училища в Омске, где при хорошем поведении отлично преподавал французский язык и рисование, но оказалось, что это удостоверение составлено самим Медоксом, как и другие документы такого рода.

Только в мае 1833 года он выехал из Иркутска на два-три летних месяца в Омск, но этот выезд состоялся после того, как его шпионская деятельность среди де­кабристов была разоблачена и властям надо было при­дать некоторую благовидность его переводу из Сибири в Москву для раскрытия выдуманного им нового заго­вора декабристов.

И не в одном только отсутствии сведений о том, что делал Медокс с июля 1828 по сентябрь 1829 года, заключается загадка его взаимоотношений с жандарм­ским управлением в интересующий нас период. Само­званец, изгнанный, по словам властей, из отцовского дома за распутство; обиравший казну и простым воров­ством и посредством поддельных ордеров; много раз убегавший из-под ареста, которому подвергался по при­казу самого царя; сосланный по «высочайшему повеле­нию» на службу солдатом в Омск «под строжайший надзор», проживает на свободе в Иркутске и становится учителем в доме опального городничего А.Н. Муравье­ва, хоть и раскаившегося, но все-таки одного из главных деятелей тайных обществ, из которых возник заговор декабристов.

Когда же высшее военное начальство в Иркутске вместе с гражданским губернатором: случайно узнает о каких-то секретных сношениях и связях этого ссыль­ного солдата с декабристами, поселенными в Петров­ском заводе на положении каторжников, которым за­прещены прямые сношения даже с ближайшими род­ными; когда испуганное начальство хочет без лишнего шума вернуть Медокса к месту его официальной служ­бы, боясь, что известие о его самовольной отлучке из Омска может навлечь гнев министров на местную власть, этот самый ссыльный солдат" требует убрать из Иркутска губернатора, который мешает ему раскрыть» новый заговор.

В то же время приезжие из столиц жандармские полковники и ротмистры, которых боятся губернаторы, имеют тайные свидания с этим ссыльным солдатом я доставляют в Петербург его письма к царю и к всемо­гущему графу Бенкендорфу. Наконец, этот ссыльный солдат пользуется каким-то таинственным покровитель­ством генерал-губернатора Лавинского, который одер­гивает усердных провинциальных администраторов и: разъясняет им, что в сношениях Медокса с государст­венными преступниками нет ничего опасного для пра­вительства. Впрочем, и сам генерал-губернатор порою испытывает неудобство от пребывания в Иркутске ссыльного омского солдата, который помимо него пере­писывается с высшим правительством, но сетования Лавинского на недоверие к нему правящих кругов ос­таются без ответа.

Довольно любопытны эти взаимоотношения генерал-губернатора Восточной Сибири А.С. Лавинского, при­надлежавшего к высшей придворной знати (он был внебрачный сын гофмаршала Ст. Серг. Ланского и гра­фини Н.Н. Головиной), с ссыльным с солдатом Романом Медоксом. Выше приведен был рассказ Э.И. Стогоза о загадочном поведении в Иркутске Медокса, который вместе с другими пятью-шестью загадочными лично­стями был «принят почти везде, кроме генерал-губернатора».

Когда Стогов уезжал из Иркутска, он при прощании с Медоксом выразил сожаление, что его молодая жизнь в Иркутске скучна, недеятельна. Медокс отвечал: «Ни­чего, пока сносно». - «Хорошо бы и вам проститься с Иркутском». - «Я здесь - пока здесь Лавинский, а уедет он, уеду и я». «Я подумал, - говорит далее Стогов, -хвастает, не вырвется, но он говорил так спокойно и твердо, что я спросил: «Вы не шутите Медокс?» - «Нет, я говорю серьезно». — «Да разве от вас зависит быть здесь или в Петербурге?» - «Конечно, если я говорю, то оно так и будет».

В чем же заключалась сила Медокса? Этот загадоч­ный солдат из беглых самозванцев и подделывателей министерских подписей чувствовал себя так уверенно в 1830 году в Иркутске потому, что он тогда уже, несомненно с ведома высшей власти, вел свою очень сложную и сулившую ему такие блестящие перспективы авантюру.

ПОСЛЕ РАЗГРОМА ДЕКАБРИСТОВ

Страшно напуганный восстанием 14 декабря 1825 года, сильно трусивший во время следствия по делу о заговоре декабристов, Николай Первый боялся даже мысли о новом тайном обществе и создал вокруг себя атмосферу постоянной подозрительности и мнительно­сти. Воспоминание о 14 декабря постоянно тревожило императора и вызывало в нем мстительные чувства по отношению даже к самым отдаленным участникам за­говора. Тем более беспокоили его встречавшиеся в до­кладах министров имена главных руководителей тай­ных обществ и ближайших деятелей восстания 1825 года в Петербурге и на юге.

Особенно боялся царь сочувствия своих подданных к сосланным декабристам и к их идеям: с молодежью, устраивавшей кружки для освобождения трудящихся масс, Николай расправлялся очень круто. Такое настро­ение императора поддерживали почти все окружавшие его: одни из трусости и по соображениям служебной карьеры, другие из опасения потерять материальные блага при ином государственном строе, третьи из жад­ности — вследствие поражения декабристов в полити­ческих и имущественных правах многие представители правящих кругов получили или домогались получить открывшиеся наследства.

Прошло несколько лет со времени казней на верках Петропавловской крепости, кружки молодых людей, сочувствовавших декабристам, были беспощадно раз­давлены, сами заговорщики 1825 года, казалось, были совсем вычеркнуты из жизни, а их крамольные замыс­лы окончательно рассеяны. И вдруг в конце 1832 года императору докладывают о раскрытии нового заговора среди государственных преступников — декабристов, находящихся на каторге в Сибири, поддерживающих самые живые сношения со своими единомышленни­ками в обеих столицах, встречающих сочувствие среди некоторых представителей высших правительствен­ных и придворных кругов и прямое содействие среди сибирского чиновничества и купечества. Нити заго­вора сходились к дому иркутского городничего А.Н. Муравьева.

Александр Николаевич Муравьев — личность заме­чательная. Большой знаток русской истории XVIII и XIX веков П.И. Бартенев сказал о нем, что это — натура сложная и любопытная. В.Г. Короленко отметил наряду с большими общественными заслугами Муравьева круп­ные человеческие недостатки в его богатой и сложной натуре.

Сын основателя и преподаватель известной Школы колонновожатых, из которой вырос потом Генеральный штаб русской армии и большинство воспитанников ко­торой были замешаны в заговоре 1825 года, А.Н. Му­равьев был вместе с П.И. Пестелем учредителем первого тайного общества, в котором развилась идея политиче­ского преобразовании России, — Союза спасения.

Давнишний масон, он прикрывал масонством собра­ния тайного общества, был одним из деятельнейших руководителей последнего, участвовал в его совещани­ях, устраивал их у себя на дому — между прочим, у него обсуждался вопрос о цареубийстве, — привлекал в общество новых членов. Но масонский мистицизм разрастался и вытеснил из его головы революционные замыслы: задолго до раскрытия заговора А.Н. Муравьев вышел из состава тайного общества, отрекся от его идей. К декабрю 1825 года он был неслужащим отставным полковником.

Привлеченный к следствию, А.Н. Муравьев пред­ставлял императору записки, в которых очень резко осуждал заговорщиков и их революционные замыслы, высказывал в сильных выражениях раскаяние в былом своем заблуждении, и дальнейшая участь его была от­личная от судьбы других членов тайных обществ. От­несенный к шестому разряду злоумышленников, он подлежал отправлению на каторгу на пять лет и затем поселению в Сибири до смерти. Но царь велел «сослать его на житье в Сибирь без лишения чинов и дворянства». Ни успел Муравьев доехать до Якутска, как получил новое облегчение: ему позволили жить б более мягком по климату Верхнеудинске.

Здесь он пробыл до весны 1828 года, когда переведен был в Иркутск на должность городничего. Как объяснял Муравьев в письме к родным — «то же самое, что у нас в России называется полицеймейстер».

За льготами следовали облегчения, подавались на­дежды на дальнейшее улучшение служебного поло­жения, но продолжался надзор и за самим раскаяв­шимся заговорщиком и в особенности за его перепи­ской.

А.Н. Муравьев был человек настойчивый и упорный. Он захотел, чтобы его освободили от одного из важных признаков явного недоверия правительства, чтобы его переписка была освобождена от надзора, под которым находилась переписка сосланных декаб­ристов. Напоминая, что он формально уже не числит­ся «государственным преступником», Муравьев жало­вался на то, что письма его незаконно читаются «по­сторонними» людьми. Начальнику этих «посторон­них» людей, главе почтового ведомства, другу и ми­нистру Александра I князю А.Н. Голицыну пришлось оправдываться. Он заверял шефа жандармов генерала Бенкендорфа, что жалобы А.Н. Муравьева на получе­ние им писем распечатанными и залепленными неос­новательны. «Сие есть ошибочное подозрение, — пи­сал Голицын. И глубокомысленно добавлял: — Ибо средством перлюстрации открытые печати налагаются снова столь искусно, что сего никак заметить невоз­можно». Но Бенкендорф успокаивал чуткую совесть Голицына и рекомендовал ему (летом 1830 года) про­должать вскрытие писем Муравьева, так как из пе­реписки его обнаружились «обстоятельства, заслужи­вающие особого внимания правительства, и продол­жение наблюдения за оною может послужить к новым и ближайшим открытиям по сим обстоятельствам».

Надзор за домом иркутского городничего был разно­образный и усиленный. Кроме вскрытия писем, в ко­торых, конечно, особенной откровенности их авторы не допускали, правительство следило за образом мыслей А.Н. Муравьева и за его сношениями через специаль­ных агентов, посылавшихся под разными предлогами в Сибирь. Они проникали к Муравьеву как его почита­тели, как передатчики известий от родных из столицы. Конечно, истинная цель их посещений не была тайной для бывшего заговорщика.

Имея в виду не столько своего адресата, сколько тех, кто ознакомится с его письмом путем перлюстрации, А.Н. Муравьев с большой долей насмешки писал 26 июля 1830 года своему другу С.С. Ланскому в Москву: «Барон Шиллинг, по-видимому, так ко мне расположен, что не только всякий день, но по 5 и по 9 часов в день мы бываем вместе. Не знаю, какие может он иметь виды, но уверен, что Господь, вращающий и распола­гающий сердцами человеков и умами их, не сделает его для меня вредным».

Барон Шиллинг фон Канштадт был одним из мно­гочисленных в то время агентов-наблюдателей III отде­ления из числа представителей так называемого свет­ского общества. Они полезли тогда к жандармам, чтобы выказать свое усердие к престолу и пресечь вредное влияние идей крамольников-декабристов, как спустя полвека их внуки поползли в Священную дружину, чтобы охранять царя от покушений народовольцев. И как их отдаленные последователи, эти благородные агенты Бенкендорфа не умели под личиной сочувству­ющих освободительному движению скрыть свою шпи­онскую сущность. Недаром несколько позднее более ловкий конкурент Шиллинга и более его пригодный к шпионству, не только агент-наблюдатель, но и агент-провокатор, писал их общему патрону Бенкендорфу, что о целях барона очень легко догадались в доме А.Н. Муравьева.

По-видимому, это был тот самый барон П.Л. Шил­линг фон Канштадт, которому принадлежит честь изо­бретения электромагнитного телеграфа и введения в России литографии. Во всяком случае, именно этот Шиллинг был в 1830 году в чине действительного стат­ского советника командирован по службе с научной целью в Сибирь, где провел два года, преимущественно в областях, пограничных с Китаем. Он подолгу бывал в Иркутске и являлся незваным, чрезмерно засижива­ющимся гостем в доме А.Н. Муравьева.

Имел этот Шиллинг частые свидания и с Медоксом, который ездил с ним в Кяхту. И это самое время с Шиллингом встречался в Сибири упоминавшийся выше Э.И. Стогов. В своих воспомина­ниях он характеризует Шиллинга именно как агента-ннблюдателя: «В Троицкосавске жил тогда приезжий из Петербурга действительный статский советник барон Шиллинг фон Канштадт. Это необычайно толстый че­ловек с большими связями, ученый, весельчак, отлич­ный говорун, знающий всю аристократию столиц Ев­ропы. На него смотрели как на какую-то загадку. Че­ловек чрезвычайно любезный, очаровательный». И дальше Стогов рассказывает, что когда он захотел пе­рейти из морского ведомства в жандармское, то стоило ему только упомянуть об этом в разговоре с Шиллингом, как на другой же день поутру он получил приглашение от одного из помощников Бенкендорфа поступить на службу к ним.

Правительство нуждалось тогда в специальных да­рованиях людей, подобных Медоксу. Все применявши­еся системы надзора казались несостоятельными: надо было придумать новые способы уловления и пресечения, нужны были особые люди. Все явные и тайные надзоры не достигали цели, все явные и тайные агенты не соответствовали требованиям дела. Нужны были люди, которые совершенно не внушали бы подозрений ссыль­ным крамольникам, которые могли бы втереться в их среду не только как сочувствующие, но и как деятель­ные единомышленники. Нужны были люди, которых не останавливали бы никакие веления чести и совести, у которых совершенно было бы вытравлено чувство порядочности.

В то же время эти люди должны были уметь говорить о чести, о совести, о порядочности как о своих особых отличительных качествах. Эти люди должны были уметь втереться в доверие подозреваемых, чтобы вы­звать их на откровенность, эти люди должны были уметь высказываться в духе идей и замыслов подозре­ваемых, чтобы направить их деятельность в соответст­венном смысле и дать возможность властям уловить крамолу.

Была потребность в агентах-провокаторах, и агенты-провокаторы явились.

Медокс давно искал случая послужить отечеству. Если ему не удалось, подобно Минину, собрать народные деньги, если он не смог, подобно Орлеанской деве, предводительствовать в битвах, если, подобно Талей-рану, он не смог подвизаться на дипломатическом поприще, то всей своей предшествовавшей жизнью, всем опытом и направлением ума он был хорошо подготовлен к роли наблюдателя за людьми подозри­тельного образа мыслей: он долго сидел в крепостях, бынал в ссылке, много раз скрывался от правитель­ства, наконец, имел знакомства в кругу декабристов и умел вызвать у них сочувствие к себе. К тому же Медокс так жаждал получить прощение правительст­ва, так пылко стремился искупить все свои грехи и, наверстав потерянные два десятилетия, сразу сделать хорошую карьеру.

Вовсе не требовалось, чтобы правительственные ор­ганы дали Медоксу идею провокации, хотя Николай Первый отнюдь не заботился об устранении несчастных случайностей, сокращавших число его «друзей 14 де­кабря». Достаточно было умному пройдохе сообразить, что суровый император боится даже тени побежденных им заговорщиков, что грозный самодержец трепещет при намеке на существование тайного общества, и в голове этого искушенного подделывателя документов зародилась идея смелой авантюры, планомерно и дерзко развивавшейся в 1830—1834 годах.

И если невозможно установить, что Медокс по пря­мому поручению IIIотделения заменил поднадзорную службу в звании рядового в Омске на свободную жизнь преподавателя дочери городничего в Иркутске, то, ко­нечно, и по существу дела и по всем изложенным выше обстоятельствам можно заключить, что деятельность кавказского самозванца в доме А.Н. Муравьева проте­кала в соответствии с задачами и целями жандармского ведомства, которое различными, всегда тайными и сложными путями было осведомлено о всех иркутских предприятиях ссыльного омского солдата.

Итак, Медокс появился в Иркутске в октябре 1829 года и сразу, как он говорит в своем большом доносе на декабристов, «сблизился с семейством А.Н. Муравь­ева». Конечно, «близость» эта была своеобразной, ее добивался Медокс, и от нее отбивались все взрослые члены семьи Муравьева.

Всеми способами Медокс старался втереться в дове­рие к иркутскому городничему, но это ему не удавалось и не удалось никогда. Муравьева трудно было перехитрить. Он только поневоле терпел в своем доме постоял нон присутствие подозрительного ссыльного солдата, как терпел продолжительные визиты сановного путе­шественника и исследователя русско-китайских торго­вых отношений, не обманываясь ни на счет морального облика, ни на счет истинных целей своих непрошеных гостей. В бумагах Медокса сохранился ценный доку­мент, относящийся к пребыванию его в Иркутске и хорошо освещающий отношение городничего к нему. Это письмо А.Н. Муравьева к Медоксу, которое приво­жу здесь полностью впервые.

*Милостивый государь Роман Михайлович!*

*Вы слишком хотите обязать меня, и я не смею при­нять Вашего предложения. Прошу только, если Вам досуг,**зайти к нам около 7 часов вечера, чтобы перего­ворить и поблагодарить Вас за приязнь Вашу, и попла­кать о моем невежестве и невежестве поганого Артиста, который совсем перепортил жертву Пифагора, намарав над**дверьми каких-то гадких марионеток. Мне даже совестно, что я просил Вас о подлинниках.*

*8 июля 1830.*

*Преданный вам А. Муравьев.*

На обороте: *«Роману Михайловичу Медоксу».*

Так сквозит в этих немногих строках презрение Му­равьева к своему адресату, так явно выражено в письме стремление бывшего заговорщика отгородиться от быв­шего самозванца, хотя и трудно точно установить, о чемидет речь в письме.

Впрочем, Медокс и сам не обманывался на счет истинных чувств А.Н. Муравьева к нему. В напечатан­ном ниже Дневнике Медокса встретим много досадных егозамечаний по поводу отношения к нему опального городничего.

Затем, в бумагах Медокса сохранилось еще два любопытных и в известных отношениях очень важных документа, относящихся к пребыванию его в Иркут­ске. Это черновики его писем к Николаю Первому и к одному из его министров, по-видимому, к началь­нику жандармского ведомства А.Х. Бенкендорфу. Эти письма служат хорошим стилистическим введением в печатаемые здесь литературно-патриотические уп­ражнения Медокса.

ПИСЬМО МЕДОКСА ЦАРЮ

*Всеавгустейший монарх! Всемилостивейший государь!*

*Заточенный 17 лет от роду внутрь мрачных стен шлисселъбургских (за проект кавказско-горского ополчения в 1812 году) и прострадавший в безвыходном затворе целые 14 лет, 14 веков, я наконец был освобожден милосердием Вашего Императорского Величества и послан на житель­ство в Вятку. Но полудикий умеет ли пользоваться бла­годеянием? Безрассудно следуя влечению чувства, я осме­лился уехать в Москву для свидания с родными, попал в беды и, опасаясь подвергнуться испытанной участи, укры­вался по инстинкту всех животных спасать жизнь. Взя­тый в Одессе, томлюсь два года солдатом в Иркутске.*

*Не говорю ни о претерпенном, ни о претерпеваемом: я весь обвит муками. Великую боль можно ощущать, а не описывать.*

*Моих преступлений много, но милостей в душе вен­ценосца, конечно, еще более* — *и я не без надежд.*

*Буквы, сухие знаки, слабо изображают; да и вообра­жение мое отощало. Если б оно соответствовало жела­ниям, то б сии строки походили на гимн Богу счастъетворцу. Снизойдите к недостаткам и, вняв молению несчастного, еще раз даруйте жизнию имеющего счастие быть, всемилостивейший государь, Вашего Император­ского Величества верноподданным.*

Второе письмо связано с первым темой и датой: оно набросано на втором полулисте того же листа бумаги, что и письмо к Николаю. Любопытно в нем старание Медокса обойти все рискованные пункты своей биогра­фии, его стилистические упражнения и ссылки на ис­торических людей Франции.

ПИСЬМО МЕДОКСА БЕНКЕНДОРФУ

*И я осмеливаюсь прибегнуть в сень покрова, заслугами достигнутого той вершины, отколь долу текут блажен­ства. Склонитесь и не прозрите случая к столь великому благодеянию, какое оказать редко бывает во власти человека [[5]](#footnote-5).*

*Провлачив в затворе четырнадцать лет цвета жизни, л, одичалый, был освобожден милостию государя и, не умев пользоваться счастием, снова погиб. Я, конечно, много виноват, но* — *ах* — *вникните, ради Бога, вник­ните в источник преступлений.*

*Я без вести пропал во время нашествия французов. Покойный отец мой, бывший директор московского те­атра, после тщетных поисков, считав мертвым, не упо­мянул в духовной. Для сделки сродными и по страстному желанию видеть их* — *особенно любезных сестер, без меня вышедших замуж и наживших детей,* — *я уехал в Москву с намерением скоро возвратиться, ибо к побегу не было ни малейшей причины, но господин вятский гражданский губернатор, в ведомстве которого я состоял, мгновенно узнав, уведомил с курьером господина московского глав­нокомандующего и тем принудил укрываться под чужими именами. В злодействах, в поступках подлых, корысто­любивых ко вреду других я не был даже и подозреваем никогда.*

*Теперь в Иркутске при здоровье, давно разрушенном, тлею солдатом, ни к чему не годным, а в гражданской службе, смею сказать, мог бы быть небесполезным. Впро­чем, предпочел бы всему на свете покой средь любезных на родине, в Москве... О! Если б посредством ходатайства вашего превосходительства исполнились те желания, о коих одни мечты приводят в исступление!.. Мудрости царей и вельмож знает цену лишь потомство, а доброде­тели их составляют счастие современников и громко благословляются.*

*Озаряемый надеждою, средь волнения чувств, не нахо­дя слов выразить ощущаемого, скажу только то, что по всей возможности постараюсь быть достойным столь высокого покровительства и сделать примерною всю жизнь стяжущего честь вторить, что есмь со всеглубочайшим почтением, милостивейший государь, вашего высокопревосходительства.*

Письма недатированы, и время их составления при­ходится устанавливать по содержанию. Выражение «томлюсь два года солдатом в Иркутске» могло бы служить доказательством того, что это написано в ок­тябре 1831 года, если бы все в истории Медокса было ясно и определенно. Но в таком случае вся фраза, из которой извлечено приведенное выражение: «Взятый в Одессе, томлюсь два года солдатом в Иркутске», — служила бы очень веским и полноценным доказатель­ством того, что Медокс был послан правительством вместо назначенного ему местом службы Омска в Ир­кутск вскоре после того, как А.Н. Муравьев был назна­чен туда городничим.

Но в истории Медокса многое неясно и неопределен­но. И если нельзя решительно заявить, что авантюра Медокса была результатом предварительного соглаше­ния между ним и Бенкендорфом, то приведенные до­кументы служат лишним доказательством нарочитой недоговоренности между ними.

Возможно, что эти документы представляют собой первоначальный проект тех двух писем, которые Медокс послал царю и Бенкендорфу 19 марта 1831 года и следы которых сохранились в «деле» III отделения о нем. В письме к Бенкендорфу от 19 марта Медокс предлагал шефу жандармов «воспользоваться случаем к столь ве­ликому благодеянию, какое оказать редко бывает во власти человека», и убеждал начальника III отделения выхлопотать для него прощение. Оба письма от 19 марта 1831 года посланы из Иркутска, и почти в то же самое время, 4 апреля, барон П.Л. Шиллинг послал Бенкен­дорфу обширное письмо из Троицкосавска, на русско-китайской границе, где он находился в научной коман­дировке. Изобретатель электромагнитного телеграфа подробно рассказывал шефу жандармов о кавказских похождениях Медокса во время нашествия Наполеона, в сочувственных выражениях говорил об его дальней­шей участи и рекомендовал начальнику III отделения добиться прощения Медокса и принять его в службу. 3 июня того же года Бенкендорф ответил Шиллингу, что говорить об этом с царем преждевременно.

Есть много скрытого и недоговоренного и во взаимо­отношениях Шиллинга с Медоксом, но эта недогово­ренность, конечно, вытекала из того, что сношения их имели одну цель — возможно лучшее осведомление жандармов по определенному вопросу. Несомненно, что эти маложеланные в доме А.Н. Муравьева гости сходи­лись там именно для наблюдения за образом мыслей иркутского городничего и поселенных в Петровском заводе бывших его товарищей по тайному обществу.

Когда же начались эти сношения двух наблюдателей? Знал ли барон Шиллинг про Медокса, когда выезжал в середине 1830 года из Петербурга в командировку на рус­ско-китайскую границу, или они впервые встретились в доме иркутского городничего, как два ночных вора, случайно столкнувшиеся в чужой квартире? И если на этот вопрос также нет определенного ответа в сохранившихся докумен­тах, то на основании всего рассказанного выше про связи Шиллинга с жандармским ведомством можно предположить, что при выезде из Петербурга в Сибирь ученый барон знал о заинтересованности Ш отделения в иркутской деятельности Медокса.

В секретных бумагах о Медоксе имеется любопытная справка, составленная в Петербурге в 1834 году, в то самое время, когда Медокс открывал в Москве новый заговор декабристов и задумывал свой очередной побег из-под жандармского надзора. Справка эта является результатом произведенного полицией дознания по по­воду одного письма к Медоксу.

*Жена пограничного начальника коллежская советни­ца Варвара Петровна Петухова прибыла из Кяхты сего марта 20-го числа и остановилась 1-й части 2-го квар­тала в доме Чаплина в № 24. Когда барон Шиллинг проезжал по Кяхтинским местам, быв знаком с мужем ее Петром Андреевичем Петуховым, и когда Петухов спросил барона Шиллинга, не знает ли он хорошего жи­вописца, чтобы снять портрет с начальника китайских маймачин Дзергучи, то в таком случае барон Шиллинг и рекомендовал ему г. Медокса, и Медокс точно отлично снял его, Дзергуча, портрет и с тем портретом скрылся неизвестно куда. Но! Так как жена Петухова намерева­лась ехать через Москву в Петербург для свидания с сыном ее, который находится в Горном корпусе, то г. Дзергуч и просил ее, Петухову, при проезде чрез Москву спросить о Медоксе у купца Куманика, который ей пись­мом сюда отвечал, и она по получении письмо отдала барону Шиллингу, знакомому г. Медокса; также, когда проезжал полковник Вохин, то с ним ездил и Медокс, которого он также за хорошего живописца Петухову рекомендовал; до того же времени Петуховы с Медсксом знакомы не были.*

Путем исключения можно подойти к разрешению вопроса о времени совместного путешествия Шиллинга и Медокса в Кяхту и, следовательно, о степени их знакомства в интересующий нас период. В это путешествие произошла, конечно, первая встреча Петуховых с Медоксом, так как в нашей справке говорится о второй поездке последнего в Кяхту — с полковником Вохиным, что имело место весной 1833 года.

За время с октября 1830 года по октябрь 1831 года Медокс вел подробный Дневник, из записей которого можно заключить, что тогда он не выезжал из Иркутска, тем более на русско-китайскую границу. Летом 1832 года барон Шиллинг был уже в Петербурге, следова­тельно, совместную поездку с Медоксом в Кяхту он мог совершить либо зимой 1831/32 года, либо летом 1830 года.

Если принять последнее, то возможно, что Шиллинг знал о Медоксе еще до своего приезда в Иркутск и поездка их в Кяхту должна была дать им возможность свободно обсудить вопрос о надзоре за домом Муравьева. А вывод о близком знакомстве Шиллинга с Медоксом до октября 1830 года позволяет сделать запись в Днев­нике под 28 февраля 1831 года, где барон упоминается впервые в такой фразе: «Сегодня красный денек, барон Шиллинг, из Кяхты ночью приехавший, обедал у Алек­сандра Николаевича... Светит надежда: посредством Шиллингова ходатайства возвратиться домой».

Возможно, конечно, что Шиллинг познакомился с Медоксом до октября 1830 года, но по приезде в Ир­кутск. Однако такое толкование имеет в свою пользу не больше доказательств, чем первое. А в истории Медокса так много невыясненного после тщательного ис­следования обращается в свидетельство его секретных сношений по делам декабристов с III отделением до октября 1830 года, что первый вывод имеет все права на внимание.

ВЛЮБЛЕННЫЙ МЕДОКС В ДОМЕ А.Н. МУРАВЬЕВА

Барон П.Л. Шиллинг фон Канштадт, ученый-языко­вед и путешественник, действительный статский совет­ник, мог приходить к А.Н. Муравьеву в качестве заез­жего столичного гостя, желающего выказать внимание человеку, получившему за боевые отличия во время Отечественной войны чин полковника, занимавшему до случившегося с ним «несчастья» видное положение в столичном обществе по личному значению и по семей­ным связям, хоть и впавшему в заблуждение, но сво­евременно покаявшемуся и получившему формальное помилование.

Медокс хоть и говорит в своем большом доносе, что сразу по приезде в Иркутск «сблизился с семейством А.Н. Муравьева по прежнему знакомству» его сестер с сестрами жены городничего, но все-таки вошел туда только в качестве учителя его малолетней дочери, к тому же учителя едва терпимого, явно недопускаемого в кабинет хозяина.

В Дневнике Медокса много записей о том, как под разными предлогами его часто извещали через прислу­гу, что «сегодня барышня учиться не будет», много в Дневнике жалоб на пренебрежительное отношение Myравьева к Медоксу. Но кавказский самозванец не сму­щался этим: у него была определенная цель, для осу­ществления которой он должен был по возможности больше находиться в доме А.Н. Муравьева, как можно больше слышать, что там говорят, и видеть, что там делают. Не до самолюбия было.

Перед тем, как идти в дом Муравьева, Медокс «перед зеркалом учился притворяться веселым». Но Муравьев приходе Медокса «заболевал простудою» и не выхо­дил из кабинета. Если при явно выраженном пренебрежении хозяина неудобно было ходить в гости к нему, то можно было прибегнуть к другому приему, который позволял **человеку** с самым чу мстительным самолюби­ем терпеть обиды и поношения.

Медокс *влюбился* в свояченицу А.Н. Муравьева княжну Варвару Михайловну Шаховскую, проживавшую в доме иркутского городничего. Медокс, которому в это время было по самому скромному подсчету трид­цать пять лет от роду, которого отец выгнал из дому еще в юношеские годы за развратное поведение, кото­рый служил в полиции и даже оттуда был изгнан за безнравственность, который крал и мошенничал начиная с восемнадцатилетнего возраста, который менял паспорта почти ежемесячно, пока был на воле, который изъздил всю Россию и всюду умудрялся обманывать всех, кому приходилось с ним сталкиваться, — Медокс влюбился*,* как может влюбиться наивный семнадцатилетний юноша, только что вышедший в жизнь из закрытого учебного заведения.

Варвара Михайловна Шаховская по справедливости должна быть причислена к тем русским женщинам, которых воспели Н.А. Некрасов и А.И. Одоевский за их подвиг самоотверженной любви к мужьям. Как жены Н.М. Муравьева, СП. Трубецкого, С.Г. Волконского, А. П. Юшневского, М.А. Фонвизина, В.Л. Давыдова и других, как сестры Н.А. и М.А. Бестужевых, как невесты И.А. Анненкова и В.П. Ивашева, княжна В.М. Шаховская поехала в Сибирь за своим женихом, сосланным в каторгу декабристом П.А. Мухановым, но участь ее была горше участи других женщин, последовавших за осужденными заговорщиками. Во-первых, ей так и не удалось соединиться с любимым человеком, во-вторых, ей пришлось терпеть и переносить ухаживания человека, который не мог быть ей симпатичен вообще, а ввиду его роли в доме ее зятя был ей особенно неприятен.

Медокс влюбился, и так полна была его душа нежных и пылких чувств, а застенчивость и необыкновенная скромность мешали ему излить эти чувства объекту своей любви, что он, подобно наивному сентиментальному юноше, завел Дневник, тетрадки которого благоговейно носил с собой. Влюбленный Медокс сильно страдал от своей робости и, сидя один в гостиной Муравьевых, перечитывал листки, которым доверял признаниясвоей души. Часто, умиленный и растроганный, он забывал эти листки, когда уходил домой, прощаясь с предметом своей любви. И находя эти листки на другой день на том же диване, где накануне забывал их, с трепетом смотрел в глаза своей возлюбленной, чтобы прочитать в них, не оскорбил ли он своего божка.

Еще в Москве, до раскрытия заговора, П.А. Муханов и В.М. Шаховская, по свидетельству их родных, сильно любили друг друга, но брак их не мог состояться по церковным правилам: сестра Муханова, Елизавета Александровна, была замужем за братом Шаховской, Валентином Михайловичем.

Вот что Елизавета Александровна Шаховская запи­сала в своем дневнике летом 1826 года после свидания с осужденным братом, к которому она явилась вместе с сестрами мужа Варварой (Бабет) и Елизаветой: «В это мгновение, когда его душа была переполнена чувством и он не мог скрыть, я ясно увидала, что сердце его целиком принадлежит Бабет... И она, обыкновенно очень скрытная, теперь была такой, какова она и есть на самом деле, — мне стало ясно, что она любит Пьера».

После ссылки Муханова и лишения его гражданских прав сама Шаховская и их родственники надеялись, что церковные правила не будут уже служить препят­ствием для их брака. Но Николай Первый в качестве верховного блюстителя греко-российского православия не разрешал этого брака, несмотря на многократные ходатайства.

Пока еще у В.М. Шаховской была надежда на заму­жество, она жила у А.Н. Муравьева в Иркутске, близко от места ссылки Муханова. Здесь в дом Муравьева втерся со своими шпионскими целями Медокс, который решил вести свою игру на мнимой влюбленности в Шаховскую. Конечно, в доме Муравьева хорошо пони­мали самого Медокса и умели ценить его чувства. Но выгнать его нельзя было. Так трудно далось А.Н. Му­равьеву его помилование, так тонка была нить, на которой висело его материальное благополучие, так сильно зависел он от III отделения, что ему нельзя было не принимать человека, специально приставленного для наблюдения за его образом мыслей.

Выгнать Медокса — значит расписаться в неблаго­намеренности, значит стараться укрыть свои помыслы от попечительного начальства, к которому так часто обращался Муравьев со своими красноречивыми покаянными письмами. Душа его денно и нощно должна была быть открытой перед всевидящим оком власти. Можно было в письмах к родным и друзьям выражать уверенность, что «Господь, вращающий и располагаю­щий сердцами человеков и умами их», не сделает вред­ными для него доверенных этой власти, но уклоняться от их посещений нельзя было, как ни были эти посе­щения неприятны и тягостны. Приходилось еще Ме­докса деньгами ссужать. И Муравьев ссужал, как сам Медокс рассказывает об этом в своем Дневнике.

И Медокс повел свою игру. О том, как он ее вел, дает представление его Дневник за 1830—1831годы, напечатанный во второй части этой книги. Записи свои Медокс делал на отдельных листках почтовой бумаги обычного формата, причем исписывались листки так, чтобы их можно было отдельными группами, в соответ­ствии с содержанием, забывать в доме Муравьева, если автору Дневника это казалось полезным.

О том, что листки исписывались с нарочитой целью, кроме самого содержания их свидетельствует еще и то, как они заполнялись группами. Отдельные тетрадки Дневника собирались либо из двух, либо из четырех листков. Иногда исписывалась только одна сторона ли­стка, иногда только половина страницы, и запись сле­дующего дня начиналась на новом листке. В большин­стве же своих записей Дневник составлен из тетрадок по два двойных листка, или по восьми страниц в каж­дой. Нумерация страниц общая (она отмечена в тексте выносками), проставленная впоследствии в один прием от 1 до 128 только на правой стороне (оборот не нуме­рован), причем листки 88, 89, 114 и 116отсутствуют, оторванные от своих половинок. В одном случае нуме­рация проставлена ошибочно, что является результатом особых задач автора при писании дневника и что вполне подтверждает высказанные здесь по этому поводу со­ображения.

Следует признать правильной ту часть приведенной выше характеристики Медокса в докладе царю, где говорится, что он отличался «основательным знанием отечественного языка и большими навыками изъясняться на оном легко и правильно». Это относится к 1812 году, а ведь с тех пор до иркутских литературных упражнений Медокса прошло двадцать лет.

За это время выступил в литературе Пушкин, печа­талась вся плеяда его спутников. Золотой век русской литературы оказал влияние на слог Медокса и его уме­ние «легко и правильно» изъясняться на отечественном языке Это и сказалось в печатаемом ниже Дневнике, который читается легко и свободно, с неослабным, за­хватывающим вниманием. К тому же Медокс не только обладал хорошим знанием главных европейских язы­ков он был широко начитан в западноевропейской ли­тературе и это также выявлено в Дневнике, где часто цитируется Томас Мур, Байрон (в подлиннике и во фран­цузском переводе), Вольтер, Гете и другие писатели.

Благодаря всему этому Дневник имеет и самостоя­тельное литературное значение. Представляет он также интерес историко-литературный, как документ, в кото­ром выпукло и довольно талантливо представлен один из любопытных представителей эпохи хлестаковщины.

Что касается содержания Дневника по существу, то он дает много новых и любопытных штрихов к истории пребывания декабристов на каторге, к истории заговора вообще и к биографиям многих видных деятелей его в частности. Эта сторона дневника особенно интересна, как свидетельство того, что уже в двадцатых годах XIX столетия к идейному движению умели примазываться люди, лишенные моральных основ, предвестники азефовщины.

Что же касается истинных чувств Медокса к В М Шаховской, то, кроме отрицательного отзыва его о своем «божке» в одном из доносов на декабристов [[6]](#footnote-6), все записи Дневника изобличают неискренность посто­янных утверждений нашего авантюриста о любви к ней. Фальшивый тон этих утверждений, конечно, никого не обманывавший и в свое время, бросается в глаза в целом ряде записей, как, например, в записях от 18 февраля - о слезах и об ящике с письмами, от *25* июля — о разговоре с декабристом Н.П. Репиным, от 26 июля о разговоре с В.М. Шаховской по поводу проекта побега из Сибири, от 29 августа — о добродетелях «божка».

Интересны записи Мсдокса о его влюбленности еще в одном отношении для характеристики автора. Ярким рядом сальных пятен вырисовывается половая нечисто­плотность его, достойная трактирного лакея той эпохи. Говоря о Вареньке и о своей любви к ней, Медокс все время пишет о ее ножках, которые он мысленно целует, о подвязках, которые он хотел бы завязывать ей повыше колен, о счастье сидеть на стуле, с которого только что встала Варвара Михайловна и который хранит еще теплоту ее тела, о хорошей форме тучных плеч ее, о том, как он постарался бы заменить Вареньке могучего П.А. Муханова.

В целом ряде записей, явно рассчитанных на про­чтение их в доме Муравьева, Медокс ловко выставляет свою ревность, свои страдания при мысли о том, что есть счастливец, которому суждено владеть сердцем такой идеальной девы, как божественная Варенька. Прибывшего из Петровского завода декабриста Н.П. Ре­пина он подробно расспрашивает о Муханове и так передает его рассказ: «Он странно описывает Муханова: росту большого, вершков 11, сверху толст и неуклюж, как слон, а ноги тонки и больные, лицо раздутое, волосы рыжие, так же как и пребольшущие усы, из-под коих третий, испанский, ус висит почти до грудей; словом, по наружности скорее отвратителен, нежели приятен... Репин пришел ко мне обедать и принес в подарок своих трудов (Репин хорошо рисовал. — *С.Ш.)* эскизный ри­суночек Муханова в петровском костюме. Я обещал себе не говорить более о сем несчастном счастливце, но не утерпел: он опять был главным предметом разговора. Он отнюдь не гений; имеет знания, неспособен ни к чему худому, подлому; в обращении довольно приятен». Описание внешности П.А. Муханова, данное Медоксом со слов Н.П. Репина, нельзя назвать пристрастным. Известный доктор Н.А. Белоголовый, хорошо знавший декабристов в Сибири, пишет про Муханова: «Это был человек могучего сложения (относится к 1846 году. — *С.Ш.),* широкоплечий и тучный, с большими рыжими усами и несколько суровый в обращении». А сенатор Б.А. Куракин, посланный зимой 1827 года официально с ревизией, а на деле — для ознакомления с положением декабристов и с отношением к ним местных властей, сообщал начальнику жандармского ведомства генералу А.Х. Бенкендорфу: «Что касается Муханова, то вы ви­дели его, когда он еще носил военный мундир, и, сле­довательно, должны помнить, что вся фигура его тогда была довольно характеристична: именно в тот день, когда мы в крепости объявляли им приговор Верховного уголовного суда, фигура его поразила меня до такой степени, что я никогда с тех пор ее не забывал. Он был очень нехорош собою, и некрасивость его была страш­ная; теперь же это положительно чудовище. Представь­те себе голову льва, лежащую на плечах толстого и большого человека, и Вы получите полное представле­ние о личности, у которой видны только глаза, нос, совсем маленькая часть губ и едва-едва рот; при этом та небольшая часть кожи, которую можно рассмотреть, пламенно-красного цвета. Остальная часть его голо­вы — положительно грива самого яркого рыжего цвета. Борода его, закрывающая часть его лица и окружающая всю переднюю часть шеи, ниспадает вплоть до середины груди, усы его, очень густые и без преувеличения каж­дый длиною по меньшей мере в четыре вершка, свисают по бороде, а волосы невероятной густоты, покрывают сверху его лоб, окружают всю голову и падают толстыми локонами гораздо ниже плеч. Вот точный физический портрет этого человека».

Что касается нравственного облика П.А. Муханова, то стремление Куракина выставить его в плохом виде против воли автора этой характеристики превращается в похвалу: «Привыкнув подходить к этим людям с мягкостью, как к людям, достаточно несчастным и вызывающим жалость, и желая внушить им этим более легкости в откровенном выражении их мнений, хотел так же начать и с этим, но представьте себе мое изум­ление, когда на вопрос, довольны ли они офицерами, которым поручено их сопровождать, вместо того чтобы получить спокойный ответ, какой я до сих пор получал, я увидел человека, который смеется мне прямо в лицо и, насмехаясь и повторяя мой вопрос, говорит мне: «Доволен ли я офицерами? Мой Бог, вполне, да я всем вообще доволен!..» Хотя и пораженный, я сохраняю хладнокровие и предлагаю ему сказать мне, нет ли у него какой-нибудь просьбы, достаточно ли по времени года он тепло одет. Новый смех, после которого он говорит: «Я ни в чем не нуждаюсь, решительно ни в чем, кроме пары холодных сапог: мои сносились, я заказал их, и прошу вас только приказать подождать их и не заставлять нас выступать ранее их получения; однако, если это представляет хоть малейшее затруд­нение, я могу обойтись и отправлюсь в тех, которые на мне!..»

«В конце концов, — продолжал Муханов свой раз­говор с Куракиным, — у меня просто большая сила характера; я сознаю свое положение, подчиняюсь веле­ниям провидения и полагаю, что, не будучи в состоянии изменить своей участи, лучше переносить ее с мужест­вом, чем позволить дать унизить себя малодушием, недостойным человека и к тому же ни к чему не слу­жащим. Я прекрасно знаю, что я отправляюсь в катор­жные работы, — и прекрасно! Бог дал мне силу и моральную и физическую, и я буду работать; это меня поддержит и поможет мне забыть мое положение... Одна только вещь удивляет меня: это, что по приговору, который был мне вынесен, я помещен в четвертом разряде, а теперь путешествую с лицами первого раз­ряда. По крайней мере, — прибавил он, улыбаясь, — я очень мало интересуюсь подобным повышением».

В заговоре декабристов Муханов участия не прини­мал, хотя был членом тайных обществ, но после вос­стания 14 декабря 1825 года он говорил в одном кружке московских заговорщиков, что готов убить Николая Первого, если это нужно для освобождения арестован­ных товарищей. Состоя на военной службе, Муханов несколько лет был адъютантом знаменитого генерала Н.Н. Раевского и был близок к его семье, с которой особенно дружен был Пушкин. С Пушкиным он также был в дружеских отношениях, и поэт называл Муханова своим приятелем. До катастрофы 1825 года Муханов много и серьезно занимался русской историей, писал и вообще интересовался литературой.

братом Шаховской. По существу же, как правильно отметил А.А. Сивере в новых материалах к биографии П.А. Муханова, опубликованных после напечатания на­стоящей работы в первоначальном виде, этот отказ вызван был в значительной степени доносами Медокса, который в центре своей авантюры поставил В.М. Ша­ховскую и ее сношения с осужденными декабристами.

В то самое время, как в III отделении читали большой донос Медокса, П.А. Мухаиов писал своей матери: «Я рад, что мой старый товарищ и приятель Розен (декаб­рист А.Е. Розен. — *С.Ш.)* счастливее меня, ибо он женат и имеет детей... Теперь осталось мне желать одного. К счастию, это желание старое и общее желание обоих наших семейств (Мухановых и Шаховских. — *С.Ш.).*

Я ожидаю решительного известия от моей неоценен­ной невесты... Все, что она сделала, было совершенно в согласии с желаниями моими. Милосердное провиде­ние приблизило день нашего соединения... В письмах, полученных мною здесь (в Иркутске, где Муханов был проездом из Петровского в Братский острог, на поселе­ние, — из Тобольска, куда незадолго до того выехала с семьей А.Н. Муравьева княжна Шаховская. — *С.Ш.),* я имею все уверения, что скоро мы будем писать вам вдвоем...»

Дальше Муханов пишет, что он надеется получить еще в Иркутске, от губернатора, разрешение на вступ­ление в брак с Шаховской, но он не знал, что в это самое время Медокс особенно резко подчеркивал в своих доносах вредную роль общения Муханова с Шаховской. Он не знал, что в это самое время А.С. Лавинский сообщал Бенкендорфу о двух перехваченных полицией, совершенно невинных с точки зрения политической, письмах В.М. Шаховской и ее сестры П.М. Муравьевой к Муханову, причем генерал-губернатор добавлял, что по одним соображениям следовало бы отдать эти письма адресату, но по другим, «особенным причинам»,-о ко­торых он сообщит шефу жандармов лично по прибытии в Петербург, он пересылает эти письма в III отделение.

Бенкендорф сделал А.Н. Муравьеву строгий выговор за то, что его дом служит посредствующим звеном для передачи сосланным заговорщикам писем, причем его жена и сестра последней сами переписываются с госу­дарственным преступником. Муравьев послал Бенкен­дорфу униженное оправдательное письмо, заявляя, что

Наряду со стойкостью и твердостью характера, про­явленными им в Сибири, П.А. Муханов обладал неж­ным и добрым сердцем. Он и В.М. Шаховская любили друг друга и хотели пожениться, но до 1826 года этому препятствовала мать Шаховской, а после осуждения Муханова мешали обстоятельства их жизни. Николай Павлович и Бенкендорф стояли на страже законов пра­вославной церкви и не давали разрешения на брак ввиду того якобы, что сестра Муханова была замужем за имеет «по милости Божией с давнего уже времени в сердце своем самое основательное, самое сильное отвра­щение к правилам, образу мыслей и заблуждениям» государственных преступников.

В.М. Шаховская тоже оправдывалась (в письме от 29 июля 1833 года) перед Бенкендорфом: «Неожиданное известие о выходе (Муханова. — *C.III.)* на поселение вдруг поколебало твердость моей души; убежденная, что всякие браки разрешаются в Сибири, я решила, что все препятствия теперь отпали и, забыв всякие сообра­жения, позволила себе увлечься... Я не смогла устоять перед соблазном вступить в сношения с моим несчаст­ным другом, но кто на свете, ощутив близость счастья, нашел бы в себе еще силы отказаться от возможности его получить, быв несчастной, как я, в течение всей своей жизни...»

Не знавший о всей этой тревоге Муханов, получивший тогда письмо от В.М. Шаховской, просил мать и сестру «исходатайствовать у кого следует позволение на брак» его с В. М. и добавлял в письме: «Если таким образом совершится семнадцатилетнее общее желание двух наших семейств, благодарность моя к лицам, доставившим нам счастие, будет несказанно велика». Но правительство проявило в этом деле твердость, равную постоянству про­сителей. К тому же оно было сильнее их.

В.М. Шаховская вскоре после этого зачахла и умерла 24 сентября 1836 года в Симферополе, куда она выехала с семьей А.Н. Муравьева, переведенного на службу в Крым. Могучий организм П.А. Муханова помог ему справиться с горем, и он умер 12 февраля 1854 года в Иркутске...

Кроме своего исторического и бытового значения Дневник интересен как ценный комментарий к много­численным доносам Медокса, лежащим в основе его авантюры 30-х годов. Здесь и подкуп слуг в доме А.Н. Муравьева, и вскрытие переплетов книг, которые попадались на глаза Медоксу, когда он оставался один в комнате, и в которых он якобы находил письма декабристов, и «нечаянное» его появление в кабинете городничего, когда его там не ждали, и заглядывание в сумочку В.М. Шаховской, которая иногда оставляла ее на диване, выходя на время из комнаты, и вынюхи­вание, и высматривание, и подслушивание.

ПЕРЕПИСКА МЕЖДУ МЕДОКСОМ И ЖАНДАРМАМИ

Еще весной 1831 года Медокс предлагал начальни­ку III отделения свои услуги и лично, и через барона Шиллинга. Бенкендорф ответил, что принять на служ­бу Медокса пока (июнь 1831 года) преждевременно. Снова провал во всех официальных «делах» о Медоксе и во всех других материалах до весны 1832 года. Только в Дневнике выявляется его существование до октября 1831 года да в сохранившихся в личных бу­магах Медокса нескольких письмах к нему одного из иркутских знакомых, П. Курляндцева, выехавшего в Пекин и в течение 1832 года несколько раз просив­шего передать привет А.Н. Муравьеву. Этими пись­мами устанавливается, таким образом, что связь Ме­докса с домом Муравьева продолжалась до самого назначения Александра Николаевича в июне 1832 го­да тобольским губернатором. И несмотря на отсутст­вие официальных документов, ясно, что таинственные сношения Медокса с жандармским управлением про­исходили и до весны 1832 года. И касаются эти та­инственные сношения Медокса с Бенкендорфом ново­го заговора декабристов.

3 мая 1832 года начальник жандармского ведомства писал иркутскому генерал-губернатору, что «частным образом» до сведения его дошло, «что года полтора тому назад верхнеудинский купец Шевелев, находясь в Пет­ровском заводе, быв обласкан находящимися в оном государственными преступниками и сблизясь с ними, получил от них ящик с тайными письмами; ящик сей хранился потом некоторое время у сосланного в Иркутск и находящегося там рядовым Романа Медокса».

Кто же кроме самого Медокса или бывшего с ним в деловом общении барона Шиллинга, мог «частным образом» в самом начале 1832 года[[7]](#footnote-7) сообщать Бенкендорфу о ящике с письмами декабристов сведения, которые имеются в личном дневнике Медокса за 1831 год? И почему в этих «частных» сведениях упо­минается имя Медокса, которое исчезло из явной и тайной официальной переписки правительственных органов еще с лета 1828 года? Почему начальник III отделения так эпически спокойно отнесся к факту таинственных сношений с опасными государственны­ми преступниками человека, который причинил ро­зыскным органам так много хлопот: а теперь оказался в Иркутске вместо Омска, куда он был назначен непреклонною волею царя?

Таких вопросов можно было бы привести очень много, и все они имели бы одно объяснение: между жандармским управлением и бывшим самозванцем суще­ствовали во всяком случае с 1829 года, таинственные сношения, которые тщательно скрывались до того момента когда Медокс счел удобным открыто выступить качестве разоблачителя нового заговора.

Что касается, в частности, сообщения о письмах декабристов в ящике, хранившемся у Медокса, то в нем имеется подробность, направленная к завуалированию роли Медокса в доме А.Н. Муравьева. В письме Бен­кендорфа к Лавинскому от 3 мая 1832 года говорится, что ящик из Иркутска «отвезен в Москву княгинею Шаховскою, вдовою участвовавшего в заговоре князя Шаховского (Ф.П. Шаховского. - *С.Ш.),* которая за­ключавшиеся в нем письма раздала по принадлежности». Имя княжны В.М. Шаховской было подменено именем заведомо для III отделения никогда не бывшей в Иркутске княгини Н.Д. Шаховской нарочно, чтобы отвести следы от Медокса, так как к моменту поступ­ления в жандармское управление «частных» сведении АН Муравьев жил с семьей еще в Иркутске. Вскоре послеэтого В.М. Шаховская выехала в Тобольск, и ее можно было открыто назвать главной посредницей в переписке сосланных декабристов с их столичными со­общниками по новому заговору.

В своем ответе на письмо Бенкендорфа Лавинский почему-то старается выгородить Медокса из этой истории: «Сосланный в Иркутск и находящийся здесь рядовым Роман Медокс едва ли мог участво­вать в хранении ящика с письмами, ибо не было причины вводить его в столь важную тайну, коль скоро предлежало доставить оный в руки особы, в Иркутске же находившейся, именно Шаховской. Разве не было ли это сделано для отклонения подозрения со стороны самого купца Шевелева, которому может быть вручен ящик в виде какой-либо посылки к Медоксу, дабы обязать его доставить оную, ни в чем не сомневаясь».

И если Медокса генерал-губернатор старается вы­городить из истории по каким-то соображениям дип­ломатического свойства[[8]](#footnote-8) , то В.М. Шаховскую он вы­гораживает по личному расположению к семье Л.Н. Муравьева. Так, в этих видах генерал-губерна­тор пишет: «Подозрение, падающее на Шаховскую, подает мне мысль, не есть ли настоящею виновницей доставки в Москву ящика с письмами находившаяся в услужении у жены государственного преступника Волконского помещица Могилевской губернии, Климовецкого повета, девица Татьяна Андреевна Богуцкая(и про нее доносил Медокс, как видно будет дальше. — *С.Ш.),* находившаяся в июле 1830 года в Чите и Петровском заводе, возвратившаяся в Ир­кутск 3 сентября 1831 года и в начале прошлой зимы отправившаяся при княжне Шаховской в Москву[[9]](#footnote-9). Она удобно могла принять и доставить письма в чьи-либо руки, так что, может быть, Шаховская новее о том и не знала».

К этой записке А.С. Лавинский приложил следую­щее письмо к нему Медокса

ПИСЬМО МЕДОКСА К ЛАВИНСКОМУ

*На сделанный мне вопрос сим честь имею отвечать, что я никогда не получал ни от верхнеудинского купца Шевелева и ни от кого другого ничего, пересылавшегося из Петровского завода, с которым совершенно нет и не было у меня никаких сношений. Предположение о подо­бной пересылке через меня верно для всякого хорошо знающего здешние местные обстоятельства не может иметь ни малейшего правдоподобия, ибо Шевелев здесь, в Иркутске, в месте моего безотлучного жительства, имеет ближайших родственников, с которыми живет в совершеннейшем согласии и которые гостят у него по нескольку раз в год; сам же он приезжает в Иркутск лишь на немногие дни однажды, зимою, во время торгов на подряды, так что я его видел два или три раза* — *отнюдь не более, и во всей справедливости могу сказать, что мы едва знакомы. Возможно ли же в деле, весьма опасном и требующем полной доверенности, употребить вовсе чужого, тогда как есть друзья-родные.*

Это писано 23 августа, а 3 сентября Медокс сообщал самому Бенкендорфу, как он заявлял впоследствии «в частном письме» следующее по поводу отрицания перед генерал-губернатором своих сношений с декабристами и хранения ящика с письмами.

ПИСЬМО МЕДОКСА К БЕНКЕНДОРФУ

*По сделанному мне вопросу о сношениях государствен­ных преступников Петровского завода я средь сильной борьбы чувств при всевозможном отвращении от доносов наконец вынужден священнейшим долгом писать к ва­шему высокопревосходительству как для открытия тай­ны, могущей иметь чрезвычайные последствия, так и для совершенного отклонения от себя подозрений в деле, которое, мне кажется, гнусно паче всякого доноса,* — *гнусно тем более, что после четырнадцатилетнего ужас­ного заточения в Шлиссельбурге, освобожденный милосер­дием государя, обязан его величеству жизнью.*

*Смотря в бумаги, можно счесть меня негодяем за отлучку из Вятки, куда по выпуске из крепости я был послан на жительство; но рассудите, ради бога рассуди­те, что это поступок человека, одичалого в многолетнем безвыходном затворе и свободе обрадовавшегося подобно*

58

*четвероногим, с привязи сорвавшимся. Теперь я вовсе иной; благоволите спросить мое нынешнее начальство или, что еще ближе, недавно бывших в Иркутске, а теперь находящихся в С.-Петербурге барона Шиллинга фон Канштадта, губернского секретаря Соломирского, флигель-адъютанта Гогеля и жандармского полковника Келъчевского, из коих двое первых знают меня весьма подробно.*

*Охотно сделал бы я сей лист несомненным доказа­тельством моего жарчайшего усердия к престолу, к благу общему: указал бы пути сношений с Петровским заводом, сношений, заключающих в себе не одни письма, а и книги переводов и сочинений, но, к сожалению, рассудок не дозволяет сделать того по многим причинам... Впрочем, можно принять за аксиому то, что по сему предмету всякое письменное изложение послужило бы лишь к бес­полезному открытию семейственных переписок, а весьма важному непременно повредило бы; что в Иркутске ни­как невозможно постигнуть тайны, глубоко кроющиеся в Москве, ибо содействующие сношениям, без малейшего понятия о худых замыслах, делают все через десятые руки, одни по обманутому человеколюбию, другие из ко­рыстолюбия; что разведывания в Иркутске служат лишь к умножению осторожности и затруднению важ­ного открытия; что для сего открытия нужно предуготовление и, вместо того чтобы, препятствовать сноше­нию, содействовать оному чрез кого-нибудь из имеющих доверенность меж посредниками сих сношений, ибо сей раз, после бывшего опыта, не хотят льститься надеждою прощения за признание, и потому все открыть можно не иначе как читая тайные сношения.*

*Из сказанного не должно заключать, что я принадле­жу к числу посредников. Поистине, нимало не содейст­вую, но скажу искренно, в последнее время моего заклю­чения (1826 и 1827 годы) я невольно познакомился со многими государственным преступниками, особенно с Юшневским, Пущиным и Н. Бестужевым в Шлиссель­бурге, с Фонвизиным (М А. Фонвизиным.* — *С.Ш.) и На­рышкиным (М.М. Нарышкиным.* — *С.Ш.) в Петербурге; с тех пор при всяком случае мы взаимно пересылаемся поклонами, чрез что самое и познакомился я с посредни­ками сношений петровских арестантов. К тому же мое имя соделалось известным четырнадцатилетним том­лением в крепости, которое, смею похвалиться, перенесено в нежной юности с отличною крепостью духа, тогда как мои соседи, флигель-адъютант Бок, корнет Раевский [[10]](#footnote-10) и поручик Калинин, сошли с ума в гораздо меньшее время. Меня считают естественным врагом власти, а я, на­против, чувствую себя виновным, обязан за освобождение беспредельнейшею благодарностью, о которой судить мо­жет лишь тот, кто, подобно мне, быв долго узником в сыром и темном углу, вдруг велением царя очутился под светлым сводом неба средь роскошной природы!*

*На вопрос, сделанный мне в главном управлении Вос­точной Сибири, я отвечал как должно по здешним об­стоятельствам, о которых, так же как и о прочем, могу донести лишь изустно государю императору или вашему высокопревосходительству, отчасти потому, что, вни­мая гласу своей совести, должен совершить не иначе как при совершенном уверении, что не погублю незаслуживающих погибели.*

*Зная вашу близость и несомненную преданность к Его Величеству, я уже давно колеблюсь мыслью писать к вам,*. *но, признаюсь, всегда удерживался наиболее ненавистью к доносам и страхом казаться подло ищущим личных польз в деле столь прискорбном, сопряженном с падением многих. Теперь, будучи спрашиваем, удобнее объясниться. Истинно алчущий счастьем жить полезным и честно пребыть навсегда со всеглубочайшим почтением...*

*Роман Медокс.*

К этому письму приложен написанный Медоксом листок без подписи с наставлением шефу жандармов, как можно устроить поездку Медокса в Петербург для раскрытия заговора. Ибо кто же больше Медокса имеет «доверенность» среди заговорщиков? Кто еще может одновременно разыгрывать роль влюбленного и в неве­сту декабриста (Муханова), и в жену декабриста (Юшневского), кто еще имеет возможность и умеет вскры­вать переплеты книг, пересылаемых декабристам? Вот как поучает ссыльный солдат могущественного царско­го генерал-адъютанта.

ПОУЧЕНИЕ МЕДОКСА БЕНКЕНДОРФУ

*Если благополучно будет послать за мною, то по свойству дела нужно, чтоб посланный взял и вез меня хотя по наружности не как арестанта, особенно в Сибири, где на пустом тракте все весьма известно. В Москве я желал бы иметь позволение заехать домой только за деньгами. Там посланный мог бы, кстати, удостовериться, сколь ложны имеющиеся при деле справ­ки обо мне, которые я знаю по циркуляру о сыске меня и в коих показано, будто покойный отец мой* — *англий­ский жид, мать живет в Кашире, сестра замужем за поручиком Степановым и проч. Нет ни слова правды!.. Отец мой так прозван актерами, ибо достоинства везде возбуждают зависть. Он основатель московского теат­ра, коим управлял более 25 лет, столь известен всем старожилам московским, что нет надобности распро­страняться об нем. Мать моя была уже покойною во время помянутого циркуляра; в Кашире никогда не жила, а лишь имела в Каширском уезде имение, сельцо Притыкино, в коем теперь живет брат мой Павел, отставной корнет. Старший брат Василий недавно умер в Варшаве от холеры, быв подполковником и чиновником по особым поручениям пpu фельдмаршале графе Паскевиче князе Ериванском [[11]](#footnote-11)*. *Сестер у меня пять: Елена* — *замужем за надворным советником Степановым, который никогда не служил в военной службе[[12]](#footnote-12), он помещик Нижненов­городской губернии, имеет около 600 душ, живет в Мо­скве, в собственном доме прихода Николы Дербенского; Анна* — *девица; Мария* — *за штабс-капитаном Гаевским, имеющим в Курской губернии 1500 душ, но живу­щим в Москве; Катерина* — *за коллежским ассесором Замятниным; София* — *вдова надворного советника Иванова, жившего в своем сельце Сорокине, Тульской губернии, Каширского уезда.*

Теперь Медокс развил деятельную переписку с ше­фом жандармов. Вслед за приведенными двумя пись­мами следует его письмо от 23 сентября. Здесь авантюра с заговором получает дальнейшее развитие, и попутно дается отрицательная характеристика других агентов по наблюдению за сношениями А.Н. Муравьева с со­сланными декабристами.

ПИСЬМО МЕДОКСА К БЕНКЕНДОРФУ

*По внезапному притеснению под самым нелепейшим предлогом я, думая, что мною посланное к вам письмо сего месяца 3-го дня и при сем в копии прилагаемое может быть перехвачено, нашел нужным объясниться капитану Алексееву и не ошибся в выборе.*

*Надеюсь, что не буду обвинен за полуторалетнее мол­чание, о котором, чтоб судить, необходимо знать здешние обстоятельства подробно. В Иркутске нет ни одного человека, к пособию коего мог бы я безошибочно прибег­нуть даже в одной отдаче значительного письма на почту. Проезжающие также не соответствовали пред­мету. Барон Шиллинг фон Канштадт долее других ос­танавливал меня; имев удовольствие почти каждый день обедать или ужинать с ним вместе, я тщательно на­блюдал его и наконец убедился, что он стал бы искать подтверждений в доме А.Н. Муравьева, где мгновенно догадались бы по самым первым приемам; ибо, зная, что он член секретной полиции, разлагали каждое слово, каждый взгляд.*

*Бывший при нем губернский секретарь Соломирский, ныне камер-юнкер, не иное что, как любезный шалун. Флигель-адъютант Гогель приезжал лишь на несколько дней. Жандармский полковник Кельчевский, живучи в Иркутске, жил, смею сказать, на охоте, с певчими, с шампанским.*

*При сем удобном случае я, вопреки своим предположе­ниям, сообщил господину Алексееву, что могу, что нужно, словесно и письменно; ибо надобно весьма спешить, чтоб не пропустить благоприятнейших обстоятельств к захвачению в свои руки сношений: которые, даже и семейственные, мимо начальства, теперь на время пресечены, во-первых, по розыскам о каком-то ящике, будто в Москву привезенном княжною Катериною Шаховскою, во-вто­рых, по отъезду княжны Варвары Шаховской из Иркут­ска в Тобольск с переведенным туда А.Н. Муравьевым. Надеюсь не погребстись в Сибири бесполезным, надеюсь достигнуть чести вторить, что есмь навсегда...*

*Роман Медокс.*

Наш враг доносов не дремал. Он действовал одновре­менно с разных сторон. И сам писал Бенкендорфу, и его агентам сообщал, что считал нужным. Приведу из письма жандармского полковника Ф. Кельчевского к Бенкендорфу те подробности, которые сообщил капита­ну Алексееву сам Медокс и которые он опустил в своем письме к начальнику III отделения: «На третий день после выезда княжны Варвары Шаховской из Иркутска в Тобольск явился к капитану Алексееву известный Медокс, рядовой, и заявил, что он твердо решился открыть[[13]](#footnote-13) ту переписку, которой отчасти и он был пе­реводителем; что он наверное все расскажет и желает первым открыть сие обстоятельство, о котором, быв уже спрошен генерал-губернатором, сделал запирательство, думая, что истинное сознание его не осталось бы скры­тым в Иркутске... Много кажется невероятным... По собранным нами в Иркутске сведениям, Медокс пове­дения хорошего, но в характере его есть что-то странное, и имеет пылкие воображения, что доказывает и прила­гаемая при сем собственноручная его записка, поданная им мне 12 мая».

Любопытен эпизод, попутно сообщаемый Кельчевским в приводимом здесь письме и совершенно не име­ющий отношения к нашей истории. Но этот эпизод очень интересен для характеристики Николая Первого, который не меньше тени живых декабристов боялся тени своего незадолго до того умершего брата, с которым они оба так великодушно перебрасывались в ноябре— декабре 1825 года всероссийским престолом.

Кельчевский писал Бенкендорфу из Екатеринбурга, где он считал нужным «остаться несколько дней для узнания, какие производятся толки насчет слухов о появлении в Пермской губернии покойного цесаревича, ибо, как говорят, были два случая с двумя отставными солдатами, встретившимися в разных местах с каким-то человеком, который сказывал, что цесаревич жив, но беден и велел отставным солдатам сообщаться для об­мундирования в Вятку, а другому солдату говорил в Симбирске, и одному из них дал рубль серебром».

Шатался еще в 1832 году трон под Николаем Пав­ловичем, и для опоры ему годился даже Медокс.

А вот и самый донос, переданный Медоксом Кельчевскому 12 мая 1832 года. Он очень ярок и очень любопытен.

ДОНОС О НОВОМ ЗАГОВОРЕ

*Несправедливо полагаю, что княжна Катерина Ша­ховская привезла в Москву письма и посылки из Петров­ского завода, привезла же оные ехавшая с ней вместе Татьяна Андреевна Богуцкая, жившая восемь месяцев в заводе у Волконской (М.Н. Волконской.* — *С.Ш.); Ша­ховская же ничего об этом не знала.*

*Главная комиссионерка, пользующаяся совершенным доверием находящихся в Петровском заводе, есть княж­на Варвара Шаховская [[14]](#footnote-14), а как находящийся в Иркутске разжалованный в солдаты Медокс, пользующийся тоже доверенностию преступников, находиться с нею в тесной связи, по сим причинам он совершенно знает всю перепи­ску и употребляемые средства к отправлению оной. Пись­ма присылают в переплетах книг; в одной из таковых книг нашел Медокс письмо полтора года тому назад к Юшневскому, а от кого* — *неизвестно. Вот что он из оного упомнить может: что Орлов[[15]](#footnote-15) , хотя и состарился, но все еще может быть полезен; что из Москвы не думают переводить своих действий. Проект получили с его поправками, но чтобы вновь переделанный выслал бы скорее, и еще следующее: повторяем еще и еще, чтобы вы не опасались, что обнаружится нашим признанием, ибо из бывшего опыта не можем льститься за то прощения Главными в Москве действующими лицами* — *вдова Муравьева (Е.Ф. Муравьева.* — *С.Ш.), у которой в Пет­ровском два сына, которым она присылает в год 45 ты­сяч, и сестра Муханова, Елисавета, за князем Валенти­ном Шаховским. Последний ящик получен был из Пет­ровского после отъезда Варвары Шаховской в Тобольск и отправлен к ней губернатором с Фуссом (астроном.* — *С.Ш.). Верхнеудинский купец Шевелев получает чрез сво­его приказчика, торгующего в Петровском мясом, письма, пересылает оные к Медоксу, а тот передает Шаховской, которая отправляет их разными средствами в Москву. Иркутский купец Белоголовый[[16]](#footnote-16) возил в Москву для по­правки восемь часов и с оными письма, а также и купец Портнов с мехами перевозил оные, да и многие другие, которых имен Медокс не упомнит.*

*Купец Мичурин, который торговал в заводе (Петров­ском.* — *С.Ш.), прежде перевозил письма, получая за сие деньги. За одно письмо взял он с Никиты Муравьева 1000 рублей. Но с тех пор как узнали, что за ним при­мечают, перестали ему доверять.*

*С год тому назад сам Медокс наклеил на картон картинку, вложив туда несколько писем из завЬда; Ша­ховская отправила картину сию в Москву к Муравьевой.*

*Кончивший срок в заводе государственный преступник Таптиков[[17]](#footnote-17) , проезжая на поселение через Иркутск, при­вез Медоксу бурак и зеркало из папье-маше, наложенные внутри письмами, которые он передал Шаховской, и ею отправлены.*

*Два года тому назад как преступник Дружинин[[18]](#footnote-18) , также окончивший срок, привез пустой ящик, по разби­тии коего нашли в нем между двумя днами множество писем; также он привез для отсылки девице Анне Ива­новне Пущиной (сестра декабриста.* — *С.Ш.), дочери адмирала, одну писаную книгу от ее брата и от Муханова сестре его Шаховской, которые, быв переданы Медоксом Варваре Шаховской, отосланы по назначению.*

*Из писем ясно видно, что в Одессе есть несколько членов, которых в письмах называют братьями и озна­чают новыми значками, неизвестными Медоксу.*

*Еще употребляется для пересылки, получая за то плату, городовая бабка Авдотья Петровна.*

*Юшневская (жена декабриста.* — *С.Ш.), проезжая в Петровский завод, привезла и отдала губернатору Цей-длеру от Муравьевой две тысячи рублей и от других разные подарки, как-то: перстни и прочее, находящиеся в сафьяновых ящиках, а в завод повезла ломбардные билеты на неизвестного для подарков плац-майору и плац-адъютантам. Все сие утверждает Медокс, что со­вершенно знает и видел, будучи во все время нахождения Юшневской в Иркутске с нею в интриге. В проезд свой чрез Иркутск жена Никиты Муравьева подарила губер­натору золотую табакерку в 600 рублей. Также привезла ему много подарков от разных лиц проехавшая четыре месяца тому назад в завод к Волконской девка Аксиния Абрамова; сия последняя повезла туда множество посы­лок и писем. Губернатор ей дал знать за четыре дня, что ее будут осматривать, и все было спрятано у Меокса. Сие самое делал он и с Юшневской и с прочими, ехавшими в завод. Губернатор не рассматривает присы­лаемых из Петровского ящиков, а отправляет по назна­чению* — *или Шаховской, или бабке.*

*Графиня Орлова[[19]](#footnote-19) передает много денег Муравьевой, которая пересылает оные в книжных переплетах в завод. Также и графиня Воронцова[[20]](#footnote-20) пересылает через Муравь­еву туда деньги.*

*В одном из писем Юшневского написано, чтобы ста­рались привлечь графа Шереметева[[21]](#footnote-21) , хотя у него теперь наличных денег нету и он дурак, но он имеет средства их достать и быть тем полезен, а что его легко согласить войти в общество, ибо он не любит государя. Из завода пересылается множество ругательных стихов на государя и государыню, а Юшневская писала к Медоксу, что теперь принимаются самые верные меры и что не только недолго государю царствовать, но даже и жить всей царской фамилии. Находящийся ныне при Костромском губернаторе чиновником особых поручений губернский секретарь Турчанинов, быв тем же при Ир­кутском губернаторе, был одним из главных посредников сношений и нарочно ездил в Москву с перепиской. Он управлял в Иркутске секретною частию. В его управле­нии в Петровском получались многие иностранные жур­налы и газеты, воспрещенные в России. Ныне они прохо­дят под видом оберток при посылках. Из всей переписки ясно видно, что основано новое общество для ниспровер­жения правительства, которое находится в связи с пре­ступниками и действует вместе. Главный круг их дей­ствий в Москве, но многие члены находятся в Петер­бурге, Одессе и других местах.*

*Юшневскому присланы все конституции, какие толь­ко где существует, и от него требуется составление новой. Он в величайшем уважении как в заводе, так и у новых членов, и он распоряжается их действиями.*

*В заводе до такой степени свободно пишут, что два брата Беляевы оканчивают, а может быть уже и окон­чили, перевод огромного сочинения Гиббона «О возвыше­нии и упадке Римской Империи».*

*В своих письмах государственные преступники весьма часто велят кланяться и благодарить графиню Орлову, а также кланяются какому-то Щербинину[[22]](#footnote-22), который, как полагать должно, есть один из новых членов.*

Важно отметить, что донос этот дошел до нас не в собственноручной записке Медокса, приложенной к письму Кельчевского на имя Бенкендорфа от 17 ноября 1832 года, а в писарской копии и как составная часть одного из многочисленных «всеподданнейших» докла­дов III отделения. И это может служить доказательством существования в свое время сверхтайного «дела» о но­вом заговоре, либо еще не обнаруженного в дошедших до нас собраниях документов, либо в свое время унич­тоженного.

ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ

Долбил Медокс раз, долбил два, своего добился. Со­брались царские генералы, лучшие слуги его, начальник главного штаба граф А.И. Чернышев, шеф жандармов граф А.Х. Бенкендорф, и выработали для Николая Пав­ловича следующий доклад: «Рассмотрев по высочайшему Вашего Императорского Величества повелению со всею внимательностью показание, в представляемой у сего записке изложенное, разжалованного в рядовые Романа Медокса о существующей тайной переписке между содер­жащимися в Петровском заводе государственными пре­ступниками и членами составившегося будто бы в обеих столицах и городе Одессе нового общества, имеющего целию ниспровержение правительства, мы находим, что хотя и нельзя дать полной веры показанию Медокса, как человека весьма неблагонадежного, но, однако ж, по важности предмета, не может оный быть оставлен без внимания, тем более что предшествовавшие показанию Медокса сведения открыли уже, что тайная переписка государственных преступников с их родственниками дей­ствительно существовала, хоть, впрочем, сведения сии не обнаружили, чтоб переписка сия имела целию какие-либо преступные замыслы.

В сем уважении мы считаем необходимым, чтобы немедленно приняты были меры к обеспечению прави­тельства в том, что распоряжения его относительно государственных преступников в точности исполняют­ся, и вместе с тем употребить меры секретные к даль­нейшему раскрытию тайной переписки и цели оной.

 Для достижения сего мы полагаем, не приступая теперьни к какому гласному исследованию по показа­ниям рядового Медокса, учинить следующее:

1-е. Иркутского гражданского губернатора Цейдлера, на которого падает подозрение в неуместном снисхож­дении к государственным преступникам и даже в не­котором, хотя, вероятно, и неумышленном содействии к их тайной переписке, перевести из Иркутской губер­нии в другую какую-либо, заместив его чиновником известным и благонадежным.

2-е. Плац-майора Петровского завода Лепарского, сменив, определить на его место благонадежного штаб-офицера.

3-е. Не обнаруживая здесь распоряжений посредством указа Сенату о губернаторе и высочайшего приказа о плац-майоре, обоих их отправить отсюда совершенно без­гласно, дабы весть о назначении их не могла достигнуть в Иркутск и Петровский завод прежде их туда приезда и дабы не могли там быть приняты какие-либо меры предосторожности к сокрытию того, что внезапный приезд губернатора и плац-майора может обнаружить.

4-е. Под предлогом командировки для осмотра войск в Сибири Тобольской комиссии послать одного из от­личнейших офицеров, на которого возложить обязан­ность по приезде в Иркутск стараться через рядового Медокса достигнуть полного обнаружения тайной пере­писки и иметь в то же время за всеми действиями Медокса неослабное наблюдение.

5-е. При отправлении отсюда губернатора и плац-майора вручить им предписание к их предместникам, чтобы сии по прибытии их преемников, нимало не медля, отправились к новым своим назначениям, какие им определены будут.

6-е. Как из показаний рядового Медокса оказывает­ся, что княжна Варвара Шаховская, находящаяся ныне в Тобольске, есть главная участница, через которую пересылается переписка государственных преступни­ков, и как сия Шаховская есть родная сестра жены председателя Тобольского губернского правления Му­равьева, исправляющего ныне должность тамошнего гражданского губернатора, на которого, следовательно, не может быть возложено иметь за нею надзор, то ускорить назначением в Тобольск гражданского губер­натора, которому и поручить бдительное за княжною Шаховскою наблюдение.



Благонадежный офицер нашелся в лице адъютанта Чернышева ротмистра Вохина, который немедленно от­правился в Сибирь.

Но еще раньше, чем Вохин прибыл в Сибирь, А.С. Лавинский заволновался. Он понял, что Медокс может напакостить ему самому, и хоть не верил изветам ссыль­ного солдата, но свои меры принял, чтобы показать высшей власти, что и он не спит. Вот его письмо к Бенкендорфу от 17 декабря 1832 года.

*Вашему сиятельству известно уже о предъявлении, сделанном в Иркутске рядовым Романом Медоксом кор­пуса жандармов капитану Алексееву, который сообщил оное мне.*

*В ожидании по сему предмету вашего распоряжения, желая еще более удостовериться в истине слов Медокса, я, по вызову его, дал ему денежное пособие на отправление секретным образом нарочного в Петровский завод с пись­мом к Юшневскому, в котором Медокс изъявил нарочито желание свое поступить в члены составляющегося заго­вора.*

*Ныне доставлен ко мне Медоксом ответ Юшневского, у сего в подлиннике представляемый, который доказы­вает уже явно, что злоумышление существует и что необходимо принятие деятельных, но самых секретных мер. ибо участвующие в оном, по словам Медокса и по всей вероятности, до такой степени осторожны, что* ***при*** *малейшем обнаружении какого-либо движения к открытию их сношений непременно истребят все свои бумаги**и скроют всякие к тому следы. Уведомляя о сем, прилагаю пояснительную записку на письмо Юшневского, составленную по моему требованию Медоксом.*

А вот и самая записка Медокса, поданная им Лавинскому 13 декабря 1832 года и выясняющая его прово­каторскую затею.

ЗАПИСКА МЕДОКСА ЛАВИНСКОМУ

*Господин жандармский капитан Алексеев просил меня послать нарочного в Петровский завод. При содействии генерал-губернатора, давшего мне на сей предмет 250 руб­лей, я отправил 13 октября верхнеудииского мещанина Илью Филиппова, жившего в заводе работником при лавке купца Шевелева и в мае сего года доставившего мне посылку на имя княжны Варвары Шаховской. Он скрытно остано­вился у Плавина, каторжного рабочего, и без затруднения виделся с А.П. Юшневским. Известно, что все женатые ходят в свои дома, к женам, и даже подолгу живут дома.*

*Письмом извещая Юшневского о своих надеждах скоро возвратиться в Россию, я просил его сделать меня членом ихнего союза, говоря, что нахожу более чести быть по­ставленным в сие звание от него в остроге, нежели от кого-либо инде. Также просил его о рекомендательных письмах и предлагал свои посреднические услуги. При сем прилагается ответ, сего дня полученный. Я не знаю всех знаков оного, вот объяснение известных мне.*



*Митридат»* — *заглавие предполагаемого француз­ского журнала за границей, подразумевает противоядное лекарство от журналов в пользу правительств. Под конец прошлого года пересылалась из Москвы длинная программа, прекрасиейше написанная будто Жан-Жаком.*

К записке приложено письмо Нестора, то есть А.П. Юшневского.

ПОДЛОЖНОЕ ПИСЬМО ЮШНЕВСКОГО

*[Медоксу] Нестор [Юшневский]. В полной надежде, что, воспоминая, как мы взаимно друг для друга состав­ляли целый мир, вы не можете сомневаться не только в моем совершеннейшем доверии к вам, но и самой сер­дечной привязанности, я объясняюсь без обиняков и скажу просто, что ваше письмо, столь же странное, как и любезное, привело меня в весьма затруднительное поло­жение.*

*Будучи[?], я не могу приобщить вас [Союзу Великого Дела], ниже вступить с вами в малейшие сношения без воли [Думы], о существовании которой можно созна­ваться лишь пред [членом 4-й степени]. [Основные за­поведи] чрезвычайно строги. По всем другим рассужде­ниям нет ни малейшей причины таиться от вас, тем более что вам уже известно столь многое. Если б вы уведомили, каким образом вам известно, то, может быть, мы могли бы исполнить ваше похвальное желание, здесь единогласно всеми принятое. К сожалению, мы связаны; при всевозможной внятности и точности определений исключения не допущаются. Впрочем, тут теряет лишь дело, а вы совершенно ничего. Будьте уверены, что вы весьма известны и что вовсе не имеется надобности в рекомендациях. При первом появлении найдете сильней­шее покровительство. Начните с [Е.Ф. Муравьевой].*

*Из вашего письма видно, что излишне было бы делать вам наставление касательно наших обстоятельств... Пожалуйста, поспешите сказать, что мы мучимся без побочных известий. Вы непременно встретитесь с [?]: постарайтесь сблизиться с ним; человек редких досто­инств и случаен. Скажите ему, что у нас изготовлено много хорошего для его «Митридата».*

*Мы все очень обрадовались вашим надеждам освобо­диться, и все просим принять наши искреннейшие засвидетельствования почтения. Я за себя целую вас и прошу не забывать при лучших временах душевно вас любящего.*

*В огонь. Прошу ничего не доверять моему меньшему брату. Один из ваших друзей просит вас познакомиться с его сестрою А.И.[[23]](#footnote-23) в [Петербурге], которую известит о*  ***вас.*** *Он и многие другие желали бы приложить к сему* ***письма*** *к их родным, но боимся ввериться посланному ли незнакомцу. Пожалуйста, будьте осторожны. В [Москве] [?], а в [Петербурге] [Шипов][[24]](#footnote-24) , наверное, сделают все возможное для вас. При первом случае на­пишу обоим. Простите.*

К этому письму приложен транспарант, якобы пере­менный Медоксом и служащий для тайной переписки декабристов, а также список условных знаков, и якобы употребляемых заговорщиками в этой переписке. 20 января 1833 года письма Юшневского и Лавинского и другие документы по делу были представлены Николаю Первому при следующем докладе ближайшего помощника А.Х. Бенкендорфа по III отделению Л.Н. Мордвинова: «Сейчас полученное от генерал-гу­бернатора Лавинского отношение по предмету сущест­вующего злоумышления между государственными пре­ступниками, в Петровском заводе находящимися, дол­гом поставляю представить при сем Вашему Импера­торскому Величеству. Обнаружение замыслов и связей людей сих поручено, по воле Вашего Величества, адъ­ютанту господина военного министра гвардии ротмист­ру Вохину, который в исходе декабря месяца и отпра­вился в Сибирь».

Кажется, что может быть нелепее этой детской вы­думки, что может быть наивнее заявления Медокса, что он на данные ему генерал-губернатором деньги послал от себя человека в Петровский завод с письмом, которого никто не видел, о вручении которого адресату никто не знал, и получил от Юшневского письмо о существова­нии нового заговора. На Николаю так хотелось верить в заговор, оправдывавший его постоянный страх перед декабристами, что он даже не задумался над всеми нелепостями, нагроможденными Медоксом в этих пись­мах. Царь сделал на докладе Мордвинова следующую пометку карандашом, свидетельствующую об его вол­нении при известии о новом заговоре: «Вот полное доказательство досель подозреваемого обстоятельства в Чите становиться весьма важно, и нельзя терять вре­мени. Завтра переговорим».

Под этой надписью, рядом с докладом Мордвинова, слева, карандашная надпись графа А.И. Чернышева: «Я имел счастие объясниться по сему делу с Его Вели­чеством. 21 генваря».

Итак, существование нового заговора стало ясным. Было от чего всполошиться и царю, и его министрам. К счастью, еще до получения этого «полного доказа­тельства» адъютант военного министра Вохин выехал в Иркутск, куда прибыл в марте 1833 года. При отъезде из Петербурга он получил соответственные полномочия и указания министров, на основании которых составил сам для себя план действий, представленный всем за­интересованным в деле сановникам. Любопытен этот стратегический план борьбы с врагами престола, состав­ленный по всем правилам провокационного искусства, хотя автор и оговаривается, что не знает кое-чего в этой области.

*Из всех полученных мною сведений, я полагаю, что главная цель правительства состоит не только в прервании переписки государственных преступников, до чего легко достигнуть можно, сколько в открытии нового тайного общества, если таковое существует, обнаружив лица и злодейские замыслы их. Почему я и заключаю, что, не подавая ни малейшего вида, я к сей цели должен направить и стремить все мои действия.*

*От капитана Алексеева я узнал, что он имеет письмо от Медокса к его родной сестре, живущей в Москве (Елене Михайловне Степановой.* — *С.Ш.), так как капитан Алексеев не проезжал Москву, то письмо сие находится у него,* — *я могу лично доставить оное к сестре Медокса, которая, узнав, что я еду в Сибирь, без сомнения, просить будет о доставлении письма к брату ее; при прибытии в Иркутск я отдам оное бригадному командиру генерал-майору Адамовичу и скажу, что я знаком со всеми род­ными Медокса, почему желаю его видеть и показать ему внимание. Сим средством отклоню я подозрение насчет отношения моего к Медоксу. По тому же знакомству моему и под предлогом занятий для письма, не вдруг, но через несколько дней выпрошу у генерал-майора Адамови­ча прислать Медокса ко мне в канцелярию; имея его у себя за писаря, могу его видеть, когда пожелаю.*

*Осмотрев в Иркутске все, что поручено будет, смотря по обстоятельствам, я отправлюсь в Верхнеудинск, Кях­ту, Петровский завод и прочие места для осмотра во­инских команд, взяв с собою Медокса как писаря.*

*По прибытии в Петровский завод под каким-либо предлогом я останусь там несколько дней, и если дейст­вительно показания Медокса справедливы, что он имеет доверие от государственных преступников и в той мере, как он же объявляет, то для него весьма легко будет достать письма от государственных преступников через их жен и узнать большее.*

*По снятии копий с сих писем, что бы в оных ни заключалось, Медокс должен тайно переслать оные к злоумышленникам, ибо сим единственно утвердиться доверие преступников к Медоксу и через то возможно будет достигнуть цели. Дабы при сем случае Медокс не мог сам составить подложных писем, мне не лишнее знать почерк тех государственных преступников, кои в заводе, чтобы я мог сличить оный и тем поверить Ме­доксу. Способ же, как подпечатывают письма, мне вовсе неизвестен.*

*Капитан Алексеев сказал мне, что Волконский (С.Г. Волконский.* — *С.Ш.) в тесных связях с плац-майором. Петровского завода, который по родству с комендантом[[25]](#footnote-25) , а более еще по особому на него влиянию действует там как главное лицо, почему должно полагать, что от плац-майора есть снисхождение и послабление при отправлении посылок и при осмотре преступников, окончивших сроки в заводе, и при других случаях государственные преступники, нижется, пользуются сими послаблениями. По мнению моему, на некоторое время должно послабить сие действие, оставив плац-майора в том же положении. Государственные преступники, имея, так сказать, его каналом к тайному**отправлению своих писем (чего он, может быть, а не знает), не будут иметь надобности отыскивать нового канала, который во всяком случае как новый , способ*— *труден; ухищрение же их найдет средство, а питому сие обстоятельство поставит правительство в новое затруднение, которое только случайностью может быть открыто, а не розысками.*

*Медокс может сказать государственным преступни­кам через жен их, что он чрез бывших в Иркутске жандармов просил государя о прощении его, что он успел во всех лицах и генерал-губернаторе столько, что хода­тайствуют за него, и что, получив прощение и свободу выехать из Сибири, он готов служить тайному обществу более еще, нежели теперь. Условное прощение Медокса весьма полезно, если он действительно убедит, что ему вверяются тайно письма, чем докажет связь его с госу­дарственными преступниками и новыми скрывающими­ся; и в таком случае Медоксу предоставить право сво­бодно возвратиться, дабы он мог заехать в Тобольск для свидания с Варварою Шаховскою. Если нужно, может и ее уговорить ехать в Москву. Хотя бы и запрещено было Медоксу жить в столицах, но если ему дозволено будет на некоторое время побывать у его родных в Москве, то протекция тайной советницы Муравьевой (мать декабристов.* — *С.Ш.) под разными благовидными предлогами удержит его в опой или, поселясь в окрестностях, доста­вит ему способ бывать в Москве. Допустив сие, Медокс может войти в новое общество, если оное существует, и сим средством он открывать может новых членов и злодейские замыслы. Не доверяя Медоксу, конечно, во всяком случае он будет в строгом взгляде правительства.*

*Предположив, что государственные преступники по сие время столь ужасно сохраняют преступные их замыслы, в таковом случае при всем милосердии великодушного мо­нарха они, не чувствуя сего, найдут средства не через одного Медокса, а и другие к тайной пересылке писем.*

*При таковых ужасных чувствах условное, так ска­зать, прощение Медокса и дозволение быть па родине может более заверить правительство в его верности, и чрез то можно надеяться на открытие.*

Высказав предположение о возможности составления Медоксом подложных писем от имени декабристов, Вохин был на правильном пути, но он не мог не считаться с уверенностью представителей высшей власти в суще­ствовании заговора. Идя навстречу стремлениям на­чальства, Вохин и выработал план провокации, которым Медокс воспользовался, чтобы еще раз обмануть то же начальство.

При отъезде Вохина их Петербурга он получил от Бенкендорфа письма к генерал-губернаторам Восточной и Западной Сибири. А.С. Лавинскому и И.А. Вельями­нову с предложением оказывать ротмистру содействие, причем в словесной инструкции Вохину было приказано нигде не упоминать имя Бенкендорфа, чтобы скрыть связь его поездки с делами, относящимися к ведению III отделения.

Кроме того, Вохину было дано для Медокса письмо Бенкендорфа, вскрывающего тайную связь начальника жандармского ведомства с беглым мошенником.

ПИСЬМО БЕНКЕНДОРФА МЕДОКСУ

*Одно лишь средство предстоит ныне Медоксу заслу­жить за преступление его монаршее прощение. Он может надеяться на таковое, буде вполне обнаружит и докажет справедливость извета своего. По сему генерал-адъютант граф Бенкендорф сим объявляет Медоксу, чтобы он рас­крыл Вохину все подробности производимой государст­венными преступниками тайной переписки и употребил бы все старания к доставлению ему самых подлинных писем государственных преступников для обнаружения с достоверностью, кто именно те лица, с которыми переписка сия ведется и в чем состоят преступные их замыслы. Граф Бенкендорф надеется, что Медокс, по долгу присяги своей и раскаявшись в своем заблуждении, употребит в сем случае все свое усердие, повторив притом ему, что одно сие средство может избавить его от строгого, заслуженного им наказания и что, оказав ус­лугу правительству, он может надеяться на монаршую милость.*

Таким образом, Медоксу прямо предлагалась милость царя за обнаружение заговора, испытанному подделы­вателю документов заявляли, что его выдумка будет принята на веру, если он подведет под нее соответству­ющий фундамент, наконец, ему показывали, насколько правительство заинтересовано во всей этой истории.

МЕДОКС СПАСАЕТ ОТЕЧЕСТВО

По приезде в Иркутск Вохин познакомился с Медок-сом и вскоре получил от него записку о новом заговоре среди декабристов. Это большой, умело написанный провокационный донос, в котором подробно развиты все прежние сообщения Медокса Бенкендорфу и кото­рый еще более убедил правительство Николая Первого и самого царя, насколько опасны оставленные в живых его «друзья 14 декабря». Сохранилось два начисто пе­реписанных Медоксом экземпляра этой записки, один из которых, представленный царю, имеет целый ряд пометок Бенкендорфа и Мордвинова, Интересный этот документ приводится здесь целиком с восстановлением пропусков и дополнений по обоим спискам.

БОЛЬШОЙ ДОНОС МЕДОКСА

*Начало моего знакомства с государственными преступниками*

*I. Под конец моего четырнадцатилетнего заключения в Шлисселъбургской крепости вдруг июля 1826 года привезли в оную многих новых арестантов, из коих Юшневский, Пестов, Пущин, Дивов, Николай и Михайло Бестужевы находились со мною в одном отделении. Двое первых бьиш моими ближайшими соседями: Пестов* — *с левой стороны, а Юшневский* — *с правой. Сей последний особенно подружился со мною, выучил меня их азбуке* — *говорить сквозь стену посредством стука[[26]](#footnote-26), в он никак не мог усовершенствовать своего другого с****оседа*** *— Дивова. Я искренно привязался к нему, тем ее что Пестов способностей и знаний весьма обыкновенных.*

*Влача бесподвижную жизнь на постели, мы. день и ночь занимались стеною и, по тогдашнему выражению, взаимно друг для друга составляли целый мир. Их всех содержали гораздо строже нас, давних затворников, и потому я мог оказывать ему кое-какие услуги; например, еще не выучившись жить 50 копейками в день, он пил шалфей, а у меня был чай, которым я делился с ним; ему не позволяли курить табак, а я мог доставать оный и также посылать ему. Чтоб хорошо понимать все это, надобно самому испытать уединенное заточение в кре­пости, где столь страстно мысль алчет мыслию и где всякое сообщение с существом живым есть благо вели­чайшее. Имея дар слова, — дар усиленный любовию и отчаянием, он скоро очаровал меня. Я чрезвычайно со­жалел его, считав обреченным на неизбежные муки по смерть. Он сам говорил, что никакое правительство не оставило бы. их без наказания; ибо если затейщиков революции не наказывать, то беспрестанно будут рево­люции, которые всегда сопряжены с народными бедстви­ями.*

*Того же года, ноября 20-го, перевезли меня в С.-Петер­бургскую крепость, где Фонвизин и Нарышкин, осведомля­ясь у меня о своих собратиях, вступили со мною в знаком­ство. Я содержался у Никольских ворот, с Фонвизиным в одних сенях, куда мы оба могли выходить и видеться. Желая знать все об Юшневском, он дал мне бумаги и условные знаки, из коих некоторые употребляются еще и теперь, что, конечно, неосторожно. Нарышкин был подалее, в коридоре, и виделся со мною лишь однажды, по условию встретившись со мною на пути в баню.*

*Марта 1827 года.*

*Потом сосланный на жительство в Вятку, чрез ко­торую везли большую часть государственных преступников, я при каждом их прибытии посылал осведомлять­ся о Юшневском с мыслью помочь ему, ибо знал, что при нем нет ни копейки. Однажды, для лучшего осведомления пошел сам, я без намерения неожиданно познакомился с Швейковским, Штейнгелем и Барятинским, кои все слы­шали о моем прибытии в С.-Петербургскую крепость от своих товарищей и самого плац-майора Подушкина, давно пострадавшего за подобные слабости[[27]](#footnote-27) .*

*Источник сношений с государственными преступниками*

*II. Петр Муханов, бывший адъютант генерала Раев­ского, был женихом и, как кажется, любовником княжны Варвары Шаховской, наделенной всеми дарами природы, кроме красоты. Ей давно уже 30 лет. В Сибирь она приехала со своею сестрою Прасковьею Муравьевою (же­ною А.Н. Муравьева, сосланного в Верхнеудинск), имев решительное намерение выйти за Муханова; но ее мать, ненавидя сей брак одинаково со всеми родными и желая отнять у дочери надежду быть Мухановою, позволила сыну своему, князю Валентину Шаховскому, жениться на родной сестре Муханова вопреки прежнему намерению. Меж тем княжна Варвара, живучи целый год с семейством А.Н. Муравьева в Верхнеудинске, вела тайную переписку в Читинском остроге с Мухановым, который к своим письмам всегда прилагал чужие для пересылки в Россию. Вероятно, без сего средства он не мог бы подкупать, ибо почти вовсе без состояния. Вот истинный корень всех тайных сношений с государственными преступниками[[28]](#footnote-28)*.

*Сношение через господина иркутского гражданского губернатора*

*III. Впоследствии, когда А.Н. Муравьев сделался ир­кутским городничим и иркутский гражданский губерна­тор вздумал отдавать княжне Варваре Шаховской пись­ма читинских дам, не отсылая оных, как повелено, на рассмотрение в III отделение собственной Его Величе­ства канцелярии, то переписка сих дам, особенно Вол­конской и Трубецкой, с княжною сделалась еженедельной по почте и сопровождалась беспрестанными поручениями покупок и ящиками книг для чтения* — *книг, в перепле­тах коих заключались почти все тайны и из коих многие, разумеется, бывшие пустыми, без вложений, всегда раз­давались читать, особенно губернаторскому семейству.*

*В начале прошлого, 1832 года генерал Лепарский, не­известно почему, совершенно пресек сношения чрез губер­натора подведомственных ему барынь с княжною Шаховскою, дозволив сим барыням о нужных им покупках в Иркутске писать иркутскому губернатору, но оный губернатор все таковые письма подлинниками отсылает для исполнения княжне, которая сим посредством и продолжала до самого своего выезда из Иркутска отправ­лять в Петровский острог ящики с тайными вложени­ями по-прежнему, а добрый генерал Лепарский был обма­нываем самим губернатором.*

*Достопримечательно, что по всем другим отношени­ям весь губернаторский дом был всегда враждебным всему дому Муравьева. Вот вернейшее доказательство щедро­сти родственников и друзей государственных преступ­ников.*

*Для переписки чрез губернатора, на случай небольших секретов, был прислан княжне из Читинского острога указательный транспарант[[29]](#footnote-29) .*

*Сношения мимо господина губернатора*

*IV. Пересылки княжны мимо господина губернатора производились разными средствами: чрез купцов Шевеле­ва и Мичурина[[30]](#footnote-30) , чрез проезжавших из России жен госу­дарственных преступников и их слуг, чрез людей, княж­ною в Иркутске нанимаемых в услужение женам, чрез самих государственных преступников, которые по исте­чении назначенных лет в работе освобождались на посе­ление, более же всего чрез казаков, отправляемых из губернаторской канцелярии с посылками государствен­ным преступникам.*

*Сии посылки (не говоря о целых обозах, какие прежде бывали с мебелью и т.п.) доставляются почтою иркут­скому губернатору, который, не знаю, по какому-то распоряжению, отсылает их в Петровский острог уже не по почте, а со своими казаками, получающими прогоны, если не ошибаюсь, из сумм, пересылаемых государствен­ным преступникам. Это введено, как думаю, при губер­нском секретаре Турчанинове до моего приезда в Ир­кутск. Последний, прошлый, 1832 год сии казаки вовсе не употреблялись в сношениях с княжною по причине размножившихся средств.*

*Почитаю своим священнейшим долгом сказать, что А.Н. Муравьев, сколько мне известно, знал лишь весьма малую часть губернаторских послаблений, ибо оные производились посредством губернского секретаря Тур­чанинова[[31]](#footnote-31) , бывшего всегдашним гостем в доме Муравь­ева, а потом чрез казачьего пятидесятника Алексея Ядрихинского[[32]](#footnote-32) , умевшего приходить в часы присутст­вия городничего в полиции; что Муравьев по сему пред­мету иногда ссорился с княжною, оканчивав рассужде­нием о невозможности пострадать за дела губернато­ра, у которого он, как городничий, не может спраши­вать отчета и который может иметь новые предпи­сания; что о сношениях мимо губернатора Муравьев совершенно ничего не знал; что я не имею ни малейшего повода думать, что княжне Варваре Шаховской изве­стен вновь составленный заговор против правительст­ва. Я не мог сообщить ей своего открытия в ящике с табаком, ибо тогда наша дружба лишь начиналась[[33]](#footnote-33) , следующие же розыски в посылках делались, так сказать, непозволительным против нее образом. Я всегда рассуждал, что если она, зная, таит от меня, то мое открытие, верно, не будет ей приятно; а не зная, может при извещении испугаться, отступить и тем лишить меня средств продолжать открытие. Искренность в сем случае была бы вовсе бесполезна, ибо княжна никак бы не согласилась раскрывать чужие письма.*

*Проезд жен государственных преступников*

*V. Прибыв в Иркутск (октября 1829 года), я скоро сблизился с семейством А.Н. Муравьева, по прежнему знакомству моих сестер с княжнами Шаховскими в Москве; так что летом 1830 года, когда Юшневская проезжала в Петровск, я уже начинал быть дружен с княжною Варварою. Не знаю, чрез кого Юшневская пол­учила в Москве письмо от своего мужа, в котором он просил ее по приезде в Иркутск адресоваться во всех случаях ко мне и княжне Варваре Шаховской с полной доверенностью, что она и сделала. В Шлиссельбурге, оди­чалый и там искренно привязавшийся к Юшневскому, я благословлял монарха, великодушно даровавшего ему, толико виновному, счастье жить с женою. В Иркутске она пробыла с неделю в доме покойного статского советника Лосева, обедая почти всегда у губернатора (исправляв­шего должность генерал-губернатора, за бытностию сего в С.-Петербурге).*

*Во все это время, с первого вечера, я, признаюсь, про­сиживал с нею ночи до утра без малейшего понятия о новых злоумышлениях, она рассказывала мне, как, будучи в обстоятельствах весьма расстроенных, отправилась почти иждивением К.Ф. Муравьевой в двух прекрасных экипажах и описывала весь свой путь похожим на три­умф. Ей всюду делали обеды, ужины, даже балы в Екатеринбурге. Много раз повторяла она мне: что если б была женою делателя фальшивых ассигнаций или тому подобное, то б совсем иначе принимали; что и для русских прошел тот век, когда на опалу царскую смотрели с ужасом и немотою французов Людовика XIV; что Ермо­лов в опале сделался народным идолом и видел много дней похожих на те, в кои весь Париж, вся Франция ездили поклоняться Некеру [[34]](#footnote-34), отставленному по гневу Людовика XIV; что и в России, как во всей Европе, падение деспо­тизма неминуемо близко; что дом Романовых непрочен; что так думают умнейшие люди в России и К.Ф. Му­равьева. «Ах! Вот женщина! Вот мать удивительная!* — *повторяла она, показывая ее плачущий портрет.* — *Зна­ете ли, что в Москве ее портреты продаются в лавках [[35]](#footnote-35), и многие покупают как образа».*

*Юшневская привезла губернаторше от К.Ф. Муравьевой и еще от кого-то, не помню, 2000 рублей, бриллиантовый перстень и богатый ковер. У ней своих денег оставалось с небольшим 500 рублей, а для тайного доставления другим была кипка ассигнаций тысяч в десять, несколько безымян­ных банковых билетов по 1000 рублей для подарков окру­жающим генерала Лепарского и много писем.*

*Для соблюдения формы осмотра родственник губерна­тора коллежский регистратор Дудин, не довольствуясь предуведомлением в доме губернатора, приехал к Юшневской[[36]](#footnote-36) из учтивости предупредить, что он должен с другим назначенным чиновником осмотреть вещи ее пре­восходительства. Завтра платок с деньгами, несколько хороших часов, серебро и туалет, в коего крышке за стеклом под канвою таились письма К.Ф. Муравьевой, были спрятаны в чулане близ спальной, а остальное все на вся было разложено в зале: чиновники все хвалили, всему дивились; Дудин особенно занимался рассматриванаем большой портфели с узорами для канвы (которые потом его тетенька, губернаторша, будучи с визитом у Юшиевской, попросила посмотреть и получила в пода­рок); а другой, не помню кто, из незнакомых мне, присев к поставленной закуске, занимался разговорами с Юшневской и Богуцкой. Сия пожилая, малообразованная дво­рянка Могилевской губернии, девица Татьяна Богуцкая [[37]](#footnote-37), настоящая полячка, пред сим из Польши будто по заказу в Москву приехавшая, вдруг нанялась в Петровский за­вод* — *к Волконской компанионкою!*

*Чтобы не разрознивать предметов, я с нарушением хронологического порядка происшествий приобщу к сей статье все нужное о Богуцкой, которая после отъезда Юшневской оставалась в Иркутске месяца с три (за неотстройкой в Петровске дома Волконской), жила в семействе А.Н. Муравьева. В Петровске она пробыла 8 месяцев. На возвратном пути в Россию остановилась в Иркутске в том же доме Лосева, где и прежде с Юшневскою и где при сем, втором, разе жили четверо холо­стых вместе: губернский секретарь Соломирский (ныне камер-юнкер двора Его Императорского Величества), бо­таник Бупге, астроном Фусс и я.*

*При величайшем затруднении быть у простой поляч­ки в квартире холостых княжна Варвара провела утро до позднего обеда у Богуцкой для лучшей укладки множе­ства посылок из Петровска в Россию. Сей визит особенно заметил Соломирский, разумеется, не знавший причины. Богуцкая ехала из Иркутска до Москвы вместе с княж­ною Катериною Шаховскою (ноября 1832 года).*

*Вслед за Юшневскою, под конец лета 1830 года, про­ехала Розен [[38]](#footnote-38), гораздо скромнее и более сообразно с ее положением; но это было следствием недостатка. После них ровно через год Иркутск видел молодую француженку Камиллу Дантю, невесту Ивашева, которую, судя по ее барским утварям, богатому экипажу и прислуге, величали графинею, княгинею и которой героическая любовь, прекрасно вымышленная, обманув начальство, обманула почти всех. В истине сего ссылаюсь на самого генерал-губернатора, знающего, как сия Дантю при всяком воспоминании о приближающейся развязке ее романа мучи­лась истерическими припадками, хохотала, плакала, кри­чала, лаяла и, наконец, простиралась без чувств. Она сама всем говорила, что едва знает Ивашева и что мать при­несла ее в жертву расчетам недостаточного семейства[[39]](#footnote-39)* . *В самый день приезда Дантю привезли в Иркутск из Петровского острога Таптыкова, доставившего мне для передачи ей письмо и княжне Шаховской две посылки, о которых пространнее будет донесено в другом месте.*

*Проезд слуг в Петровский завод к женам преступников*

*VI. Мне кажется, что можно бы, так сказать, на многое попасть, со многим встретиться, расспрашивая слуг, бес­престанно возвращающихся из Петровска в Россию. Конечно, для сего надобно иметь сведения и быть на стезе к делу. С Юшневскою проезжавшие Федор и его жена Елисавета (про­звания не помню) давно уже обратно в России. Они дворовые люди покойной княгини Елисаветы Сергеевны Шаховской, тещи А.Н. Муравьева, взяты Юшневскою в Москве по реко­мендации К.Ф. Муравьевой (здесь, как и всюду при рассмат­ривании сего обстоятельства, можно видеть, сколь тесно связаны сии семейства их общим несчастием).*

*Не говоря о давнем, скажу лишь, что в марте сего года проехали в Петровск к Ивашеву две женщины, а в начале сей зимы две выехали из Петровска. Одна с вестию о смерти жены Н. Муравьева[[40]](#footnote-40), а другая, много раз ко мне приходившая, московская мещанка Марфа Федотова[[41]](#footnote-41). Она жила в Петровске лишь несколько меся­цев. Достаточно взглянуть на сию последнюю, чтоб усумниться в истине предлога их путешествий. Она не умеет ничего особенного, то есть ни шить, ни мыть, ни стряпать; таких всюду и в Сибири можно найти мно­жество. К чему же возить из России с толикими издер­жками, выдавая прогоны в оба пути? Если сия Федотова имеет какое-нибудь достоинство, так это то, что она старая девица, лет 35, следовательно, не без хитростей. Достопримечательно, что почти все так странствую­щие в Петровск суть старые девицы. Прошлое лето проехала к Волконской Аксиния Абрамова[[42]](#footnote-42) , девица лет в 50. В сей статье я ограничился одними лишь общими примечаниями, ибо не могу сказать ничего верного[[43]](#footnote-43).*

*Проезд на поселение Дружинина.*

*VII. Вскоре по отъезде Юшневской из Иркутска привезли**в оный Дружинина. Выжив срок в работе и следуя па поселение Иркутского округа в заштатный город Налаганск, он был адресован ко мне с письмом Юшнев­ской, при коем доставил для передачи княжне Варваре много посылок и три писаные книги разных форматов, переплетенные и запечатанные так, что можно было видеть только то, что две французские, а третья, мень­шая,* — *русская, без надписи. Две другие были адресованы Анне Ивановне Пущиной (сестра декабриста.* — *С.III.) и княгине Елисавете Александровне Шаховской (сестра Муханова.* — *С.Ш.). Вот с сего-то случая княжна Вар­вара начала получать посредством меня ко избежанию внезапной встречи с оными А.Н. Муравьева.*

*В непродолжительном времени по известиям из Пет­ровска открылось, что Дружинин одного ящика не до­ставил. Сим встревоженная княжна так одушевила ме­ня мольбами об избавлении ее от неприятностей, что я, право, пустился бы на щепочке в океан [[44]](#footnote-44). Дружинин с нарочным крестьянином прислал мне ящик, которого двойное дно скрывало письма к А.И. Пущиной, княгине ЕЛ. Шаховской, большой куверт жене Штейнгеля и тет­радки нелепых сочинений Муханова. Ящик этот изве­стен под именем голубого, ибо был оклеен дабою голубого цвета.*

*Мое неожиданное открытие заговора Союза великого дела*

*VIII. Вслед за сим последним происшествием, в глубо­кую осень того же, 1830 года, узнал я новое тайное общество, вовсе без намерения, случайно и, как думаю, почти при возрождении оного.*

*По отъезде губернского секретаря Турчанинова долж­ность его была поручена молодому ветреному коллежско­му регистратору Дудину, дальнему родственнику губер­натора. Влюбленный в Марию Зарубаеву, губернаторскую племянницу, Дудин, желая подарить ее своим портретом, прибегнул ко мне, ибо я умею рисовать и рисую без платы. В то самое время у А.Н. Муравьева не стало крепкого турецкого табаку, без которого он не может просидеть дня порядком. Добродетельная жена его после тщетных посылок в лавки просила меня поискать табаку. Я по­ручил это Дудину, более меня знакомому с целым городом, при сказанном в шутку условии нарисовать портрет за табак. Через несколько дней Дудин привез мне ящик, обшитый кожею, уже без надписи, без печатей, и, не скрывая, что это посылка в Петровский острог, радо­стно сказал, что в ней есть лучший турецкий табак, который можно подменить каким-нибудь другим.*

*Дело было вечером. Нимало не думая пользоваться воровством, я принял ящик только для того, чтобы завтра показать А.Н. Муравьеву, сколь нагло обкрады­вают петровских арестантов. Меж тем ночью из любо­пытства открыл посылку, увидел ящичек соковых кра­сок, две пары ичиков, табак и несколько книжек Revue Britannique. При первом взгляде переплет одной из них показался сомнителен, и не напрасно: я нашел тончай­шей почтовой бумаги два листа, надписанных Нестору.[[45]](#footnote-45)*

*Всего понять было невозможно по множеству услов­ных знаков, из коих я знал лишь весьма немногие; однако же совершенно убедился в существовании нового заговора против монархии в отечестве. В начале письма, при просьбе помогать без опасения, было сказано почти вот так: «Еще и еще повторяем, что мы[[46]](#footnote-46) , имея в виду случившееся, не обманемся ложными обещаниями проще­ния и ни в каком случае не сознаемся; а другие у нас, как известно, почти ничего не знают».*

*Из разобранного далее я теперь могу припомнить лишь существеннейшее: что в С.-Петербурге после двухлетнего существования наконец согласились признаться живыми и Общество братьев-друзей назвать Союзом великого де­ла, который впредь разуметь под знаком, то есть литер: S, V,* D[[47]](#footnote-47) ; *что иностранцы знатные и весьма известные по своим правилам будут принимаемы до III степени; что все прочие иностранцы, родившиеся не в России, хотя бы находились в российской службе, не будут принимаемы; что в сем случае Россию разуметь в ее границах времен царя Алексея Михайловича с прибавлением Санкт-Петербурга; что постараются скорее сколь мож­но доставить полное изложение правил, которым еще нет названия, кроме тетради.*

*Потом следовали семейственные известия о людях под знаками, мне неизвестными, и потому забытые. Помню лишь, что графини Орлова и Воронцова доставили К.Ф. Муравьевой значительные суммы для вспомощест­вования неимущим в Петровском остроге. В сих сноше­ниях, пересылавшихся внутри переплетов, всегда подме­шивается азбука Наполеоновского телеграфа, разумеет­ся измененная. Это весьма затрудняет чтение. Помяну­тый табак посылается в гостинец Юшневскому, а все прочее* — *Никите Муравьеву от его матери.*

*Другой лист, без знаков условных, написанный по-французски прекраснейшим слогом, был проспект «Митридата». «Митридат» есть заглавие периодического из­дания, затеянного русскими за границею и так назван­ного в смысле противоядного лекарства от журналов. Сей лист начинается анекдотом: «Однажды, при слове о Наполеоновских журналах, славный Бентам сказал смеючись: «Вот единый бич, которым Моисей забыл каз­нить Египет!»*

*Выписав для себя знаки и заделав переплет, я все уложил по-прежнему; о поступке Дудина рассказал А.Н. Муравьеву, который, охраняя меня от хлопот и ненависти губернатора, дал слово молчать об этом ящи­ке, а о бездельничестве Дудина при случае донести гене­рал-губернатору, уже возвратившемуся из С.-Петербурга. Несмотря на это, я нарисовал Дудину его миниатюрный портрет, который висел в почтении у губернаторши, пока Зарубаева, к общему удивлению, не родила на другой день свадьбы, вынужденной крайностью.*

*Кроме сих двух листков мне не случалось читать о сем**предмете пересылавшегося из России государствен­ным преступникам; от них же в Москву попадалось дважды. В доставленных Дружининым посылках, верно, много было; но, к сожалению, я в то время не знал еще злоумышлений; а невинным семейственным перепискам, от сына отцу, матери, от брата брату, сестре, скажу, не бледнея, считал за грех не помогать.*

*Когда же узнал ков гнусный и по одной неблагодарности к великодушнейшему монарху, то мгновенно стал врагом оного, особенно же врагом Юшневского, более дру­гих мне известного. Он, в звании каторжного быв моим соседом, прощался с женою и с жизнью и думал быть навечно спущенным в глубины какого-нибудь рудника. Вме­сто того наслаждается и жизнью, и женою, все еще бары­нею, живет в темнице лишь по названию, в сущности же в академии, и снова плетет путы своему счастъетворцу. Таким людям-нелюдям я не могу быть другом.*

*Письмо невесте Ивашева, Дантю, привезенное от Ива­шева Таптыковым, я тот же час отдал ей при княжне Шаховской; а следовавшие сей княжне две посылки, ос­тавив у себя будто бы до темноты вечера, поспешил домой для открытия. Две посылки были зеркало и бурак. Зеркало в обыкновенном картонном туалете с незапер­тым ящиком, в коем лежала белая записная книжка немногих страниц; из каждой доски ее переплета я вынул по листку: один К.Ф. Муравьевой от ее сына Никиты и его жены; а другой Думе от Юшневского с припискою Никиты к неизвестному[[48]](#footnote-48)* .

*У Юшневского я увидел, что напрасно дожидался тет­ради правил, уже полученной; ибо он делал на оные свои замечания. По невозможности продержать долее вечера и незнанию означенных числами, то есть главами и § предметов возражений, я мало понял из сих замечаний. Юшневский советовал «вместо шести степеней сделать семь, ибо все подобные сообщества, например храмовые рыцари, франк-масоны, ассассины и прочие, всегда имели семь степеней, и потому оставить число «семь», как кабалистическое; просил отменить вход депутата в Думу, какой бы степени он пи был, предлагая все пере­говоры с таковым производить Думе через своего депутата; находил, что две первые степени, присягая благу отечества, недовольно ясно вразумляются свободными от присяги государю и что это в некоторых случаях может удерживать их от действий, ибо жарчайшие демократы могут быть фанатиками своего рода; что вовсе нет шарлатанства, к сожалению, необходимого даже и в медицине, что надобно воспламенять воображе­ние, демагог должен быть всегда Наполеоном в Египте и, беспрестанно указывая на пирамиды, повторять: «Ре­бята, с высоты этих пирамид на вас смотрят сорок веков!»; что Н. Муравьев предлагает в девиз: «Блажен, блажен грядый спасать отечество!»*

*При изложении своих мнений об особах под неизвест­ными мне знаками я встретил двух известных: генерал Михаиле Орлов[[49]](#footnote-49) , как слышно, еще не вовсе упал духом и верно может быть полезен; никто лучше его не умеет привлекать к себе. Он в свое время был единственный человек. Надобно стараться завлечь графа Шеремете­ва[[50]](#footnote-50) , который не может быть уволен государем.*

*По недостатку времени не прикоснувшись бурака, я отдал его княжне вместе с зеркалом нарочно при Дантю, чтоб и она славила меня в Петровском остроге. Сей простой берестовый бурак, большой, в полведра, был при­слан Таптыкову, как он сам мне сказывал, от Волкон­ской на дорогу с ягодами в самую минуту его отправления при всем штабе генерала Лепарского, а в Иркутск привезен с черным бельем. Наружность сего бурака была столь нехороша, что я затруднялся предоставлением оного княжне. Возможно ли подозревать подобный скарб? В нем были письма Трубецкой (А.И.* — *СШ.) и Волконской (М.Н. — С.Ш.), адресованные К.Ф. Муравьевой, кажется, для передачи, Якушкина (И.Д.* — *СШ.) к его теще, На­дежды Николаевны Шереметевой и Фонвизина (МЛ.* — *СШ.) к его брату, помнится, генералу Ивану Александро­вичу [[51]](#footnote-51) . Княжна показывала мне все сии письма.*

*Репину[[52]](#footnote-52) тоже было дано, но как-то в Верхнеудинске по внезапной разлуке с Кюхельбекером[[53]](#footnote-53) осталось в чемодане сего последнего, с ним вместе ехавшего. Репин, следуя на Якутский тракт, не привез ничего в Иркутск. Спустя недели с три Кюхельбекер прислал мне чрез Шевелева для передачи княжне к скорейшему отправле­нию книгу Les Incas с обыкновенными вложениями, на сей раз очень худо сокрытыми в одной стороне. Тут было письмо Н. Муравьева к его матери, непонятно мистиче­ское, о имении, долгах, наследстве и т.п. В конце лишь поклонами знакомым посылалось от кого-то почтение Щербинину[[54]](#footnote-54) , коего я не забыл, ибо знал в Одессе; тут же было и несколько тончайших осьмушек, весьма любо­пытных, написанных Юшневским, Н. Муравьевым, Фон­визиным и Трубецким[[55]](#footnote-55) по требованию Думы о настоя­щем состоянии во всех отношениях всех петровских узников за свободу отечества.*

*Княжна мне сказывала, что все другие, бывшие с Репиным посылки возвращены Кюхельбекером обратно в Петровск, вероятно, по невозможности переслать всего. Помянутые листки и письма я спрятал в толстый пере­плет рукописного жития святого Иннокентия, чудотвор­ца иркутского. Оставшаяся у меня книга Les Incas отдана впоследствии жандармскому капитану Алексееву.*

*Невозможность знать всю переписку* с *преступниками*

*IX. Я изложил единственно то, что видел и что знаю, отнюдь не помышляя описывать всю переписку с госу­дарственными арестантами Петровского острога, чего сделать верно никто не может даже и меж ними самими, ибо они, давно на партии разделившиеся, очень скрытны друг пред другом.*

*Прекращение сношений через княжну Варвару Шаховскую*

*X. Вскоре после известий из Москвы, что Богуцкая попалась и княжна Катерина Шаховская спрашивана июля 1832 года, получено в Иркутске повеление спросить меня и купца Шевелева. Тогда княжна Варвара, немед­ленно уведомляя об этом Волконскую, по моему убежде­нию, отказалась до лучших времен от всякого участия в сношениях с Петровским острогом. Волконская и Тру­бецкая обе враз написали, что, по полученным у них опасениям, пресекаются совершенно все сношения, даже семейственные, мимо установленного порядка, и что при возобновлении надо будет переменить прежние обыкно­веннейшие средства их сношений, ибо Богуцкая могла многое сказать. Несмотря на это, дня через два или три по отъезде княжны и А.Н. Муравьева из Иркутска в Тобольск, господин губернатор прислал отъезжавшему в С.-Петербург астроному Фуссу опоздавший ящик при письме княжне Варваре Шаховской. Я был у Фусса во время принесения к нему сего ящика, доставленного княжне, как мне известно, в Нижнеудинске.*

*Мое донесение о существовании Союза великого дела*

*XI. При таковых обстоятельствах, не надеясь в ско­ром времени открыть более, я решился донести об изве­стном мне, что сделать было, конечно, весьма трудно в звании рядового, коего письмо всяк считает себя вправе распечатать. Ответ мой не мог быть инаков по вовсе гласному призыву меня в главное управление через госпо­дина городничего и по многим другим рассуждениям. В самый час получения с почтою предписания о сем пред­мете господин генерал-губернатор проговорился случив­шемуся тогда у него А.Н. Муравьеву, и я в тот же день был предварен княжною о спросе меня, а потом самим Муравьевым, который, сказав несколько слов об опасно­сти подобных случаев, просил беречь себя и других и быть готовым к обыску.*

*Через три недели потом привезен был Шевелев. Л.Н. Муравьев в это время, пользуясь летом, жил на заимке, то есть за городом на даче, и меж тем переде­лывал дом, им в городе занимаемый; но вдруг за непогодою и болезнью детей принужден был оставить поле; а как поправки в доме еще не были готовы, то он переехал к своему другу, купцу Дмитрию Портнову, куда вслед за тем прибыл из Верхнеудинска призванный для ответа купец Шевелев, зять Портнова. Тут лишь немые не сговорились бы. Княжна в это время была чрезвычайно внимательна, и мой ответ никак не мог остаться тай­ною для нее.*

*Предуведомленная княжна была весьма бдительна в то время. При нынешнем убеждении из опытов, я, конеч­но, должен сознаться виновным в том, что давно не объяснялся господину генерал-губернатору, но тут всяк обманулся бы: он и дочь его были в дружеских связях со всем семейством А.Н. Муравьева, кроме которого они, по своему образованию не могли найти в Иркутске беседы им соответственной. Да и как мог я быть твердо уверен, что господин губернатор ослабил переписку не с дозволе­ния господина генерал губернатора. Конечно, я не мог сомневаться в известной бескорыстности сего последне­го, но почасту один делает по влечению добродетели точно то, что другой из корыстолюбия. Находя донесение по своему начальству столь же невозможным, как и в главном управлении, я отважился оное сделать под видом частного письма его сиятельству господину шефу жан­дармов 3 сентября 1832 года.*

*Мое объяснение жандармскому капитану Алексееву*

*XII. Вслед за сим донесением, при не совсем безосно­вательно неродившейся мысли о перехвачении того доне­сения, я счел за нужное объясниться жандармскому ка­питану Алексееву, который противу моего желания от­крыл господину генерал-губернатору; впрочем, признаюсь, что в этом случае он прав, а во всех других поступках по сему делу был, смею сказать, весьма опрометчив.*

*А.Н. Муравьев в доме Портнова, узнав о своем пере­мещении в Тобольск, остался до выезда из Иркутска, а свою прежнюю квартиру отдал капитану Алексееву. Там, в комнате княжны Варвары, остался на шкапу забытый ящик с выкройками, счетами и прочим; капитан Алек­сеев прожил в доме недели с две и как-то, вздумав поко­паться в ящике, нашел при иркутском акушере докторе Крузе письмо Волконской из Петровска к княжне Ша­ховской и счет покупкам сей княжны для петровских барынь.*

*Письмо, отправленное с казаком, условно прозванным fille adoptive (усыновленная дева.* — *С.Ш.), было довольно значительно по описанию занятий государственных преступников и обстоятельств некоторых из ихних жен. Капитан Алексеев, всем показывая сие письмо как важное открытие, сделал столь гласным, что я доказал ему, что так как А.Н. Муравьев уже непременно извещен о его обретении, то он должен или прямо оказаться врагом Муравьева и орудием гибели его семейства, или при про­езде чрез Тобольск отдать княжне письмо и счеты.*

*Избегая одного и опасаясь другого, он согласился сам отдать счеты незначительные, а письмо подарил мне для оказания княжне новой услуги. Я тогда же уведомил ее иносказательно по почте, будто бы мне посчастливи­лось утащить у капитана Алексеева сие письмо, потом ей доставленное с купцом Дмитрием Портновым, ездив­шим в Москву. Я хотел послать оное с губернским сек­ретарем Жюлиани, который теперь в С.-Петербурге. Он читал у меня сие письмо и, по моей болезни, был мною послан к Портнову. Сам Жюлиани не мог взять письмо, ибо ехал не на Тобольск, а на Шадринск, вместе с капи­тан-лейтенантом Забелою, не хотевшим втуне сделать 300 верст лишку.*

*Мое доставление письма Юшневского господину шефу жандармов*

*XIII. При содействии господина генерал-губернатора Я, по совету капитана Алексеева, посылал в Петровский завод с письмом к Юшневскому верхнеудинского мещани­на Илию Филиппова, который, быв приказчиком у купца Шевелева, известен мне по прежде доставленным посыл­кам для передачи княжне Шаховской, что все подробно донесено прошлого декабря 1832 года при представлении ответа Юшневского шефу жандармов чрез господина генерал-губернатора со всевозможными предосторожностя­ми.*

*Мое свидание с Фаленбергом и Мухановым*

*XIV. Вследствие высочайшего указа об освобождении работы в Петровском заводе 18 человек государственных преступников многие из них, следуя на поселение по* *сию сторону Байкала, привозились в Иркутск. Муханов и Фаленберг[[56]](#footnote-56) , бывшие в первой партии, на другой день прибытия просили городничего о позволении видеть док­тора Крузе, разжалованного из майоров Раевского[[57]](#footnote-57) и меня, в чем они и были удовлетворены. Фаленберг тотчас отдал мне небольшую записочку Юшневской[[58]](#footnote-58) ; а Муханов под конец беседы, приглашая опять прийти, просил от­дать на почту письмо к княжне Шаховской в Тобольск, адресованное на имя унтер-офицера жены Мавры Свеш­никовой, находящейся в услужении у А.Н. Муравьева в Тобольске (разумеется, для передачи княжне Шахов­ской), и при безопасном случае переслать той же княжне образ, который, уже висевший на стене, был снят и дан мне в руки. Образ сей имел с одного боку вовсе невидимую задвижку, наподобие тех деревянных футляров, в коих русские промышленники носят свои паспорта.*

*Снова пришед вечером и застав там доктора Крузе и Раевского, я скоро ушел.*

*На другой день дерзкий Муханов вынудил меня поссо­риться с ним. Должно думать, что доктор Крузе, бывший всегдашним гостем в доме А.Н. Муравьева и ко мне не­расположенный, заставил предпочесть мне Раевского, весьма известного всем государственным преступникам. Я не мог ничего более сделать, как тогда же донесть все вышесказанное генерал-губернатору, который и распоря­дился к принятию нужных предосторожностей в почто­вой конторе, а было ли что сделано, мне неизвестно.*

МЕДОКС У ДЕКАБРИСТОВ В ПЕТРОВСКОМ

Истинная цель приезда Вохина с Медоксом в Пет­ровский завод не укрылась от тамошних декабристов. И.Д. Якушкин отмечал впоследствии в своих Записках: «Потом приезжал полковник Вохин, адъютант военного министра Чернышева; через своих лазутчиков он ста­рался разведать обо всем, что делалось в Петровском, и особенно о нашем содержании в казематах; комендант, узнавши об этом, очень ловко предложил ему сообщить самые верные сведения об нас и об женах государст­венных преступников и тем прекратил тайные розыски Вохина».

Но декабристы не знали, что лазутчик Вохина все-таки обошел и его, и генерала Лепарского и что адъю­тант военного министра поверил всем немудреным хитросплетениям Медокса. Взяв с собой Медокса в Петров­ский завод в качестве писаря, Вохин в соответствии со своим планом должен был предоставить Медоксу сво­боду действий, и ловкий мошенник получил возмож­ность целым рядом веских, на взгляд перепуганного правительства, доказательств подкрепить свой прово­кационный вымысел.

Пробыв в Петровском заводе шесть дней, Медокс представил Вохину о всех своих действиях подробный отчет под приведенным ниже заглавием. Здесь он развил свой донос и обосновал его рядом очень убедительных документов, из которых самое большое впечатление на министров Николая Первого произвел диплом на звание члена тайного общества, данный Медоксу сосланными декабристами.

Новый донос Медокса составлен в форме точных поденных записей всех его бесед с декабристами в Пет­ровском остроге, бесед, которые он, по словам отчета, вел легко и свободно, несмотря на то что государствен­ные преступники находились под очень строгим надзо­ром.

Несмотря на явно сквозящую во всех записях Днев­ника-отчета ложь, этот новый донос Медокса, как и все приведенные выше, дает много любопытных штри­хов к истории пребывания декабристов в Сибири. Ибо ловкий и наблюдательный авантюрист плел свое кру­жево лжи все-таки на основе отдельных достоверных фактов, которые он подмечал или улавливал в беседах с отдельными декабристами. Конечно, в этом ему помогли сведения, собранные во время сношений с самими декабристами в Шлиссельбургской крепости и в Вятке и с их родственниками и друзьями в Одессе и Иркутске. Привожу и этот интересный документ полностью.

ПОДЕННАЯ ЗАПИСКА МОЕЙ БЫТНОСТИ В ПЕТРОВСКОМ ЗАВОДЕ

*Марта 11-го дня 1833 года.*

*Слышав, что в Петровском остроге государственные преступники при приезжающих из России содержатся гораздо строже обыкновенного, я думал, что трудно бу­дет видеться с Юшневским, и потому, чтобы врасплох захватить его дома для условия о свиданиях, вылез из повозки при самом въезде в завод и во тьме вечера пришел пешком к воротам Юшневского, не спросив никого, ибо имел уже все нужные к тому сведения.*

*Юшневский был дома, и после разных приветствий я узнал, что хитрость была вовсе излишнею. Он, как и все женатые, свободно бывает дома от 7 часов утра до 9 вечера; лишь на ночь уходит в острог, и то не всегда.*

*Тотчас начались разговоры о претерпенных мною не­приятностях по неосторожностям Богуцкой. «От неко­торых родственников нашей братии, — сказал Юшнев­ский, — были отобраны письма и благополучно назад возвращены, как будто сим средством покажут что-ни­будь важное. Графиня Коновницына выдала письмо своей дочери Нарышкиной о сооружении надгробного памятни­ка ее брату[[59]](#footnote-59), но не промолвилась о других, ей переданных». Рано отужинав, Юшневский ушел, а я долго еще про­сидел с его женою. Она мне сказала, что Шевелев остался единым посредником в их краю и что, кроме нароуно посылаемых женщин, плохи средства за отъездом княж­ны Шаховской. Впрочем, из поступков Юшневского тот­час приметно, что они многое скрывают от своих жен, и потому, чтоб не ошибиться, не все слышанное от них можно почитать верным. Сей вечер проведен с нею в разговорах о мелочах, более же об образе их жизни. При прощании она обещалась ко избежанию недоумений по­утру написать генералу Лепарскому о позволении видеть­ся со мною.*

Марта 12-го.

*Поутру в 8 часов получил я от Юшневской записочку о комендантском дозволении мне быть у ней[[60]](#footnote-60) . Пришед в 10, был сжат в объятиях целующего меня незнакомца, Вольфа[[61]](#footnote-61) . Он счел меня за моего брата Василия (гвардии подполковника, бывшего при князе Паскевиче-Эриванском чиновником по особым поручениям и умершего от холеры в Варшаве), который с ним воспитывался в московском пансионе Гейдеке.*

*Разговор вдруг сделался общим и весьма жарким* — о *крепостном заключении, особенно моем четырнадцати­летнем. За обедом Юшневский рассказывал, что «Якушкин с прошлою почтою узнал монаршее несоизволение на поездку его жены в Петров, потому что она 7 лет не пользовалась высочайшим разрешением и что теперь она нужнее детям, нежели мужу, что Якушкин, извещая об этом его, Юшневского, и Н. Муравьева, сказал: «Теперь я ваш более, нежели когда-либо прежде; рассеялись все мои прочие связи с миром. Жизнь не имеет ни цели, ни желания, кроме одного» [[62]](#footnote-62).*

*После обеда и кофею, когда Юшневская ушла спать, а Вольф ушел к больным, я близил разговор к своей цели. Юшневский говорил, что и в прежнем обществе воспрещалось иметь что-нибудь письменное; что зазнаемо лишь членам вверялись письма, которые мгновенно сожигались, что ныне это еще строже повелевается, что клятва их ужасна, заключая в себе все, что лишь может быть священного для гражданина, что лишь братья четырех первых степеней знают о существовании Союза, Главы, Думы, законопо­ложений и прочего, друзья же трех последних должны думать, что нет еще ничего определенного и будто об­щество лишь возрождается, что в Москве предполагали шесть степеней.*

— *Но вы,* — *подхватил я, присоветовали семь, ибо сие число, как будто кабалистическое, было принято во всех подобных обществах, например: храмовыми рыцаря­ми, франкмасонами, ассассинами и прочими.*

*Он, безмолвствуя, выпучив большие глаза, смотрел на меня и с улыбкою доверенности спросил:*

— *Вы как знаете?*

*Я, я думаю, что Бог, делая меня своим орудием, делает чудеса.*

*Пьяный Таптыков, подмочив туалет и в оном быв­шую записную книжку, так повредил ее картонный переплет, что гибель их Союза была бы неминуема, если б попалась не в мои руки.*

*Пользуясь сим мгновением благодарности, я просил объ­яснить знаки, в недавнем письме ко мне употребленные[[63]](#footnote-63).*

*С пером в руке он истолковал, что значит жезл, и шапку национальную русскую о четырех углах, какую носят мужики.*

*В Чите Н. Муравьев, иногда шутя выходив на работу в подобной шапке, был нарисован в оной на портрете, посланном к его матери, коей в удовольствие братья двух первых степеней стали означать себя шапкою на жезле с прибавлением одной черточки или двух черточек, то есть первой или второй степени[[64]](#footnote-64) значит Думу под председательством трех.*

— *Если герб Швейцарии,* — *прибавил с улыбкою Юш­невский,* — *украшен простою круглою шапкою пастуха, то почему России не променять корону на свою нацио­нальную четырехугольную шапку?*

*При речи о С.-Петербурге, когда он назвал государя им­ператора Иксом и я спросил, почему Его Величество так назван, он ответил, что «императрица изволит звать своего супруга Нике, а это походит на «х», одну из последних букв азбуки, как Его Величество из последних в доме Романовых».*

Марта 13-го.

*Вышед из квартиры часов в 11, я встретил посланного за мною от Юшневского, которого застал одного. Жена занималасъ хозяйством. Ожидали Вольфа, обещавшего обедать со мною, но вскоре запискою извинившегося, что не может быть по причине воды, разлившейся поверх льда на речке. Еще вчера, в час благодарности, узнал я петербургского [знак к генерала И.П. Шипова], но, пришед домой, не мог вспомнить его фамилии: это генерал-адъютант Шипов 1-й* с*тепени. Он принадлежал к прежнему тайному обществу.*

*Вчера же спрашивал я и об [?], но Юшневский отрывисто отвечал, что с ним познакомит меня К.Ф. Муравьева, что им всем троим уже написано обо мне, а теперь еще больше напишется. При сем он был не очень разго­ворчив, повторяя, что после обеда будут ко мне Н. Му­равьев и Якушкии. Последний пришел под конец стола; Юшневский, знакомя меня с ним, просил быть братьями. Обнимаясь* (с Муравьевым. — *С.Ш.), я произнес вполго­лоса:*

— *Провидение, отъемля у вас любезную жену, снова дарит вас отечеству.*

— *И прекрасно делает,* — *подхватил он громко.*

— *Как перешли вы через реку?* — *спросил я.*

— С *утра вышел из острога, тогда воды еще не было.*

*При слове о смерти жены Н. Муравьев, все вдруг рас­сказывали ее кончину с чрезвычайным энтузиазмом.*

— *Муравьев просил шефа жандармов о перевозе ее тела в Россию,* — *сказал мне Якушкин.*

— *Неужели вы думаете,* — *спросил я,* — *что Его Величество может позволить это? (Юшневский, как хозяин, торопливо заметил мне, что у них государя всегда называют Никсом или Иксом.)*

— *Нет, не думаю; но муж исполняет свой священный долг, последнее желание беспримерной женщины[[65]](#footnote-65) .*

*Юшневский жарко говорил опять по-вчерашнему, что она по суду законов не была лишена своих прав урожден­ной графини Чернышевой, а Его Величество не мог сам собою отнять оные, и потому генерал Лепарский спра­ведливо позволил похоронить ее под балдахином в шесть лошадей, что, впрочем, они, демократы, конечно, не дол­жны бы хоронить своих жен по-аристократически.*

*При сем Юшневский, простершись о правах россий­ского дворянства, рассказал анекдот: «Лорд Витфорт во время коронации покойного императора Павла Пер­вого, опоздав на какую-то церемонию, извинялся: «Я был занят визитами к вельможам Вашего Величест­ва», и будто бы государь отвечал: «В моей империи вельможи только те, с кем я говорю и пока я с ними говорю»[[66]](#footnote-66) .*

*Якушкин, благодаря меня за спасение ящика, после от Дружинина достатого, сам сказал, что в оном было и его письмо в письме Штейнгеля.*

*Оставшись вдвоем со мною, Юшневский, делая планы будущему, особенно одобрял мне графа Людвига Витхенштейна[[67]](#footnote-67), с которым он в тесной дружбе и который, недавно возратившись из-за границы, теперь в С.-Петербурге по случаю привезения туда гроба его жены.*

*Сей граф Людвиг прежде принадлежал к Обществу и теперь принадлежит к Союзу. Ему-то поручено распорядить­ся издаванием за границею журнала «Митридат». Еще неизвестно, почему он этого не сделал, но много статей из Петровского острога переведены с их французского по-анг­лийски и напечатаны в разных английских периодических изданиях, потом, что, конечно, странно, с английского пе­реведены по-французски в Revue Britannique. От души сме­ялся Юшневский, говоря, что в получаемых ими книжках сего журнала у них вырезывают их собственные сочинения, боясь, чтоб они не просветились оными.*

Марта 14-го.

*Пришед к Юшневскому позже обыкновенного, часу в 12-м, я застал Вольфа уже дожидавшимся меня. Он обедал с нами. Сей доктор медицины говорит как единбургский доктор естественного права. После обеда при­шел Н. Муравьев, который на мое осведомление о здоровье его брата Александра ответил, что по обманчивой ми­лости, коей истинный смысл нельзя понять, им прихо­дилось разлучиться, что брат его, не желая разлуки, просился быть поселенным в Петровском заводе, на что Его Величество, не соизволив, повелел оставить в преж­нем положении рабочего, но (по точному выражению Н. Муравьева) добрый старик Лепарский, соблюдая спра­ведливость, позволил жить поселенцем [[68]](#footnote-68) .*

*Перед диваном на столике лежало несколько брошюрок разных иностранных журналов; Н. Муравьев, указывая на оные, сказал, что сей год они в складчину выписывают этой дряни на 1800 рублей. Многих их них проспекты были хороши и походят на великолепные прихожие, при­ведшие их в убогие хижины, что у них Revue Britannique походит на исхудавшего толстяка в его прежнем сюр­туке, что статьи выдираются столь бессовестно, что почасту с ними исчезают начало и конец других статей.*

*Когда Юшневский склонил разговор к моему предмету, то Н. Муравьев сказал, что их прежнее общество было весьма худо основано, нынешнее же гораздо лучше, что прежде не было степеней для испытания.*

— *Люди испытывались вне общества, до их принятия в оное,* — *возразил Юшневский.* — *Ныне, конечно, лучше: ныне семь степеней, из коих три последние решительно никого не знают. Глава Союза невидим, как домовой, о котором все говорят и которого никто не видит в звании главы, даже и в первых степенях, кроме принадлежащих к Думе.*

— *Кто письмоводитель Союза?* — *спросил я.*

— *Тоже похожий на домового,* — *сказал, смеючисъ, Н. Муравьев.*

— *В новом,* — *продолжал Юшневский,* — *остается тот недостаток старого, что нет денег.*

— *То есть,* — *подхватил Н. Муравьев,* — *нет воды в реке, В Зеленой книге было написано, что каждый член обязан ежегодно жертвовать двадцатую часть своего дохода, а ныне совсем об этом ничего нет.*

— *Если вы,* — *обратясъ ко мне, сказал Юшневский,* — *достигнете, как я надеюсь, значения, то, во-первых, безумолкно твердите о деньгах. Тут нужны исступленные демагоги, которые жертвовали бы всем: и жизнью, и имуществом, а не монахи, только состязающиеся. Во-вторых, как Юлий Цезарь говаривал, что для достиже­ния верховной власти можно позволить себе все, ибо после можно будет воздать сторицею, то наша Дума должна принять за главное правило, что для сокрушения верхов­ной власти можно позволить себе все, ибо после можно будет воздать сторицею. Нет злодейств, которые могли бы остановить героя на сем пути.*

*Достаточно,* — *сказал я,* — *сих немногих слов для понятия об истинной цели Союза* — *цели, скрываемой низших ступеней, для коих, следовательно, должен быть другой предлог существования Союза.*

— *Разумеется, должен быть и есть,* — *сказал Юшневский.* — *Им говорят, как должно говорить людям, то есть**только об их собственных пользах, говорят, что монархи Европы общими силами подавляют истинное просвещение и все высокое, несовместимое* с *деспотизмом, что общество благонамеренных соединилось для лучшего покровительства дарований в сей век, им враждебный.*

*Сия вечерняя беседа пресеклась Анненковым[[69]](#footnote-69), пришедшим от имени своей жены, звать меня к себе в гости. До сего я не знал, что наши отцы были в Москве соседями и друзьями.*

*Н. Бестужев прислал мне свою портфель с собранием портретов всех освобожденных из Петровского завода государственных преступников, но рассматривание оных оставлено до следующего дня, по неудобности судить о живописи при свете огня.*

Марта 15-го.

*По пути к Юшневскому я посетил Анненкова, где главным предметом разговора были жалобы на расхище­ние посылок и даже денег в канцелярии иркутского граж­данского губернатора. У сего Анненкова уже в третий раз пропадает по 500 рублей, а как он по своей переписке не имеет надобности в губернаторе, то и не молчит.*

*Смешны отзывы господина губернатора о сих деньгах; столь же смешно, что из шести кусков тесемок недо­стает четырех и что все чепчики, все шляпки получа­ются обношенными, а нередко вымытыми.*

*Мы встретили господина губернатора возвращающим­ся из Петровского завода со своею свояченицею Дариею Клей (то ж девица в 40 лет), которая гостила там у своего брата штаб-ротмистра Клея, прибывшего туда лишь сего, 1833 года плац-адъютантом. Анненков сказал мне, что господин губернатор сей раз был в дожах только двух государственных преступников: Трубецкого и Вол­конского, коим обоим дал знать о высочайшем распреде­лении освобожденных ныне 18 человек из Петровского острога в места, весьма отдаленные.*

*Анненков просил меня обедать у него, но я уже дал слово Юшневскому и, не могши медлить, обещался быть в другой раз. У Юшневского после обеда к кофею явился Якушкин, а потом и Вольф. Рассматривая портфель Н. Бестужева, я воспользовался случаем узнать изуст­ные мнения государственных преступников о их собратиях. К сожалению, описания вовсе незнакомых мгновен­но забылись, а вот оставшееся в памяти.*

*Два брата Беляевых[[70]](#footnote-70)* — *исступленные фанатики, мона­хи, каких мало и в монастырях. Смешно слушать, сколь сии преобразователи царств неумны, непроницательны. По знанию английского языка, их заставили переводить историю Гиббона, и тогда как большая часть труда была уже окончена, они вдруг сожгли оный, открыв безверие Гиббона, которого дотоль почитали ревностным христи­анином, врагом лишь еретиков. Они оба недостаточны.*

*Нарышкин набожен до невероятия. Не довольствуясь церковью, молится всегда в алтаре, на коленях и со слезами. По доброте души совершенно святой. Имеет обеспеченное состояние.*

*На мой вопрос: каков человек Муханов? Якушкин со свойственным ему сарказмом без улыбки отвечал: «Му­ханов рыжий человек». «Впрочем, наш,* — *прервал Юшневский,* — *зол и глупо цицеронит, но нам усерден».*

*Одоевский[[71]](#footnote-71)* — *ангельской доброты. Пиит и учен; знает почти все главные европейские языки. По богатству был в Петровском остроге в числе тамошних магнатов. Несмотря* *на богатство, он всегда в нужде, ибо со всеми делится до последнего.*

*Дружинина и Таптыкова, как и всех принадлежавших Оренбургскому обществу, считают посрамлением Петровского острога. Дружинин молод, прост, изрядный малый, а Таптыков во всех отношениях негодяй и уже не молод, лет сорока[[72]](#footnote-72) .*

*Фаленберг пострадал невинно. Вступив в общество пред самым открытием оного, не знал ничего, но, содержась в продолжение следствия на главной гауптвахте и услышав от молодого Раевского (сына известного генерала), что лучше всего признаваться и что Его Величество прощает признающихся, наговорил на себя слышанное от других [[73]](#footnote-73)*.

*Юшневский, оставшись наедине со мною и думая, что я завтра уеду, сам начал говорить о деле, дал мне изготовленный им реестр книгам, которые, как он мог заме­тить из разговоров, неизвестны мне, и которые просил при случае прочесть со вниманием к довершению моего образования[[74]](#footnote-74) . Он жалел, что если я, обманувшись в своих надеждах, не выеду скоро из Сибири, ибо, по его еловом, я уже в тех летах, когда обыкновенными путями невозможно достигнуть значительности, «а теперь сто­ит самое благоприятнейшее время вознестъся предприя­тиями против деспотизма, основанного па одном мнении, которое, уже совершенно подкопанное во всей Европе, ждет лишь решительного удара».*

— *Теперь,* — *восклицает мой жалкий Юшневский,* — *теперь точно тот перелом царской власти, как был в век Лютера для папской.*

*Я, хотя и мог бы с успехом делать ему возражения, но, разумеется, не делал, а напротив, поддакивал на его лад. В это мгновение он приметно был разгорячившись, чего в нем почти никогда нельзя видеть. Я просил сказать мне его мнение о успехе их Союза и настоящей силе оного.*

— *Клянусь,* — *воскликнул он,* — *мы здесь ничего не знаем, и это весьма умно.*

*Все чрезвычайно таинственно: в этом отношении, может быть, еще никогда ничего подобного не было. Верного в Петровском остроге только то, что их один­надцать человек принадлежат Союзу: он, Юшневский 2-й степени, Н. Муравьев, Фонвизин, Якушкин и Трубец­кой 3-й степени, Пущин, Вольф, Якубович, Муханов, Швейковский и Штейнгель 4-й степени.*

— *Никита Муравьев,* — *говорит Юшневский,* — *в Петровском остроге с большим успехом занимается ис­ключительно военными науками и имеет все лучшие, все новейшие книги по сей части. Он, верно, не способен к великому на поле битвы, он может быть нашим Карнотом[[75]](#footnote-75) в кабинете.*

*Храбрый Швейковский* — *отменный подручный испол­нитель, вовсе без теорий, без большой головы. Якушкин и Якубович* — *давно выточенные кинжалы, первый вы­зывался убить покойного императора Александра, а второй метил в Его Величество на площади 14 декабря, что лишь в Петровском порядком объяснилось[[76]](#footnote-76).*

*Вольф и Пущин — прекрасные дипломаты. Фонвизин, /и) учености и обширным сведениям, надежный советник, но только советник, способных рук он не имеет, ленив и беспечен. Штейнгель — просто умный деловой человек, но склонный ко злу. Муханов лишь сам себя считает очень умным. Он был нужен для сношений, без сего не был бы в Союзе.*

*Трубецкой, подло спрятавшийся диктатор, винов­ник неудачи 14 декабря, есть из всех их негоднейший человек для Союза, к которому приобщен в Москве и которому полезен лишь в Петровске своими деньгами, не очень нужными по достаточным средствам Н. Му­равьева. Число братьев в Петровске при надобности легко может быть увеличено, Александром и Артамоном Муравьевыми, Никитой Бестужевым и многи­ми другими, не приобщившимися к Союзу только по неприглашению с одной стороны и сомнению в успехе с другой.*

*К чаю долго дожидались Трубецкого. Он с женою под руку вошел в комнату. При имени делами извест­ного человека как-то по инстинкту всегда образуется идеал об нем: и у меня был идеал Трубецкого; но вовсе непохожий на подлинник, коего неуклюжесть трудно вообразить.*

*После непродолжительной беседы за чаем, среди обыкновенных приветствий и разговоров ни о чем, Трубецкой предложил мне быть к нему поутру. Он распростился со всем этикетом большого света. На мои замечания о Трубецком Юшневский сказал мне, что, по описанию 14 декабря в Les Annales historiques 1825 года, он прозван в Петровском остроге Le singulier Catilina[[77]](#footnote-77) и что будто бы «сия статья сооб­щена в Париж от нашего правительства, ибо в оной прославляется ходатайство государыни императри­цы о мятежниках».*

*Уходя в острог, Юшневский просил меня, чтоб при объяснениях с Трубецким о письмах в Москву и Петербург никак не показывать, что он, Юшневский, говорил мне о генерале Шипове.*

Марта 16-го.

*Находящийся у Юшиевской в услужении ссыльный горного ведомства принес от нее записочку[[78]](#footnote-78) , чтоб мне не мешкать долго на свидании у Трубецкого, к которому он и проводил меня.*

*Странный Катилина своим начальническим тоном весьма отличается от всех других мною виденных госу­дарственных преступников. Самый прием начался при­ветствием о их готовности сделать всевозможное для открытия мне пути вступления в свет, в службу и прочее; что теперь они во мне не имеют надобности, но надеются, что я, рекомендуемый Юшневским как человек умный, смелый и предприимчивый, буду в свою очередь полезен их Союзу и отечеству, для коего они единственно существуют...*

*Он более других щеголяет галиматьею демагогов. Го­воря о нужных предосторожностях, сказал, что и спут­ник мой В[[79]](#footnote-79). подозрителен, ибо при подобных приезжих они никогда не были так свободны, как теперь. Не на­рочно ли тут делается что-нибудь?*

*При приходе его жены, осведомлявшейся у меня о семействе АЛ. Муравьева, он совершенно переменил раз­говор. Трубецкой спросил, не по подозрениям ли в перепи­ске с ними переведен Муравьев в Тобольск? Уверяя, что нет, я рассказал, как было в самом деле.*

*Видя его склонность к посторонним предметам и время обеда, я принужден был обратить его к цели, что, конечно, было невыгодно для меня. После незначительных повторений сказанного он обещался прийти к Юшневскому, куда я и пошел обедать.*

*Юшневский, готовый для меня на все, даже учил, как склонить Трубецкого дать мне купон в Петербург, чему главным препятствием было то, что там я не имею родных, посредством коих мог бы увериться, что предъ­явителем того купона буду точно я, а не другой.*

*Дело**пресеклось обедом, после которого пришел Трубецкой****.*** *Юшневский начал вручением мне купона в Москву*, *о коем я уже знал и при получении коего я сказал Трубецкому,**что желал бы на первом шагу услужить Союзу доставлением чего-нибудь важного; что я искренне изъявляю сие желание по уверению в невозможности подозреватъ меня.*

*Трубецкой с пожатием руки просил меня быть совершенно уверенным, что подозрений на мой счет вовсе нет и у кого из них; что бумаги зазнаемо вверяются лишь братьям четырех первых степеней, а я* — *пятой, и то вновь принятый; что в четвертую степень принять могут лишь в Москве; что я по теперешнему званию всегда подвержен безответственному обыску и, что пуще всего, что мой выезд из Сибири, еще вовсе неопределенный, Бог знает когда будет; а они, верно, прежде будут иметь верный случай переслать все нужное.*

*По неоспоримости сих доводов, я, вынужденный при­знать купон достаточным, благодарил за оный и за доверенность, при чем Юшневский и Трубецкой сказали мне, что по прибытии в Москву я должен письменно в немногих словах уведомить о том К.Ф. Муравьеву с оз­начением, где остановлюсь, и ожидать посещения кого-нибудь ею посланного, который введет меня* ***к*** *ней и другим; а если бы случилось, что сей Муравьевой нет в Москве, то точно так же адресоваться к Н.Н. Шереме­тевой, теще Якушкина, давно меня знающей.*

Таким образом, свой второй большой донос Медокс ловко заканчивает вполне убедительным доказательст­вом в пользу вызова его в Россию. Вохин отвез его доносы в Петербург, там их читали сам царь, его мудрые министры, и все верили заведомому проходимцу, никто не догадался сличить приписываемые Медоксом отдель­ным декабристам документы с подлинными писаниями этих лиц.

Медоксу царские министры верили, а он не верил царским министрам, не только им, их здравому смыс­лу не верил. Боясь, что правительство само не сумеет сделать соответствующих выводов из его доносов, Ме­докс передал ему через Вохина еще краткое настав­ление с указанием, как действовать для уловления крамольников. Этот стратегический план читается с таким же интересом, как и сами доносы. Проявленная здесь Медоксом довольно наивная хитрость все-таки была принята Бенкендорфом и Чернышевым за чистую монету.

НАСТАВЛЕНИЕ МЕДОКСА ПРАВИТЕЛЬСТВУ

*Открытие тайны, конечно, должно иметь основные правила, коих изложение принадлежит высшему прави­тельству, но по вящшей противу других близости к предмету, я считаю себя в обязанности указать на некоторые из сих правил, меж коими главнейшее состо­ит, быть может, в том, что по невозможности совер­шенно скрыть розыски от заговорщиков, верно, весьма бдительных, нужно заставить их думать, будто бы правительство, вовсе ничего не зная о их Союзе, касается лишь семейственной переписки мимо начальства, и то не попав на людей, могущих дать ясное понятие об оной. Надобно чрезвычайно остерегаться, чтоб не тронуть обстоятельств, по коим злоумышленники могли бы до­гадаться, что правительство имеет основательные све­дения.*

*По сему рассуждению отнюдь не должно обнаружи­вать важных подозрений на семейство А.Н. Муравьева, тем более что на оное смотрят, как на барометр. Однако княжну Варвару необходимо вызвать из Тобольска, во-первых, потому, что, будучи на пути сношений с госу­дарственными преступниками и в половинном расстоя­нии от источников сих сношений, она всегда будет на­ходить средства к содействию оным; во-вторых, посред­ством Медокса она может сделаться одним из главней­ших орудий открытия сих сношений. Вызвать ее, как кажется, удобнее всего, приказав взять Богуцкую, един­ственно для маски и нарочно так, чтоб было гласно; потом предписать А.Н. Муравьеву как тобольскому гу­бернатору, что государь император, желая освободить его семейство от беспрестанно возобновляющихся подо­зрений, может быть, вовсе ложных, изволил повелеть княжне Варваре Шаховской немедленно выехать навсег­да из Сибири и жить в своем имении Московской губернии или по произволу в самой Москве, что, верно, не может быть сочтено ссылкою в случае невинности. Всем прочим княжнам Шаховским, кроме бывшей в Иркутске княжны Катерины, позволить гостить у их сестры Прасковьи Муравьевой в Тобольске. Для отклонения подозрений от Медокса нужно одною почтою прежде сего повеления спросить княжну Варвару о чем-нибудь будто по показа­ниям Богуцкой.*

*Медоксу немедленно позволить возвратиться в Рос­сию и предписание о том послать за целый месяц до предписания о выезде княжны Шаховской из Тобольска, дабы они приехали в Москву почти в одно время, где, чтоб не терять оное напрасно, вслед за тем должно сделаться известным отрешение господина иркутского гражданского губернатора, через что самое вместе с другими распоряжениями пресекутся нынешние обыкно­венные пути сношений с государственными преступни­ками, а Медокс с помощью княжны Варвары Шаховской должен проложить новые и, захватив оные в свои руки, показывать все письма, кому приказано будет. Для сего, конечно, надобно сосредоточить сии сношения, и потому необходимо пресечь по возможности все другие пути оных, да и самую переписку чрез III отделение канцелярии Его Величества; в Петровском заводе находящихся жен го­сударственных преступников должно весьма ограничить пределами, с точностью строго предписанными.*

*Для прочного пресечения тайных сношений с государ­ственными преступниками необходимо удалить их всех из мест, близких к Петровскому острогу, и от больших дорог, где всегда найдутся средства к пересылкам. Пред­логом к таковому переселению могут служить их собст­венные жалобы на одиночество, которое, конечно, весьма тягостно, и неудобство мест, им отведенных. Кажется, что в местах отдаленных можно бы селить по нескольку человек вместе, не совокупляя богатых, что, меж прочим, будет полезно неимущим.*

*Разъезды нанимающихся во услужение к женам госу­дарственных преступников, разумеется, должны быть остановлены какими-нибудь отказами или подвергнуты строжайшему рассмотрению. И это сделать очень легко по злоупотреблениям Богуцкой, на кои лишь одни, сколько мне известно, можно ссылаться.*

*Господина иркутского гражданского губернатора дей­ствительного статского советника Цейдлера непремен­но должно отрешить от должности, что сделать весьма удобно по донесению шефу жандармов генерал-губернато­ра Восточной Сибири, который еще прошлого октября 1832 года просил о смене сего губернатора, выказав его беспорядки по губернии Новому губернатору нужно поручить, чтоб из майоров разжалованный Раевский (первый декабрист. — С.П..) не разъезжал по его должности комиссионера питейного откупа, впрочем, не препятствуя для пропитания слу­жить при том откупе. Сей Раевский по сущности своих дел принадлежит к числу государственных преступни­ков, но, быв взят прежде других за семь лет, проведенных в крепостном заключении, и попав под общие узаконения о поселенцах, сделался государственным крестьянином и служит комиссионером в питейном откупе с жало­ваньем 3000 рублей в год.*

*В Петровский завод немедленно послать хорошую по­вивальную бабку, к чему предлогом может служить ка­кой-нибудь разговор о смерти жены Н. Муравьева, слу­чившейся после несчастных родов. Иркутская городовая повивальная бабка не будет требоваться туда, и ее пересылки, если они, как говорят, существуют, пресе­кутся сами собою со сменою губернатора.*

*Купца Шевелева не трогать на время, ибо, может быть, чрез него Медокс будет действовать.*

Хороший план! Ему мог бы позавидовать провокатор и более крупного масштаба, чем Медокс[[80]](#footnote-80) . И правитель­ство поддалось на удочку. Медокс достиг своего.

НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ МЕДОКСА В РОССИИ

Побывав в Сибири, побеседовав с Медоксом, собрав от него записки и документы, ротмистр Вохин предста­вил пославшим его докладную записку, в которой из­ложил свои личные впечатления от знакомства с делом и вполне в соответствии с указкой Медокса предложил развить провокацию дальше. Надо, однако, отметить, что в своих записках Вохин, хотя и очень скромно, предостерегает правительство от безусловного доверия к доносам Медокса, указывая на возможность подлогов с его стороны.

Но Николай и его жандармы так хотели верить существованию нового заговора! Не помогли и предо­стережения А.С. Лавинского, обидевшегося на то, что все дело велось помимо него. Генерал-губернатор Вос­точной Сибири заявлял в письме, переданном предсе­дателю Государственного совета князю В.П. Кочубею, что он «к своему огорчению видит себя поставленным в какое-то недоверие у высшего правительства, ибо присланный в Иркутск гвардии ротмистр Вохин совер­шенно скрыл от него поручения, какие имел по озна­ченному предмету, чего, конечно, не мог бы сделать иначе как по приказанию. Притом скрытность сия не могла не быть безуспешною: ибо коль скоро секрет Медокса единожды был уже открыт генерал-губернато­ру, то и цель сношений с ним присланного из столицы чиновника сделалась тотчас очевидною, да и сам Ме­докс, имея уже в то время полную к генерал-губернатору доверенность, открывал ему все, что происходило между ним и Вохиным, доказательством чему служат пред ставленные записки, писанные собственною рукою Ме­докса».

Поэтому Лавинский просил вывести его из недоуме­ния о причине такой недоверчивости. Что же касается приведенной в конце предыдущей главы записки Ме­докса, то по поводу заключающихся в ней предложений «генерал-губернатор имел бы кое-что сказать, если бы не находил себя отклоненным от сего дела».

Лавинский обиделся на правительство и вскоре был отстранен от должности генерал-губернатора, а Медокс обиделся на иркутских военных начальников и вскоре был вызван в Петербург. Обида Медокса связана с его таинственными отношениями с женой декабриста Юш-невского, которую он после отъезда из Иркутска княж­ны В.М. Шаховской хотел сделать орудием своих про­вокационных авантюр среди декабристов.

Вскоре после отъезда Вохина из Иркутска, в мае 1833 года, в пределах Сибирского генерал-губернатор­ства возникла переписка по поводу сношений Медокса с государственными преступниками. В переписку было втянуто и военное начальство Медокса, которое вообще было смущено тем, что этот загадочный рядовой, при­сланный по суду на службу в Омск (Западная Сибирь), проживал в Иркутске (Восточная Сибирь) и был в сно­шениях с высшими государственными чинами и с важ­ными государственными преступниками.

Переписка эта велась по «делу о рисовальной бумаге, присланной от жены государственного преступника Юшневского к рядовому Медоксу». Иркутский губер­натор Цеидлер послал генерал-губернатору Лавинскому секретную бумагу, в которой сообщал: «Комендант Нерчинских рудников генерал-майор Лепарский доставил ко мне восемь листов рисовальной бумаги, посланные от жены государственного преступника Юшневского служащему в линейном Сибирском батальоне № 13 ря­довому Роману Медоксу. Но так как до сего времени не было между ними никакой переписки, известной начальству, и желая знать, на какой предмет прислана ему бумага, через какие посредства возымел он сноше­ние с женой Юшневского, то есть сам ли просил ее или через людей, кого и когда именно; предлагал я коман­диру линейного Сибирского батальона № 13, дабы он, взяв с рядового Медокса на законном основании объяс­нение, представил оное ко мне. Полученное же ныне объяснение Медокса я почел долгом представить при сем вашему высокопревосходительству на благорассмотрение и имею честь испрашивать о сем вашего разре­шения».

ОБЪЯСНЕНИЕ МЕДОКСА ВОЕННОМУ НАЧАЛЬСТВУ

*С государственным преступником Юшневским я по­знакомился во время моего заключения в Шлиссельбургской крепости, где люди в один день гораздо искренне заговорят, нежели в многие годы где-нибудь инде. С женою его я, давно знакомый, еще в Москве виделся и здесь в Иркутске во время ее проезда к мужу. Она знала, что я люблю рисовать и, вероятно, по рассуждению, что на­ступает лето, благоприятствующее снимать виды с натуры, послала мне хорошей рисовальной бумаги, како­вой, всяк знает, что в Иркутске нельзя найти в лавоч­ках.*

А.С. Лавинский был очень смущен этим неожидан­ным вмешательством местных властей в отношения Медокса с декабристами и пытался прекратить непри­ятную историю, сообщив губернатору И.Б. Цейдлеру, что «обстоятельство относительно рисовальной бумаги не заключает в себе ничего особенного». А Медокс обиделся всерьез и послал А.Х. Бенкендорфу жалобу на военное начальство. Из этой жалобы видно, что между Медоксом и Лавинским существовала какая-то подозрительная и очень близкая связь, несмотря на приведенные выше сетования иркутского генерал-гу­бернатора. Из нее же видно, что пребывание Медокса в Иркутске было нелегальным и что он все время чис­лился на службе в Омске.

ЖАЛОБА МЕДОКСА НА ВОЕННОЕ НАЧАЛЬСТВО

*Командир линейного Сибирского баталиона №13 гос­подин подполковник Казанцов сего года мая 6-го дня хотел вдруг, без малейшего предуведомления, отправить меня из Иркутска в Омск. Я прибег к господину генерал-губернатору, приказавшему оставить меня для оконча­ния нужных ему рисунков.*

*На другой день господин коллежский советник Кабрит[[81]](#footnote-81) сказал мне, что из Петровского острога Юшневская прислала мне чрез господина генерала Лепарского и ир­кутского губернатора бристольскую рисовальную бумагу, которая для доставления мне была препровождена к господину Казанцову при губернаторском отношении об отобрании от меня сведений о моем знакомстве с госу­дарственными преступниками; на что сей господин Ка-занцов, так же как и господин бригадный командир, опасаясь подобных случаев в своем ведомстве, просили господина губернатора принять обратно его отношение вместе с посланною мне бумагою и известить господина генерала Лепарского, будто бы меня уже нет в Иркутске, причем они и сговорились о немедленной отправке в Омск.*

*Вследствие этого я просил господина генерал-губерна­тора не казаться потворствующим мне в сношениях с государственными преступниками и приказать господи­ну губернатору об отобрании от меня сведений по коман­де, что и было исполнено. Краткий ответ мой представ­лен при губернаторском донесении господину генерал-гу­бернатору.*

*Все дело столь удачно скрывается от всех, что когда я, говоря господину Казанцову о своем знакомстве с Юшневским и его женою, напомнил, что я и ныне видел их, быв в Петровском заводе для письменных дел при В[охине], то он мгновенно отправился с тем к господину бригадному командиру и потом просил не писать этого, думая, что чрез сие можно прогневить В[охина], подвер­гнув его чрезвычайным неприятностям.*

*После такового случая, конечно, было бы неблагора­зумно оставаться под покровительством господина ге­нерал-губернатора в Иркутске; с его согласия отправился я мая 10-го и прибыл в Омск того же месяца 31-го дня [1833 г.].*

Широкую игру вел Медокс. Всех учил, все нити были в его руках. Бенкендорфа учил, как благоразумнее по­ступить с разосланными по каторжным тюрьмам декаб­ристами, чтобы не дать им возможности осуществить государственный переворот, министра внутренних дел учил, как лучше устроить управление Иркутской гу­бернией, Лавинского учил, как лучше обойти иркутских гражданских и военных начальников, чтобы они не догадались об истинной цели его сношений с государ­ственными преступниками. Характерно еще в этой жа­лобе Медокса подмигивание провокатора в беседе с высшим начальством: «Мы-де понимаем оба, что Вохину никаких неприятностей не будет за сношения со мною».

В Сибири с Медоксом историй не оберешься — надо убрать его оттуда. Да он и нужен в столице для раскрытия грозного заговора, для укрепления все еще шатающегося трона Николая Павловича.

Высшие сановники империи втянуты в игру, забо­тятся о Медоксе. 26 августа 1833 года военный министр граф А.И. Чернышев писал генерал-губернатору Запад­ной Сибири И.А. Вельяминову, что государь по хода­тайству А.С. Лавинского, снисходя к прошению родст­венников рядового Романа Медокса в Омске, повелел уволить его от службы с настоящим званием, отпустить на родину, снабдив его надлежащим видом. Через не­делю после Чернышева о Медоксе пишет Вельяминову и шеф жандармов А.Х. Бенкендорф, прося передать отставному солдату 600 рублей, якобы полученных в III отделении от его родственников. Это были деньги на переезд Медокса в Москву и Петербург на предмет спасения престол-отечества.

Наступило торжество Медокса. Пришла пора пока­зать, на что способен этот духовный преемник Мини­на-Пожарского и Жанны д'Арк.

Сам царь заинтересовался им и следит за каждым его шагом. В переписке военных властей (Вельяминов был и начальником войск Западной Сибири) соблюда­ется некоторая дипломатическая скромность по поводу истинной роли омского рядового в общей политике правительства, в переписке внутри жандармского ве­домства это считалось излишним: свои люди, стесняться незачем.

Зная, что Медокс уже выехал из Омска (паспорт ему выдан в Омске 1 октября 1833 года) и что в соответст­вии с соглашением между ним и III отделением он должен поехать сначала в Москву, А.Х. Бенкендорф писал об этом 1 ноября 1833 года начальнику москов­ского жандармского округа генералу СИ. Лесовскому. Введя его в затеянную Медоксом авантюру, начальник III отделения сообщал своему подчиненному: «Дабы удостовериться в новых преступных замыслах государ­ственных преступников и в существовании внутри го­сударства злоумышленного общества и, наконец, дабы предварительно сие изыскание произвести самым секретным образом, учинено по воле государя императора следующее распоряжение: Роману Медоксу под предло­гом просьбы его родственников объявлено всемилости­вейшее прощение и дозволено возвратиться в Россию. Вследствие сего означенный Медокс должен прибыть в Москву, где находятся его родные, и там-то должен он продолжать дальнейшие свои действия к обнаружению злоумышленного общества, буде оно существует...

Медокс умел получить от государственного преступ­ника Юшневского собственной его, Юшневского, рукою писанный купон, который должен служить ему для вступления в общество. Купон сей у сего препровожда­ется. Объяснение знаков, в нем помещенных, означено в особой, у сего прилагаемой записке согласно показа­нию Медокса: ключ — Кат. Фед. Муравьева, Нестор — Юшневский, XIV — Медокс, спираль — С.-Петербург, рядом с ней — знак И.П. Шипова, в конце — знак четырех степеней членов нового тайного общества.

Объяснив, таким образом, вашему превосходитель­ству сие дело, я поручаю вам тотчас по прибытии Медокса в Москву самым секретным образом войти с ним в сношения и, дав ему должное наставление, вру­чить ему прилагаемый купон для предъявления его кому следует и вступления в общество. Таким образом, буде означенный купон окажется не подложно Медок-сом составленным, то сие обстоятельство послужит не­которым образом удостоверением в существовании об­щества и злых замыслов государственных преступников и может вести к весьма важным открытиям».

Напоминая Лесовскому, что «одна лишь непроница­емая тайна сношений с Медоксом может вести к успе­ху», Бенкендорф предупреждает его также, что этот «герой» 1812 года известен за весьма изворотливого и плутоватого человека, и добавляет, что Медокс «в по­следнее время находился в Омской крепости».

СИ. Лесовский понял всю важность затеянного дела и писал Бенкендорфу, что «секретное предписание через нарочного» он получил, «принял оное с должным вни­манием к исполнению и смеет уверить, что с особым верноподданническим стремлением и должною осто-рожностию будет уметь его исполнить».

Медокс прибыл в Москву 5 ноября и проявил себя сразу. Остановился он в одной из лучших тогдашних гостиниц — «Лейпциг», на Кузнецком мосту, с важностью, соответствовавшей его новому положению в административной машине государства, потребовал к себе портного, которому приказал изготовить для него гар­дероб стоимостью в 600 рублей, и отправился изумлять своим блеском родных.

Натешившись вдоволь своим новым положением, теснимый кредиторами, которых он приобрел, по своему обыкновению, очень скоро, Медокс решил пополнить за счет казны свой отощавший карман. Разъезжавший в это самое время по России Иван Александрович Хле­стаков не мог действовать более блестяще в провинции, чем действовал в Москве Роман Михайлович Медокс.

А действовал он так, будто прочитал наставление Гоголя актерам, как играть главного героя «Ревизора»: «Он сам позабывает, что лжет, и уже сам почти верит тому, что говорит. Он развернулся, он в духе: видит, что все идет хороню, его слушают, — и по тому одному он говорит плавнее, развязнее, говорит от души, говорит совершенно откровенно и, говоря ложь, выказывает именно в ней себя таким, как есть... Он лжет вовсе не холодно или фанфароски-театрально: он лжет с чувст­вом; в глазах его выражается наслаждение, получаемое им от этого. Это вообще лучшая и самая поэтическая минута в его жизни — почти род вдохновения».

Медокс обратился непосредственно к московскому генерал-губернатору с письмом, в котором заявлял, что «возвращен из Сибири по высочайшему повелению вследствие государственного тайного обстоятельства на­ивеличайшей важности»; и, проезжая в С.-Петербург, заказал в Москве платье, надеясь, что родные заплатят за него, но они отказываются даже принимать его к себе. Поэтому он просит генерал-губернатора выдать ему 800 рублей или сообщить о нем Бенкендорфу.

Рассмотрев предъявленные ему Медоксом бумаги, Голицын, как он сообщал шефу жандармов, «не мог задержать его для расчета долгов и, приказав выдать ему на дорогу **100** рублей, уговорил кредиторов его подождать». При этом генерал-губернатор просит Бен­кендорфа сделать распоряжение об уплате следуемых с Медокса в Москве денег.

Заявление Медокса о том, что родные отказываются принимать его, — ложь. Генерал Лесовский, осведом­ленный на его счет лучше генерал-губернатора, сообщал шефу жандармов, что Медокс «посетил сестру свою, находящуюся в замужестве за известным картежным игроком А.П. Степановым».

Видя, что московские власти ценят его слишком дешево, Медокс собрался в Петербург. Узнав об этом, генерал Лесовский решил приступить к исполнению поручения Бенкендорфа — завести с Медоксом секрет­ные сношения. 12 ноября он виделся с Медоксом, передал ему купон и предложил войти в сношения с представителями заговора в Москве. Но Медокс не спе­шил с этим делом и заявил, что едет в Петербург для получения дальнейших наставлений, но, как полагал Лесовский, «для выпрошения денег».

Свои впечатления о Медоксе старый жандармский генерал так излагал в сообщении к Бенкендорфу: «Раз­говаривая с ним довольно долго, я не нашел в нем ни одного из тех качеств, кои нужны для тайных сноше­ний, открытий или предприятий, и мне кажется, что все им рассказанное есть большею частию и выдумка, и ложь: мудрено, чтобы столь лукавые бездельники, каковы государственные преступники, содержимые в Петровском заводе, были столько же и плохи, что вве­рили важную для них тайну Медоксу, такому ничтож­ному человеку и по способностям ума, и по предшест­вовавшей жизни его».

На всякий случай, не желая сильно обидеть свое еще более ничтожное по уму начальство, Лесовский допу­скает, что он, может быть, и ошибается, так как не знает всего того, что знает начальство. В заключение Лесовский просит Бенкендорфа приказать Медоксу о всех своих действиях в Москве извещать начальника местного жандармского округа, «ибо часто таковые лю­ди, полагая выслужиться, стараются ложными и лице­мерными внушениями обольстить и вынудить какой-либо неосторожный шаг, которым тотчас воспользовав­шись, доносят со всеми прикрасами, дабы сделать его важным; но тем только прибавляется число жертв».

13 ноября 1833 года Медокс выехал в Петербург. Там его встречал упоминавшийся уже выше Э.И. Стогов, который в это время служил в корпусе жандармов, состоя при самом шефе.

Вот как рассказывает Стогов про эти свои встречи с Медоксом.

«У графа Бенкендорфа всякий день в 10 часов прием просителей, на приеме и я. Лавинский выехал и отказался ехать в Сибирь[[82]](#footnote-82) . В один приемный день у шефа, смотрю и глазам не верю, — Медокс! Он меня не узнал. Я подошел к нему, поздоровался:

— Как вы здесь?

— Я не хотел оставаться без Лавинского.

Это он сказал очень спокойно, как бы сказал: хорошая погода. Вообще, Медокс в зале шефа был как дома. Вышел граф Бенкендорф, подошел к Медоксу, назвал его по фамилии, спросил, давно ли приехал?

— Вчера, — заикаясь, отвечал Медокс.

— Ты будешь жить в Петербурге?

— Ваше сиятельство, в России нет человека без звания, а я никакого звания не имею; прошу пожало­вать мне какое-нибудь положение.

Граф засмеялся и ласково сказал:

— На днях зайди.

Дубельт[[83]](#footnote-83) , видя, что я разговаривал с Медоксом как знакомый, спросил меня, и я рассказал ему об Иркутске, а на вопрос мой Дубельту — кто такой Медокс? — он отвечал:

— А кто знает этого чертова сына? Он и сам сбился с толку.

Через немного дней Медокс явился; граф объявил ему, что государь пожаловал ему звание отставного солдата, на которое и получил свидетельство.

Медокс, казалось, был очень доволен. Я много раз встречал его в щегольском фаэтоне; он раскланивался со мною; я сказал ему мою квартиру; он не сказал мне своей, говорил: «Живу временно, скоро перееду». Ме­докс всегда отлично одет, всегда вежлив и всегда скуп на слова. Отец Медокса был антрепренер труппы акте­ров, какой нации — не знаю, но, глядя на Медокса, я видел в нем англичанина».

Щегольские фаэтоны Медокс нанимал на деньги, отпускавшиеся ему от жандармского ведомства. Сохра­нилась одна из его расписок на такие деньги.



С.И. Лесовский с первого свидания понял Медокса и охарактеризовал его как проходимца. А.Н. Мордви­нов, ближайший помощник Бенкендорфа по III отделе­нию, также сразу распознал в Медоксе авантюриста. К тому же оба они были в близком родстве с двумя видными деятелями тайных обществ. Лесовский — по­бочный сын князя Н.В. Репнина — приходился дядей по матери декабристу С.Г. Волконскому; Герцен гово­рит о Лесовском, что он был не злой и не дурной человек. Мордвинов приходился двоюродным братом А.Н. Му­равьеву.

Несмотря на всю их враждебность идеям декабри­стов, обоим хотелось предотвратить новые страдания, которые готовил сосланным заговорщикам мошенник своей явной выдумкой. Но именно из-за своих родст­венных связей с декабристами оба они не могли дейст­вовать решительно, даже если бы у них хватило граж­данского мужества бороться с провокацией. К тому же Лесовский и Мордвинов были подчинены А.Х. Бенкен­дорфу, который хорошо знал настроение царя и пони­мал, что Николаю нужен новый заговор декабристов для оправдания своего постоянного страха перед ними.

Приходилось предоставить Медоксу свободу дейст­вий в надежде на то, что его игра скоро разоблачится сама собой, и вскрывать перед Бенкендорфом все оче­видные промахи авантюриста в качестве агента жан­дармского ведомства. Так они и делали. И если бы нити всех козней Медокса после выезда его из Сибири не находились в руках этих двух людей, то, может быть, его авантюра причинила бы еще более неприятностей и даже страданий томившимся на каторге декабристам и оставшимся в России их родственникам.

А Медокс продолжал упражняться в писании проек­тов раскрытия заговора. Разъезжая в Петербурге в ще­гольских экипажах и проживая отпускавшиеся ему из государственного казначейства средства в лучших гос­тиницах и ресторанах, он на досуге составил для Бен­кендорфа новую записку (от 22 ноября 1833 года) о лучших способах уловления крамолы. Не забывал он и себя, предлагая заменить собой все III отделение в об­ласти надзора за декабристами. Конечно просил денег.

ЗАПИСКА МЕДОКСА О РАСКРЫТИИ ЗАГОВОРА

*Для удобнейшего раскрытия известного общества не­обходимо пресечь по всей возможности ныне существую­щие пути сношений с государственными преступниками в Петровском остроге, дабы тем вынудить их одномышленников в Москве прибегнуть ко мне, знакомому в том остроге и сейчас приехавшему из Сибири,* — *прибегнуть для приложения новых путей. Нельзя ожидать, чтобы люди неглупые без надобности, без пользы стали откры­вать тайны. Посему-то в предположениях, мною в Ир­кутске сообщенных адъютанту военного министра, меж­ду прочим излагалось:*

*Сменить иркутского гражданского губернатора Цей-длера, главного виновника послабления. Пока он там, всегда найдутся средства. Богатые иркутские купцы, их комиссионеры и приказчики беспрестанно ездят в Москву, где их очень умеют отыскивать; а они, разуме­ется, не отказываются от чести услужить своему гу­бернатору доставлением посылок, которые он отправля­ет в Петровск вместе с получаемыми по почте. Добрый генерал Лепарский не может отличить одни от других. Американская компания всю зиму при своих транспор­тах доставляет в Иркутск по нескольку возов с посыл­ками государственным преступникам. Весьма бы кста­ти, если б о смене господина Цейдлера известилось в Москве по газетам недели через две после моего прибытия туда, то есть в то время, как я буду знакомиться с Союзом.*

*Княжну Варвару Шаховскую вызвать из Сибири поч­ти столь же нужно, как и господина Цейдлера, ибо тем уже**наверное пресекся бы прежний главный путь сношения, и мне в Москве она с первого дня доставила бы полную доверенность в кругу Е.Ф. Муравьевой; но теперь вскоре это сделать конечно нельзя, тем более что для отклонения подозрений от меня надлежит начать с известной полячки Богуцкой: выбрать из ее показаний что-нибудь ей лишь с княжною известное и употребить то предлогом.*

*Я смею думать, что доброго, в своем роде единствен­ного А.Н. Муравьева, верно ни малейше не причастного новым злоумышлениям, можно перевесть в одну из рос­сийских губерний. Весть об этом чудесно усыпила бы Е.Ф. Муравьеву с ее братиею, и княжна скоро была бы в Москве, ибо А.Н. Муравьев, ненавидя Сибирь, поторопит­ся выехать.*

*Юшневский, отдавая мне купон при Трубецком, ска­зал, что они предупредят К.Ф. Муравьеву и что я пись­менно должен уведомить ее о себе с показанием места своего жительства и ожидать ее ответа. Я точно так и сделаю, не теряя нисколько времени.*

*Вероятно, не иначе мне будет можно вдруг снискать доверенность Союза, как указанием новых путей сноше­ния с государственными преступниками. Для сего я могу найти на московской бирже знакомых иркутских купцов или их приказчиков и с ними переслать прямо верхнеу-динскому купцу Шевелеву для доставления в Петровский острог; но правительство одобрит ли сие средство, и особенно в таком случае, когда нельзя будет заглянуть в посылку? Само собою разумеется, что при возможности оная скрытно доставится мною генералу Лесовскому, которому, как он сам сказал мне, нужно иметь инст­рукцию по сему предмету.*

*В одной из последних статей моей иркутской записки упоминается коллежский секретарь Джулияни: служив в канцелярии генерал-губернатора Восточной Сибири, он был исключен из оной за пересылку писем, как помнится, от Трубецкого и Давыдова и по высочайшему повелению отдан под надзор иркутской полиции; впоследствии про­щенный, был ревизором поселений и перед самым своим выездом из Сибири ездил за Байкал. Теперь я узнал, что он служит в канцелярии генерал-кригскомиссара [?]. Я желал бы с ним повидаться, а еще более* — с *князем Валентином Шаховским, ныне находящимся здесь, в С.-Петербурге.*

*Будучи вовсе без денег и уже задолжав в Москве, я вынужден просить о выдаче мне до сделки с родственни­ками сот пяти рублей. В столице без денег нет возмож­ности прожить три дня и не попасть в приключение.*

*Ваше превосходительство изволили сказать, что меня хотят отправить в Москву с жандармом: это, конечно, неудобно. Мне едва ли удастся скрыть от родных образ своего возвращения. Один из моих зятей, надворный со­ветник Степанов (который бывал в числе главных мос­ковских игроков), имеет в Москве большие связи, а осо­бенно со всей молодежью высшего круга. Его мнение мо­жет быть мне и полезно и вредно. Я желал бы отпра­виться в дилижансе, как приехал сюда.*

Лесовский понимал Медокса и видел насквозь все его плутни, Мордвинову было ясно, что Медокс ника­кого заговора не откроет, а Бенкендорфу все его записки казались убедительными. А может быть, и не казались, надо было, чтобы казались. Во всяком случае, Бенкен­дорф с разрешения царя поддерживал авантюриста и давал ему возможность развивать провокацию.

Шли недели, шли месяцы, Медокс блаженствовал: жил на свободе, одевался у лучших портных, заводил романы всюду, где проезжал, получал деньги от царских министров и губернаторов и дурачил их вовсю. И, как Хлестаков Тряпичкина, извещал сибирских друзей о своих успехах в столицах и о жизни в эмпиреях. А бедные провинциалы умилялись, читая его письма, и почтительно просили устроить их на службу в ЕвропейскойРоссии, что ему, конечно, очень легко сделать при его связях с министрами.

Продолжал Медокс свои попытки втянуть в авантюру и петровских декабристов, действуя через М.К. Юшневскую. Письма его к ней не сохранились, но вот письмоЮшневской к Медоксу, относящееся к описы­ваемому здесь времени.

ПИСЬМО М.К. ЮШНЕВСКОЙ К МЕДОКСУ

*От всей души поздравляю Вас, любезный Роман Михайлович, с прекращением ваших страданий. Не могу изъяснить Вам, сколь искренне обрадованы мы были оба, услышав о сем, и сколько были растроганы, узнав, что в самые первые минуты вашей радости, когда человеку ественно забывать все имеющее отношение к протекшим дням скорби и бедствий, Вы вспомнили обо мне. Внимательность Ваша служит верною порукою в посто­янстве ваших чувствований и доброго расположения. Прошу Вас быть уверенным, что я умею ценить их и ответствовать постоянною взаимностью.*

*Уведомте меня, как прибыли Вы восвояси и как про­водите время после примирения вашего с судьбою. Что до нас касается, то единообразие нашего здесь быта так постоянно, так свободно от малейших изменений, что нередко случается не только смешивать дни, но даже принимать одну неделю за другую. Здоровье мое стало несколько поправляться. Но муж мой едва начинает чувствовать облегчение от опухоли на глазах, которую носил долгое время.*

*С нетерпением будем ожидать известия об Вас, ибо Вы можете быть уверены, что мы оба принимаем в Вас родственное участие и порадуемся искренне всему, что составляет Ваше счастие.*

*Простите, любезный Роман Михайлович, желала бы побеседовать с Вами подолее, но должна отказать себе в этом удовольствии до получения Вашего уведомления, что письмо мое дошло к Вам в новое ваше пребывание. Пишите мне, как обыкновенно все пишут, — на имя Ивана Богдановича Цейдлера. Будьте здоровы, счастли­вы и живите с милыми Вашими родными в благополучии.*

*Мария Юшневская*

833 года. Петровский завод.

На конверте адрес: *Его благородию Роману Михайло­вичу Медоксу. Тульской губернии, Каширского уезда, в село Притыкино.*

Так ясно видно из этого письма, что Медокс старался вызвать Юшневскую на сообщение ему какого-нибудь частного адреса для их переписки, якобы по поводу влюбленности Медокса в «страстную польку». Но соро­катрехлетняя Юшневская никакого романа заводить с ним, по-видимому, не желала и адреса никакого дать не хотела. Переписка ее с Медоксом основана была, очевидно, на излишней доверчивости сентиментальной женщины, жалевшей Медокса за его страдания, кото­рые он умел так хорошо и красочно изобразить, признательной ему за сочувствие, которое он выказывал к положению декабристов. В Дневнике Медокс много раз говорит о своей ненависти к деспотизму в расчете *на* то, что записи эти попадутся на глаза А.Н. Муравьеву и В.М. Шаховской.

Старался он также приплести к делу и А.Н. Муравьева**,** переписываясь из Петербурга и Москвы с лакеями тобольского губернатора.

Так жил Медокс в эмпиреях, дурачил Бенкендорфа, не мог обмануть декабристов, тратил деньги, получае­мые из III отделения — от шефа жандармов или по его поручению от Лесовского. Но денег ему давали мало по его потребностям. Приходилось добывать их другими путями.

И Медокс задумал жениться, конечно, на богатой. Женитьба Медокса неотъемлемым звеном входит в цепь всей его авантюрной деятельности в Москве, куда он выехал из Петербурга в декабре 1833 года. Ярко и красочно изображена жизнь Медокса в Москве за этот период в записках СИ. Лесовского к А.Х. Бенкендор­фу, которые докладывались последним самому Николаю Павловичу.

«Я весьма часто имею свидания с Романом Медок­сом, — пишет СИ. Лесовский шефу жандармов, — для получения от него сведений по известному вам делу и **через** устроенное мною за ним секретно самое бдитель­ное наблюдение слежу каждый шаг его; он также и сам дает мне знать о своих действиях. За всем тем нет еще в виду малейших даже признаков к достижению цели, которая бы доставила хотя только надежду — открыть существующее будто бы здесь общество злоумышленников.

**Все,** доселе мне доставленные Медоксом сведения — если им верить, — ничего иного не заключают в себе, одни свидания его с живущими в Москве родственниками государственных преступников, ничего не значащие и не заслуживающие внимания разговоры его с и что родственники сии, по словам Медокса, изыскивают прочного средства: иметь с преступниками надежное сношение. Вот главное и самое важное открытие Медокса, которое он твердит мне при каждом объяснении своем, но и это только еще желание родственников, желание, не приведенное в действие, и, наконец желание, которое можно питать, не делая заговора против правительства и не будучи преступником, а увлекаясь лишь состраданием, поселяемым самой при­родой; следовательно, желать знать родителям — о по­ложении сына, сестре — о положении брата, и изыски­вать средства к услаждению их горести без всякого злого умысла, по мнению моему, не есть еще тягчайшее преступление и заговор против правительства».

Сообщая Бенкендорфу подробности о действиях Медокса, Лесовский приводит их в поденных записях, конечно, со слов самого Медокса: «Отправившись из С.-Петербурга в Москву, Медокс имел спутницею себе в дилижансе Каролину Кузьмину, которая ехала будто бы оттуда для свидания с матерью Никиты Муравьева и между разговорами дорогою расспрашивала у Медокса о преступниках, в Петровском остроге содержащихся, в особенности же о Муравьеве[[84]](#footnote-84) .

По прибытии в Москву Медокс был у Н.Н. Шереме­тевой, видел там дочь ее, Якушкину, с которою имел беспрерывные разговоры о Петровском остроге и кото­рая, между прочим, сказала, что они давно ожидают Медокса, что она уведомит о прибытии его К.Ф. Му­равьеву. А через два дня объявила, что К.Ф. Муравьева опасается принимать его, Медокса, у себя, потому что за нею смотрят строго, напоследок прибавила сими словами: «Как в продолжении праздников наши соби­раются все в Москве и имеют заседания, то об вас им скажут».

29 декабря, быв с князем Валентином Шаховским у сестер его княжен Варвары и Клеопатры, живущих у Кругликовой (урожденной графини Чернышевой — родной сестры покойной жены Н. Муравьева), увидел там К.Ф. Муравьеву, которой был рекомендован Ша­ховским, но она вскоре ушла. Взойдя же в покои самой Кругликовой, нашел там статского советника князя Николая Касаткина-Ростовского и А.Ф. Левашова[[85]](#footnote-85); после разговора с ними и князем Шаховским о Сибири и Петровском остроге князь Касаткин сказал Медоксу на ухо: «Время предъявить ярлычок петровских братьев». Медокс изъявил готовность быть полезным им, но более ничего не было.

15 января я вручил Медоксу купон, а 18-го числа он, бывши у князя Шаховского, спрашивал, время ли доставить К.Ф. Муравьевой купон из Петровска и кто глава Союза? Но Шаховской отозвался, что это не его дело, что Муравьева теперь уже не примет купона, советовал Медоксу ничего не спрашивать и быть скром­ным, потому что хотят сделать ему большое доверие.

23 января у князя Касаткина был означенный выше Левашов; Медокс по приглашению князя приехал тоже к нему и, отзвав его, Касаткина, в сторону, показал купон, говоря, что отдаст оный тогда, когда увидит, что Союз — не игрушка, а князь Касаткин на сие отвечал, что это скоро он увидит, что они к нему имеют особенное доверие и будут поступать с ним совершенно исключительно, что купон должно непременно отдать, что это давно бы пора сделать и что без этого все идет непорядком.

23 февраля по приглашению Левашова Медокс был у приехавшей из Харькова полковницы Бердяевой, где виделся со служащим в Казанском драгунском полку полковником Обнинским[[86]](#footnote-86) и Дмитрием Николаевичем Чертковым, в сем же полку до отставки служившим, о коих Левашов отзывался Медоксу, что оба они отменно усердны делу, а Обнинский, говоря Медоксу о Петров­ском остроге и Союзе, так напоследок выразился: «На­ши казанцы понадежнее Пестелевых вятчан, у нас не будет Майбороды»[[87]](#footnote-87) .

Более примечательных сведений Медокс мне не до­ставлял, невзирая на частые мои настояния.

Теперь, по объявлении ему приказания вашего сия­тельства, он говорит, что по случаю отречения Муравь­евой от сообщения с ним купон по совету ее отдан князю Касаткину-Ростовскому, что последствием сего была просьба к Медоксу князя Касаткина и прочих выше­описанных особ, дабы изложил свои мнения о удобнейшем сношении с Петровским острогом, что Медокс сие исполнил и познакомил их с приезжавшим сюда и опять уехавшим иркутским гражданином коммерции совет­ником Петром Басниным, которого уговорили достав­лять в острог посылки под видом благотворении содер­жащимся там, что князь Касаткин изготовил уже по­сылку в трех ящиках и дожидается прибытия в Москву Баснина, возвращающегося с Ирбитской ярмарки и остановившегося за настоящею распутицею в Казани; в заключение же Медокс по-прежнему утверждает, что донос им сделан невыдуманный и основан на письмах, ему в Иркутске попадавшихся, что, делая оный, руко­водствовался не одним желанием освободиться из Си­бири, а и верноподданническою обязанностью к монар­ху, оказавшему ему милосердие освобождением еще прежде из Шлиссельбургской крепости, но что в вось­мидневный срок не находит иных средств выполнить поручение, как явно отобрать у князя Касаткина по­мянутые ящики, в коих надеется найти все искомое». «Впрочем, — говорит Лесовский в другом месте, — невзирая на ничтожность настоящих открытий Медокса, обещавшего многое...[[88]](#footnote-88), я наружно показываю пол­ную веру к обещаниям его в открытии злоумышленного общества, которым почти ежедневно он старается меня обольщать, но в душе — признаюсь вашему сиятельст­ву — имею сомнение, чтобы сей доноситель в состоянии был подтвердить донос свой на самом деле и чтобы в Москве существовало тайное общество между родствен­никами государственных преступников, кои — как и мне давно известно — стремятся только знать о жизни сих последних в местах ссылки их и доставлять им нужное к лучшей и безбедной жизни.

А потому я осмеливаюсь повторить мнение свое, изъясненное в докладной записке моей от 13 ноября прошлого, 1833 года, что Медокс сделал означенный донос, если не совершенно им самим выдуманный, то, по крайней мере, по одним токмо подозрениям, а может быть, в намерении выслужиться перед правительством и получить какую-либо награду или же извлечь выгоды свои посредством сделанной ему доверенности.

В сей последней мысли еще более утверждает меня выгодный брак Медокса, совершенный в прошлом месяце: он женился на девице Александре Сергеевне, падчерице служащего в здешней городской думе секре­тарем Ивана Ивановича Смирнова, который дал за нею в приданое: дом, на десять тысяч рублей разного платья и вещей, тысяч шесть наличными деньгами и сверх того предоставил по смерти своей получить им все свое имущество.

Немудрено, что брака с сею богатою невестою Медокс достиг через происходящие у него по настоящему делу связи с родственниками государственных преступни­ков, людьми, по роду и богатству всеми почти знатными, которые могли познакомить его с другими, не менее почетными особами и сим дать об нем Смирнову понятие как о человеке, имеющем большой вес в лучшем кругу публики.

Равным образом и то могло случиться, что Медокс достиг означенного брака, показывая себя богатым; для чего у тех же особ ему легко было выманить взаимообразно или под другим предлогом нужные деньги, кото­рые он и у меня уже несколько раз перебрал — и все будто бы для известного предприятия.

Все сии обстоятельства, как весьма мало заслужива­ющие внимания и весьма много далекие от главного предмета дела сего, я почитал излишним доводить до сведения вашего сиятельства; но ныне, тщетно ожидая со дня на день от Медокса важнейших открытий, относящихся к самому существу затеянного им дела, имею честь повергнуть оные благоусмотрению вашего сия­тельства и почтеннейше доложить, что Роман Медокс живет теперь с молодою женой в квартире, нанимаемой за 500 рублей в год на Плющихе, в доме княгини Марии Алексеевны Голицыной, и после поездки в С.-Петербург из Москвы никуда не отлучался».

И Бенкендорф, и царь сильно разгневались на Медокса за то, что он осмелился жениться без их разрешения. «Как он мог жениться без позволения?!» — написал Бенкендорф на этом докладе Лесовского и сообщил последнему (26 марта 1834 года), что царь требует подробных сведений о всех московских делах Медокса.

Надеясь, что если не министры, то хоть сам Николай Павлович поймет, что Медокс ловко морочит их новым заговором, Лесовский в одной из своих докладных записок с коварной издевкой предлагает Бенкендорфу со свойственною ему «прозорливостью» разобраться в деле. «Я призывал Медокса, — пишет Лесовский, — и убеж­дал его признаться со всею откровенностью, если сде­ланный им донос был вымышлен; но все убеждения мои в сем случае остались недействительными. Дабы вашему сиятельству дать совершенное понятие о сих доставленных мне Медоксом сведениях, я ныне долгом счел описать здесь в кратком виде более примечатель­ные действия и разговоры его на тот конец, что ваше сиятельство прозорливостью своей и по предшествовав­шей жизни Медокса (которая мне вовсе неизвестна), может быть, извлечете обстоятельства, заслуживающие

внимания».

Что касается женитьбы Медокса, то Лесовский в объяснении по этому поводу остроумно доказывает сво­ему начальству, что оно вообще было обойдено жуликом вследствие того, что поощряло его провокационную за­тею и само вело нечистую игру со своими подчиненны­ми. «Дозволения на брак он ни у кого не испрашивал; я знал еще о начальном сватовстве его с девицею Смирновою, но не считал себя в праве препятствовать в том; ибо в предписании вашего сиятельства от 1 ноября 1833 года сказано только, что Медокс был рядовым в Иркутске и потом всемилостивейше прощен с дозволе­нием возвратиться в Россию; но какое звание он должен носить на себе или к какому сословию принадлежит, равно какие преступления предшествовали ссылке его, я не знал и доселе не известен. А потому считал его вступившим во все права и свободным располагать ру­кою своею без испрошения разрешения».

Так и довел Лесовский дело до его естественного разрешения. Царь лучше всех других знал цену про­зорливости Бенкендорфа и стал наконец понимать, что он и его министры являются пешками в руках прохо­димца. Приказано было ускорить развязку истории с новым тайным обществом, и III отделение предложило Лесовскому дать Медоксу восьмидневный срок на вы­яснение дела, предварив его, что в случае неподтверж­дения доноса он будет отправлен обратно в Сибирь и вообще строго наказан.

Лесовский понимал, чем кончится такое предварение Медокса, но должен был выполнить приказание началь­ства, а через два дня после своей беседы с Медоксом ему пришлось сообщать Бенкендорфу о побеге разоблачителя нового заговора. 5 апреля 1834 года московский жандармский генерал писал своему шефу, что хотя им «тщательно усугублено было секретное наблюдение за Модоксом так, что соглядатаи знали о всех выездах его и, так сказать, провожали его на ночь в квартиру, но при всем том он успел скрыться из Москвы, и столь хитрым образом, что сего никак невозможно было пред­видеть надзирающим, а жена его и не помышляла о том-.

Вот как описывает Лесовский его побег: «Отправив­шись 3-го числа сего апреля в 12 часов дня с женою к ее крестной матери, Медокс часу в седьмом вечера оттуда поехал один, сказав жене, что едет навестить сеструсвою Степанову и что за нею пришлет того же извозчика, которого, доехав до Пречистенки, действи­тельно послал за женою; для себя же взял другого ему попавшегося извозчика, с коим доехал до Малого теат­ра, и также отпустил, а сам пошел пешим к улице Лубянке — и после того доныне не являлся в свою квартиру**...**

Хотя Медокс выехал из дома без всяких приготов­лений в дорогу и в одном обыкновенном платье, но как из шести тысяч рублей, взятых им в феврале в приданое зa женою и хранившихся всегда у него, в доме не оставлено ничего, то наверное можно заключить, что он бежал, вероятно, чувствуя себя не в состоянии подтвердить донос свой истрашась быть отправленным за то опять в Сибирь».

Опять пошли циркуляры по всей России о поимке Медокса, опять рассылались его приметы, опять им занимались все высшие должностные лица империи.

Казалось бы, пора убедиться в лживости доносов Медокса о существовании нового заговора. Но Бенкендорфне сдавался. Он и после этого принял на веру сообщения Медокса в записке Лесовского о Касаткине-Ростовском и других участниках тайного общества и велелвзять их в обследование, поручив все дело специальному штату жандармов и сыщиков под особым руководством ближайшего помощника Лесовского.

Играопять началась. В интригу были втянуты новые лица, в их числе известный приятель Пушкина Гр. Ал. Корсаков.

Особеннолюбопытна история с князем Касаткиным-Ростовским. Это был человек не только далекий от всяких заговоров, но вполне убежденный монархист и богомол. Он даже не был знаком с семьями сосланных декабристов и не имел с ними никаких посредствующих связей. И вот за ним по пятам гнались в течение нескольких недель шпики, отмечали каждый его шаг, взяли под надзор всех его чад и домочадцев, окружили его московский дом и подмосковную деревню какой-то невидимой, но явно осязаемой осадой. Касаткин-Рос­товский чувствовал, что его впутывают в какие-то сети, старался высвободиться из них — бесполезно. В Москве старались распутать узел — в Петербурге его запуты­вали, но так как Медокс находился в это время в бегах, то некому было направлять дело в соответственном смысле, и оно после продолжительной канцелярской переписки прекратилось само собой.

А Медокс блаженствовал на свободе. В то время как его искали все губернаторы и все начальники жандар­мских округов, он свободно переезжал с места на место и весело проживал женино приданое, придумывая но­вые способы дурачить III отделение. В делах о нем есть записки от всех губернаторов Центральной России, со­общавших, что они ищут Медокса и не могут его найти, а Медокс объявился сам, и именно там, где его безус­пешно искали.

5 июня 1834 года он послал СИ. Лесовскому из города Старый Оскол письмо, в котором весело раскла­нивался с жандармским генералом.

ПИСЬМО МЕДОКСА ЛЕСОВСКОМУ

*Ваше превосходительство Степан Иванович! Вы, ко­нечно, браните и, может быть, очень, очень браните меня за отъезд из Москвы, в которую я через несколько дней вслед за сим возвратившись, своими успехами по извест­ному вам обстоятельству превзойду все ожидания... По­жалуйте, примите сии строки доказательством жарчайшей готовности быть полезным и того глубочайшего почтения, с коим имею честь быть, милостивый государь, вашего превосходительства всепокорнейшим слугою.*

*Роман Медокс.*

Раскланялся Медокс с искавшими его жандармами, всполошил их, весело помахал им ручкой, сделал эта­кий реверанс и снова исчез.

Ведомства снова переписывались о нем, а он из Кур­ской губернии покатил на Кавказ, с которым у него было связано так много хороших воспоминаний. Ездил Медокс быстрее царских курьеров, развозивших цир­куляр о поимке его, и бедным губернаторам приходи­лось только отмечать его проезд через их владения, либо благополучно для местных жителей завершивший­ся, либо ознаменованный каким-нибудь уголовным де­янием, главным образом в области позаимствования из местного казначейства или из частных карманов.

Сообщали о его проезде из Воронежа, Тамбова, Пензы, Симбирска, Саратова, Курска, Орла, Полтавы, Екатеринослава, области Войска Донского. Когда однажды Мордвинов представил Бенкендорфу такой перечень мест, посещенных нашим героем, с пометкой: «Из сей бумаги изволите усмотреть, как Медокс путешествовал», — шеф жандармов надписал на докладе: «Оставить до арестования Медокса и потом нужно будет допросить и исследовать подробно все его поездки и причины оных».

Граф Бенкендорф все еще надеялся на что-то в смысле раскрытия заговора. Во всяком случае, в отношении к декабристам он сообразовал свои действия с сообщени­ями Медокса о новом тайном обществе. Сохранился в бумагах по делу Медокса изготовленный по приказанию Бенкендорфа доклад, относящийся к этому времени и направленный к изменению судьбы собранных в Петровском заводе декабристов в сторону ухудшения.

«Зловредные против государства замыслы 14 декаб­ри 1825 года пресечены строгими и решительными ме­рами. Одни из преступников понесли заслуженную ими казнь, другие сосланы на каторгу, и правительство, осуждая их на работы, облегчило тяжкую участь их, объединив их в одном месте заточения, дозволив женам к ним приехать, получать известную сумму денег и пр.». Отмечая далее, что если одна цель правительства - наказать виновных — достигнута, то другая — отнять у себя всякое беспокойство на счет замыслов, впредь быть могущих», совершенно не достигнута, доклад подчеркивает, что корень этого беспокойства в единении злодеев в одном месте», благодаря чему они «составляют, так сказать, тайное общество».

В сем положении желательно бы найти средства переменить столь неудобный порядок и поставить правительство в возможность быть совершенно со стороны всех замыслов преступников сих успокоену...» И сред­ство совершенного успокоения правительства доклад видит в расселении наиболее злобных преступников в разные крепости отдельно подобно тому, как это дела­ется в Австралии, и т.д.

Таким образом, в связи с провокационными доно­сами Медокса затевалась и едва не была проведена в жизнь мера, которую сами декабристы в своих воспо­минаниях считали наиболее гибельной для себя. К счастью, в это время Медокс сам причинял Бенкен­дорфу много беспокойства, и начальник III отделения положил на докладе следующую резолюцию: «Когда получим сведения по делу Медокса, то соберемся, господин Чернышев, Адлерберг и я, для приведения этой записки в исполнение, елико местные обстоя­тельства позволят».

Имел Бенкендорф какое-то мистическое предчувст­вие, что Медокс еще завяжет связи если не с декабри­стами, то с их семьями. И действительно, в эту свою поездку по России наш авантюрист почти целый месяц прожил в имении сестер первого декабриста В.Ф. Ра­евского и все старался исполнить данное им Лесовскому обещание — «превзойти все ожидания».

Конечно, средство для этого он применил испытан­ное, то самое, которым пользовался, когда влез в дом А.Н. Муравьева: *влюбился* в младшую сестру Раевского Марию. Но в глухой курской деревушке Медокс не мог даже вскрывать переплеты религиозных книг. Здесь трофеями его были записочки от соблазняемой девы и

жареная курица.

Когда он уехал от сестер Раевских, старшая из них, Любовь, писала в Москву своей подруге, что Медокс побыл у них месяц, «томился у ног Марии, влюблен до сумасшествия, сватался за нее каждый день и теперь едет от нас с потерянным сердцем и растерзан­ной душой». Конечно, Медокс не рассказывал Раев­ским про свою московскую женитьбу. Самой Марии он писал уже из Москвы, когда добровольно вернулся туда и в избушке на Воробьевых горах ждал ареста. Вот это письмо — оно вполне в стиле страниц Днев­ника за 1830—1831 годы, посвященных любви к В.М. Шаховской.

ПИСЬМО МЕДОКСА М.Ф. РАЕВСКОЙ

*Пятница [начало июля 1834 года].*

*Мой милый, мой прекрасный друг Мария Федосеевна. Наконец после семидневного неприятнейшего пути пишу к вам из Москвы, которую люблю, как дитя свою няньку. Не отдыхая, сел писать к вам, грустный, ибо еще не могу ничего сказать вам приятного о себе; но едва взялся за перо и, пробуя оное, написал; Marie, как вдруг прошла моя грусть, и я, мрачный, стал весел. Что это за вол­шебство! Посмотрите, как искры, ударом стали о кре­мень иссеченные, во тьме осветят в вашей спальне зер­кало, рукомойник, графин, глаза Нины* ***и*** *прочее, так точно при блеснувшей мысли о вас мне освещается моя будущность и вдали показываются призраки счастья. Я задумываюсь: призрак близится более* ***и*** *более, и любовь увенчивается, свершаются все желания роскошных, пыл­ких чувств. Проснувшись от очарования, я повторяю:*

Il n'y a que d'aimer pour tenter l'impossible .[[89]](#footnote-89)

На свете часто так бывает,

Что смелый там найдет, где робкий потеряет.

*Вот, ангел, в сих немногих строках заключается почти вся моя история со времени нашей разлуки. В пополнение и замену обещанного журнала нужно лишь прибавить, что дорогою я имел удовольствие два раза писать к вам (с 1-й станции и из города Ливны); что, не входя в топленые избы и укрываясь от солнца, я обыкновенно отдыхал в каком-нибудь амбаре или сеннике один-одинехонек, с мечтами, с тоскою об вас; что однаж­ды, ища подобного убежища и заглянув в амбар, я видел, Как**две курицы и их хозяйка втроем представляли комедию**«Бабья жизнь». Курица, в углу клохча, сидела наседкою; другая бродила с цыплятами по двору, а бедная баба**вручную молола несозревшую рожь и бранила мужа-пьяницу****,*** *за грехи которого Господь и даруя не дает; я,* всю *дорогу не имевший аппетита, всегда любовался, как ямщик**торжественно порожнит чашу щей. «Он, верно, не влюблен,* — *думал я,* — *верно, не политик, а потому и спокоен». В Ливнах вашу жареную курицу, еще не начатую****,*** *унесла у меня собака, конечно, также не влюбленная и также равнодушная ко мнениям и к униженной участи своего собачьего рода.*

*A propos: не по рассуждению ли, что большая часть людей проводит жизнь подобно четвероногим в изыскивании пищи телу, вы, снабдив меня на дорогу съестными припасами, ничего не дали для души? Вы мне не дали ни колечка, ни ленточки, ни платочка, ни того, на чем хотелось написать: Honni soit qui mal y pense![[90]](#footnote-90)*

*Ax! Зачем, зачем вы так поступили? Зачем не позво­лили проститься со своим снежно-белым, нежным горлушком и при прощании не запечатлели союза страст­ным поцелуем любви чистейшей? Вы простились, как монахиня, но не как Элоиза,* — *простились дюжинным прощанием, а я ожидал от вас единственного. Я в вас вижу осуществление той Лоры, коею творческий гений Байрона украсил род человеческий, столь бедный в при­роде и столь достойно им не уважаемый.*

*Последний день моей бытности в Хворостилине пред­ставлял мне много непонятного* — *день, о коем воспоми­нание вместо услаждения сделалось бичом, терзающим всечасно. Ради Бога, отвечайте на это поподробнее и всю правду; ибо я, сообщая свои замечания, конечно проникну ложь и лишь более огорчусь.*

*Не надейтесь уверить, чтоб Л[юба], столь догадливая и хорошо ко мне расположенная, могла прийти по собст­венному движению сидеть с нами в темной диванной. Сие-то приметное нехотение остаться наедине в послед­ние минуты наиболее отравляет мои воспоминания, впро­чем, разумеется, вообще восхитительные. Мне думается, что вы наказаны за тот вечер, когда после Бартоломея столь отменно обнаружились ваши изящные чувства и когда я в исступлении написал: «Сквозь эфирные покровы рука осязает атлас тела, а распаленное воображение пишет картину чудес».*

*Это мгновение есть одно из счастливейших в моей жизни, а вы суровая, вы можете гневаться! Почто вы, не виня природу, столь щедро на вас излившую свои дары, вините того, кто, покорствуя законам природы, и нашем образе поклоняется союзу красоты с доброде­телью?*

*Теперь я не в состоянии более писать. Простите, до завтра****.***

*Прости! Прости.*

Во французской записочке (от 14 июня 1834 года), увезенной Медоксом из имения Раевских Хворостилииа, Мария Раевская писала: «Как сладостно будет для меня вновь увидеть вас! Сердце мое так привыкло це­нить вас, во мне образовалась такая большая потреб­ность вас видеть, что время нашей разлуки будет ка­заться мне невыносимым и своей продолжительностью, и своей тяжестью». Сохранилась еще и другая записоч­ка в таком же роде.

А в числе тех записок, которые посылали в Петербург по делу Медокса провинциальные администраторы, есть такая записка от таганрогского градоначальника (от 7 июля 1834 года за № 40) на имя министра внутренних дел: «В первых числах минувшего мая в Таганроге при наступлении ярмарки неизвестные мошенники у двух менял похитили обманным образом серебром и золотом покурсу до 6000 рублей. Разыскивая мошенников, пол­иция натолкнулась на известие о прибытии в Таганрог ИЗ Новочеркасска в конце апреля дворянина Медокса; остановился он в доме Гусачева, где пробыл четыре дня, затемвыехал из города, вернулся, остановился в доме Кипридиной, где оставил чемодан с вещами, и три дня не являлся.

На другой день после упомянутого мошенничества, раноутром, от имени Медокса был прислан к Кипридиной неизвестный для взятия из чемодана денег на расплату в трактире, где Медокс будто играет. Хозяйка послала своего человека дать знать на съезжей о сем присланном от Медокса, но сей неизвестный, видя ее оставшуюся одну в комнате, начал неотступно требовать чемодан и, усмотря, где оный лежит, вытолкнул хозяйку **в** другую комнату, а сам схватил чемодан, побежал *было*с оным, но, не успев унесть чемодана за ворота, вероятно, опасаясь по крику хозяйки погони, бросил его во дворе, а сам скрылся.

Ни он, ни Медокс не отысканы. В чемодане, оставленном скрывшимся Медоксом, найдены: разное поношенное платье, маленькая в перламутре книжечка-сувенир, две стальные печати: одна гербовая неизвестного лица с изображением четырех орденских знаков, а дру­гая именная с литерами P.M. и несколько бумаг, кои суть: 1) подорожная от Воронежа на имя дворянина Романа Медокса, 2) формулярный список о службе Медокса, выданный в Тобольске октября 10-го дня 1833 го­да, в котором он показан разжалованным из капитана лейб-гвардии гренадерского полка в рядовые с оставле­нием дворянства, 3) аттестат от директора училища Сибирского линейного казачьего войска, данный Медоксу 30 сентября 1833 года в том, что он находился в помянутом училище учителем французского языка и рисования и исполнял должность свою с отличною де­ятельностью при хорошем поведении, 4) указ от началь­ника штаба Сибирского корпуса от 10 октября 1833 го­да на имя просто рядового Романа Медокса об увольне­нии его вовсе от службы по высочайшему повелению, 5) такой же указ с прибавлением уже звания дворянина с предоставлением определиться по произволу на правах дворянства и несколько документов на имя братьев Медокса.

По ближайшем рассмотрении документы № 2 и 5 оказались поддельными, а печать с четырьмя орденски­ми знаками — поддельной печатью начальника штаба

Сибирского войска...»

А наказной атаман Войска Донского сообщал, что Медокс «переодевался в разные платья, накладывал парик и поддельную бороду и имел товарищей», то есть был главарем мошеннической шайки.

КОНЕЦ АВАНТЮРЫ

Всюду Медокс подвергался преследованиям полиции, нигде не верили его документам, даже если они были снабжены гербовыми печатями; к тому же добытые с такими неприятностями и риском деньги быстро таяли. Медокс решил вернуться в Москву, которую он любил, как дитя няньку. Появился он в Москве с таинствен­ными переодеваниями, пытался секретно видеться с женою и получить у нее денег. Остановившись на Во­робьевых горах, Медокс послал в дом жены на имя портнихи М.Т. Ушаковой следующее письмо с над­писью: «Осторожно, от меня Р. М. М.».

ПИСЬМО К РОДНЫМ ЖЕНЫ

*Из множества опытов я уверен, что вы, любезнейшая матушка Мария Тимофеевна, любите меня и всегда действовали в**мою пользу, а потому вам и вверяю свою жизнь****.*** *Ради Бога, никому ни слова не говоря, приезжайте для**свидания со мною на Воробьевы горы, я туда же отправляюсь и буду там вас дожидаться целый день до вечера. Если можно без опасности, то, пожалуйста, привезите**с собою мою милую Александру Сергеевну (жену.* — С.Ш.*.). Бог свидетель, как я ее люблю и как об ней тоскую. Совсем**измучился; похудел ужасно. Тогда опаснейшее обстоятельство заставило так сделать. Все можно поправить****,*** *и, верно, поправится, лишь вы, мои почти единственные друзья, ради Бога, никому ни слова. Вкруг Саши верно, есть шпионы; Дастор ужасно вероломный, берегитесь его. Мне очень, очень хочется видеть свою милую**Сашу; так сказать, душа горит. Привезите ее, пожалуйста****,*** *но так, чтоб никто не заметил куды. Я лишь вчера приехал в Москву. Дастор злодей, шпион, и прехитрый. Я пищу второпях. Буду ждать вас с величай­шим нетерпением. На Воробьевых горах, во втором доме с краю, спросите Марию Михайловну, или сына ее, Никиту Ильина, сего подателя, дайте ему что-нибудь, рубль.*

Но семья жены выдала его полиции. 10 июля 1834 года московский генерал-губернатор мог сообщить Бен­кендорфу, что Медокс «пойман и содержится в губер­нском тюремном замке под строгим караулом в особой секретной комнате», а жандармы, сообщая о том же, добавляли, что Медокс скован. 14 июля начальник мо­сковского жандармского округа получил от Медокса собственноручное показание об его похождениях со вре­мени бегства из Москвы. Лесовский был уже тогда смещен, и Медокс валил на него, как на мертвого. Новое произведение пера нашего героя любопытно во всех отношениях, оно читается с не меньшим интересом, чем все прежние.

ГРУСТНОЕ ПРИЗНАНИЕ МЕДОКСА

*В Москве по известному обстоятельству я находился в ведомстве генерал-лейтенанта Лесовского. После трех­месячного действия он, призвав меня к себе марта 30-го в вечеру, объявил, что если я не раскрою дела в восемь дней, то обратно буду сослан в Сибирь. Причем, не объ­ясняясь более, он заставил меня писать в своей канце­лярии всю ночь до утра; я, думая, что, может быть, уже и совсем не хотят отпустить, испугался и мгновенно возымел склонность укрыться.*

*Приехав с рассветом домой, я с сей минуты только о том и думал, как бы выехать из Москвы, и уехал 3 апреля на сдаточных до Воронежа, в котором получил из казначейства подорожную до Черкасска по документу, данному мне при отставке за подписанием начальника отдельного сибирского корпуса генерал-майора Броневского. Но я нигде не употребил сей подорожной, продолжав ехать на сдаточных. В Новочеркасске, остановившись в трактире и прописав подорожную, прожил* с *неделю. От­туда отправился в Таганрог. Там я прожил святую неделю в гостинице купца Сычева под своим собственным именем, известным многим, даже и полицеймейстеру.*

*В Таганроге я нашел грека Паниота Дмитриева Далоко, который взялся спрятать меня у себя на хуторе найти шкипера для отъезда в чужие края с платою ла то 50 рублей. Но, живучи у него, верст за пятнадцать от городу, на берегу моря, в глубоком уединении убогой хижины рыбарей, я пришел в себя, раскаивался, грустил и уже раздумывал ехать в чужие края, где все мне чуждо,* — *желал пасть к стопам монаршим, по* — *увы!* — *монарх был далеко.*

*Недели через две с небольшим я возвратился обратно а Таганрог с намерением ехать в Москву, в С.-Петербург. Причем помянутый грек Далоко, недовольный сею пере­меною и зная мое положение, отнял у меня золотые с платиновою дощечкою часы и сверх должной платы вы­требовал пять червонцев.*

*Рассчитывая, что, может быть, уже распубликовано о сыске меня, я при сем разе не остановился в Таганроге и прежней гостинице, а в доме какой-то вдовы-гречанки, называя себя штабс-капитаном без всякого на то доку­мента; когда же меня посетил частный пристав, не один и с весьма любопытным видом, то я, кое-как отделавшись от него и покинув свой чемодан (с бельем, платьем, бумагами, полученными при отставке в Тобольске, дру­гими того же роду, мною самим составленными, и по­длинными патентами и рескриптами покойного брата моего*, *подполковника Василия Медокса), мгновенно отправился на лодке в Ростов, от коего начинается мой мучтельнейший обратный путь в Москву.*

*Прожив в Ростове два дня или три, я отправился в Новочеркасск, где также жил с неделю, а потом отправился не по большому почтовому тракту, а проселочной дорогой**по берегу реки Быстрой, о чем впоследствии на сожалел, ибо путь был скучен и чрезвычайно медлен. Прибыв в город Старый Оскол, я, терзаемый совестью, поистине как сумасшедший, письменно предуведомил генерал-лейтенанта Лесовского о своем возвра­ти в Москву около 10 июня.*

*В Старом Осколе я сделался нездоров и заезжал для отдыха в имение родной сестры моей, поручицы Гаевской, село Дубенку, но как она сие лето живет в своем другом имении Костромской губернии, то я, пробыв там дня с четыре принужден был возвратиться в Старый Оскол и, отдохнув там на постоялом дворе с неделю, отправился в Москву, куда и прибыл наконец на Воробьевы горы к крестьянину Никите.*

*Я посылал его к некоей женщине, портнихе Марье Ушаковой, для доставления сведения о моем прибытии жене моей, живущей в Хамовнической части, в доме ее отчима Смирнова, по донесению которого и был я взят там, на Воробьевых горах, квартальным надзирателем Ярцовым и представлен к обер-полицеймейстеру, что все сие показую по чистой совести и долгу христианскому, буде же что утаил, то подвергаю себя законному сужде­нию, в чем и подписуюсь.*

 *Роман Михайлов Медокс*

Итак, не Медокс мошенническим образом забрал 6000 рублей у каких-то менял, а некий грек обидел его, гонимого, и забрал у него 50 рублей с золотыми часами. Теперь Медокс имел много досуга и, сидя в безопасности от разных нечестных греков, мог снова писать проекты открытия заговоров.

Через два дня после приведенного выше признания Медокс писал лично царю, которого уверял, что, если его освободят, он непременно откроет заговор декабри­стов. Красноречия в этом письме не меньше, чем во всех литературных упражнениях Медокса, лжи и хитросплетений — также.

ПИСЬМО МЕДОКСА ЦАРЮ

*Я много виноват, но милосердие венценосца России беспредельно, как и достояние его. При Тивериях, Неронах самая добродетель отчаивается, а под державою монарха доблестного не гибнет и виновный.*

*Буквы, сухие знаки, слабо изображают. Если б в сем листе бумаги можно бы видеть, как в магическом зеркале, все случившееся со мною, все мои страдания, чувства, мысли, то счастие мое было бы несомненно. «Добродете­ли,* — *говорит Декарт,* — *не завсегда проистекают от познания блага, например: простота рождает милость, страх* — *набожность, отчаяние* — *храбрость; так точ­но и преступления не всегда текут от зла и порока».*

*По известному обстоятельству находившись в Мос­кве и после трехмесячного худого действия услышав от генерал-лейтенанта Лесовского, что должно раскрыть дело сроком в восемь дней или быть обратно сосланным в Сибирь, испугавшись, я уехал из Москвы с намерением отправиться в чужие края.*

*За Таганрогом, на самом берегу моря, в тиши убогой хижины рыболова, благодать Господня осияла мою душу****,*** *Раскаивающийся, несколько дней не вкушая пищи, я взалкал пасть к стопам Вашего Величества. Но* — *увы!* — *до царя всюду далеко, даже и в С.-Петербурге. Однакож, я решил возвратиться в Россию и ехать мо­лить одного* — *счастия лично повергнуться пред Вашим Величеством, чтоб раскрыть всю истину, несмотря ни на какое лицо.*

*С сею-то целию спешил я из Сибири в С.-Петербург, по вместо одобрения на столь трудном пути нашел одни угрозы. Явившись начальнику III отделения канцелярии Нашего Величества, Мордвинову, я был заключен при штабе корпуса жандармов и потом освобожден с повеле­нием ехать в Москву. Г. Мордвинов, двоюродный брат Александра Муравьева, весьма худо расположен ко мне, ошибочно думая, что Муравьев может снова пострадать. Без сего обстоятельства дело имело бы иной ход.*

*Милостию Вашего Величества из Шлиссельбурга ос­вобожденный, я истинно преисполнен жарчайшей благо­дарности и горю желанием быть полезным. В Иркутске, случайно узнав сношения государственных преступни­ков, я по возможности старался изведать оные и при первом удобном случае донес. Присланный туда адъю­тант военного министра ротмистр Вохин хотел более возможного, особенно же, будучи в Петровском заводе, требовал ясных письменных доказательств. Это, при­знаюсь, заставило примешать к правде неправду. Я, ес­тественно, желал выехать из Сибири, а имея нить в лабиринте, надеялся открыть и быть за все прощенным. В С.-Петербурге никто не спросил меня, как и с чего лучше хотел бы я начать. Напротив, отняли бодрость объясниться.*

*К вам, монарх, я, ничтожный, ужасно гонимый роком, дерзаю писать как к благодетелю своему. Посреди груды дел да не презрится сей лист* — *все надежды человека, рожденного, смею сказать, для лучшей участи и способ­ного соделаться прекрасным памятником милосердию Вашего Величества. Мудрости царей знает цену лишь потомство, а добродетели их составляют радости со­временников и громко благословляются. Позвольте, умо­ляю именем в Возе почивающей родительницы Вашего Величества, позвольте несчастному счастие лично повер­гнуться к вашим монаршим стопам* — *счастие, которое с соблюдением общей пользы одно может сохранить меня, от детства жарко, ах, может быть, слишком жарко стремящегося ко благу и стяжущего жить со всеглубочайшим почтением Вашего Императорского Величества верноподданный*

*Роман Медокс.*

В Москве.

Июля 16-го дня 1834 года.

Передав московским жандармам это письмо для от­сылки царю, который читал его 31 июля, Медокс вручил им в подтверждение существования нового заговора еще одну записку, в которой называет целый ряд новых лиц, живущих в Москве, в надежде, что это поведет **к** отсрочке отправления его в Петербург.

НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ МЕДОКСА О ЗАГОВОРЕ

*Здесь, в Москве, в доме отставного обер-шталмейстера Муханова* (дядя декабриста. — *С.Ш.), живет в услужении Федор (прозвание хорошенько не помню, Воронов или Во­ронцов), дворовый человек статского советника Алексан­дра Муравьева. Он имеет жену Елизавету, которая живет на квартире близ его, там же, в Конюшенной. Оба они ездили отсюда с Юшневскою и Богуцкою в Петровский завод и там жили, а потом находились в Иркутске при Муравьеве. Елизавета, приехавшая из Петровского завода с мужем вдвоем, привезла посылки княжне Варваре Ша­ховской. Елизавета возвратилась в Москву вместе с княж­ной Екатериною Шаховскою и Богуцкою, в тот раз как сия последняя привезла много посылок и, конечно, может много сказать к подтверждению мною написанного. Федор приехал вскоре за ними с купцом Портноеым. Тут не надобно употреблять насилия: Федор очень падок на деньги и разговорчив. Я легко приучил его ходить к себе. Его можно нанять в услужение, так же как и жену его, хорошую швею. Они ходят в дома Екатерины Федоровны Муравьевой и Кругликовой-Чернышевой. Один сей случай даже и по наружности показывает связи.*

*Что Екатерина Федоровна Муравьева и Надежда Ни­колаевна Шереметева есть средоточия сношений с госу­дарственными преступниками, в этом нет сомнения; но очевидно доказать это, как математическую аксиому, конечно, очень трудно. Однако же я постараюсь по воз­можности сколько могу.*

*Прошу снисхождения: я в ужаснейшем расстройстве чувств. Я был в несчастии, но так худо со мною еще никогда не поступали. До сих пор во мне всюду уважали человека с дарованиями.*

Худой поступок с Медоксом заключался в оковах, которые ему не нравились.

Пересылая эти два письма Медокса в Петербург, московские власти сообщали Бенкендорфу, что при лич­ном «прилежном спросе» Медокс признался, что «об­манывал весьма много и самый главный обман его состоит в том, что купон, им представленный, был собственно им составлен».

А Николай Первый с таким ужасом рассматривал этот купон, как главное доказательство существования нового заговора. Этого царь не простил Медоксу, и уже 17 июля Бенкендорф сообщил московскому генерал-гу­бернатору, что Николай повелел «разжалованного в рядовые Романа Медокса отправить под строгим кара­улом, закованного, в Петербург и по прибытии немед­ленно сдать коменданту здешней крепости для содер­жания в оной». А коменданту Петропавловской крепо­сти сообщалось о содержании Медокса под строгим караулом впредь до востребования.

Перед отправлением в крепость Медокс пытался еще раз дурачить жандармов. В заявлении от 19 июля, повторяя рассказ о благодати, осенившей его на берегу моря и Таганроге, Медокс пишет, что теперь он уже никому не верит и «решился лишь пред Его Величеством изустно высказать все», что действительно знает о новом заговоре.

Заканчивает он эту обширную записку от 19 июля, и которой повторяет все прежние россказни о подкупе декабристами иркутского губернатора и о слабом над­зоре со стороны коменданта Петровского завода гене­рала Лепарского так: «Признаюсь, что я написал сии отпеты единственно из уважения к требующим оных; иботвердо уверен, что все, что бы я ни написал, будет совершенно бесполезно как оправданию моему, так и открытию дела. То и другое требует непременно, чтоб мне было даровано счастие лично повергнуться к стопам ЕгоВеличества и объясниться изустно; о чем единственноя и умоляю и в чем споспешествовать мне должен всякистый сын отечества».

Наконец 22 июля Медокса отправили в Петербург под конвоем и в кандалах. Царь хоть и читал все письма и заявления Медокса, но видеть его не захотел, ибо Бенкендорф отрекся от него. Так, на полях новой, и последней, собственноручной записки Медокса к царю от 30 июля 1834 года шеф жандармов сделал для све­дения Николая Павловича целый ряд замечаний, со­вершенно уничтоживших в глазах царя этого долголет­него сотрудника шефа жандармов по раскрытию заго­вора. Записка эта передана была царю при письме Медокса от того же числа. Приведу оба документа, опуская из записки все то, что повторяет высказанное Медоксом в предыдущих доносах, и давая в сносках замечания Бенкендорфа.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО МЕДОКСА К ЦАРЮ

*Ваше Императорское Величество! Всемилостивейший государь! Имев счастие писать к Вашему Величеству из Москвы сего июля 16-го дня, здесь остается сказать, что при сем прилагаемую записку, написанную для графа Бенкендорфа, я осмеливаюсь представить Вашему Вели­честву, избегая господина действительного статского советника Мордвинова, ко мне весьма худо расположен­ного и единого виновника моей гибели. Снизойдите, вели­кий монарх, к недостаткам человека, давно* — *ах!* — *очень, очень давно несчастного, и, подобно Богу счастьетворцу, даруйте новою жизнию стяжущего жить со глубочайшим почтением, всемилостивейший государь! Вашего Императорского Величества верноподданный*

*Роман Медокс.*

Июля 30-го дня 1834 года.

На письме пометка рукою того самого Мордвинова, на которого жаловался здесь Медокс: «Получено от государя 14 августа 1834 года». А вот и записка, которую также передал Мордвинову сам царь вместе с письмом.

ПОСЛЕДНИЙ ДОНОС МЕДОКСА НА ДЕКАБРИСТОВ

*1. Иркутский гражданский губернатор господин дей­ствительный статский советник Цейдлер много споспе­шествовал тайным сношениям государственных пре­ступников, что ясно и подробно доказано в моей иркут­ской записке.*

*2. Главною посредницею сих сношений была княжна Варвара Шаховская, свояченица господина статского советника Александра Муравьева.[[91]](#footnote-91)*

*3. Я иногда помогал княжне и имел ее полную дове­ренность.*

*4. Польская дворянка Богуцкая, ездившая в Петров­ский завод компанионкою к Волконской и скоро обратно в Россию возвратившаяся, едва ли не более всех вывезла из Петровского острога посылок, которые для лучшего сохранения княжна Шаховская сама укладывала в Ир­кутске и о которых я ничего более не знаю.[[92]](#footnote-92)*

*Я донес сентября 1832-го, а выехал из Сибири октября 1833-го* — *чрез целый год. За год сделанное предначерта­ние, как старый план компании, почти никогда не го­дится; однакож я отважился следовать оному. Но при­быв в Москву и узнав от генерал-лейтенанта Лесовского, что нет и не ожидается никакого предуготовления к моему действию, я с его согласия сам отправился для объяснения в С.-Петербург, где, явившись начальнику III отделения канцелярии Его Величества господину дейст­вительному статскому советнику Мордвинову, встре­тил одни угрозы[[93]](#footnote-93) ; тщетно просил об определении меня в статскую службу, дабы выйти из звания солдата, которому дверь в общество всюду заперта; тщетно го­ворил о деньгах, без коих ничто не делается и с коими при уме все так чудесно идет. Г. Мордвинов, двоюродный брат**Александра Муравьева, и потому ко мне весьма худo расположенный, ничего не слушая, заключил меня при штабе корпуса жандармов и после освободил с приказанием отправиться в Москву.[[94]](#footnote-94)*

*Чтобы скрыть от родных поручение и заводимые связи, я не мог пользоваться приглашением жить у них; должен был остановиться в лучшей гостинице, иметь лошадей, прислугу, всю наружность нарядную и, что всего труднее, должен был в звании солдата — звании, всеми презираемом, без магии денег, знакомиться с богачами, графинями, княжнами, князьями.*

*Юшневская, роскошная барыня, весьма нуждается в Петровске... Мне должно бы послать ей в гостинец чего-нибудь сот на пять рублей и основать переписку, кото­рая, конечно, имела бы важнейшие последствия; но по неимению денег, в беспрестанном ожидании оных, отла­гая ответом, до сих пор не отвечал[[95]](#footnote-95) .*

*Жарко стремясь к счастию оказать важную услугу самому государю, я в крайности прибег к женитьбе весьма невыгодной: вместо обещанных 10 000 рублей приданого дали только 4000...*

*В Москве меня взяли, и я, среди похвальнейшего стрем­ления опять приступившийся, снова очутился в ужасном заточении, которое господин Мордвинов предсказал, обе­щавши сгноить меня в крепости[[96]](#footnote-96) .*

*Какой единственный случай отъемлет у меня судьба!.. Я отнюдь не подлый доносчик, водимый одними личными пользами. Я движусь благодарностию к монарху, освобо­дившему меня из Шлиссельбурга, и жарчайшим желанием свершить деяние трудное, славное.*

*Сей новый заговор, Союз великого дела, есть, вероятно, не новый, а отрасль прежних тайных обществ, так же как те были отраслию Союза благоденствия, который, укрываясь от поисков правительства, сказался уничто­жившимся. Союз великого дела, сколько я мог видеть в Москве, чрезвычайно робок, глубоко кроется и едва ли что иное, как общество людей, связанных одинаковым образом суждения, без деятельного стремления к какой-либо цели, по крайней мере теперь, и потому к открытию оного нет надобности употреблять спешных, насильст­венных мер, тем более что гонение мнений лишь вящше распложает оные и наконец родит исступленников.*

*Кортес, с горстью людей завоевывая Мексику и узнав, что многие из них покушаются на жизнь его, сам захва­тил главного виновника, у которого нашед письменный акт заговора, разгласил, будто бы тот при взятии его вдруг проглотил какую-то бумагу и вытерпел все пытки, ничего не сказав. Разумеется, Кортес впоследствии наблюдал своих врагов и не исправившихся понемногу перевел. Вот лучший образец уничтожения неисполненных загово­ров* — *образец, коему, как кажется, Екатерина, поистине премудрая, великая, последовала в деле Мировича[[97]](#footnote-97)* .

*Прежние мои предположения к открытию по совер­шенному изменению всех обстоятельств в течение слиш­ком полутора лет теперь, конечно, вовсе не годятся.*

*Теперь меня можно послать за Байкал будто бы в ссылку на жительство в Верхнеудинске, откуда я мог бы свободно ездить в Петровский завод и, посредством достаточных денег упреждая нужды Юшневского и дру­гих[[98]](#footnote-98)* *узнать обстоятельнее и подробнее, нежели как успел в шестидневную бытность мою там с адъютантом военного министра (коего один приезд со мною был уже сильным препятствием).*

*Живучи в Верхнеудинске с деньгами и с готовностию жертвовать оными, я, верно, покажусь Петровскому ос­трогу выгодным посредником сношений и, верно, скоро заменив княжну Шаховскую, буду доставлять все тайно пересылаемое правительству.*

*Я не вижу, почему нельзя определить меня в службу здесь, в С.-Петербурге, в виду вышнего начальства, кото­рое, верно, лучше всякого другого могло бы наблюдать и рассмотреть меня, и где я, смею утвердительно сказать, превзошел бы по всем отношениям все ожидания.*

*Под каким-нибудь предлогом монаршей милости мож­но вывесть из Петровского острога на поселение всех имеющих при себе жен (чрез что там прекратится множество злоупотреблений).*

*Юшневского (А.П*. — *С.Ш.), Никиту Муравьева и Ан­ненкова* (И.А. — *С.Ш.) можно поселить вместе в каком-нибудь уединенном городке южного края Тобольской губер­нии, и как можно ближе. (Юшневский с женою; Никита Муравьев необходим; он овдовел, но имеет при себе дочь; Анненкова, вовсе не участвующего в новых затеях, приоб­щить к ним для отклонения подозрений; к тому же он хорошо расположен ко мне и верно не помешает,* — *В уединенном городке, чтоб нарочно определенный городничий имел бы надзор, коего не может быть в селении — Южного края, чтоб были довольны,* — *как можно ближе, чтоб к скорейшему раскрытию скорее получались бы от них письма и куда я мог бы вскоре съездить погостить).*

*Сие облегчение главных виновников весьма удачно обманет их всех, и дело можно будет раскрыть и уничтожить сроком менее нежели в год; без малейшего шуму, без той в дворянстве ужасной тревоги, какую произвела следственная комиссия по 14-му декабрю, и без тех впе­чатлений, какие оставила площадь казни (тогда, конеч­но, необходимой по причине столь явно с кровопролитием разгромившегося заговора).*

*В двух вышеизложенных предположениях: 1-м — по­слать меня за Байкал и 2-м* — *оставить в С.-Петербурге с определением в службу, заключаются одни лишь главные мысли, исполнение требует подробностей.*

*Движимый изящнейшими чувствами, дерзаю еще по­вторить, что если б я был бы определен здесь, в С.-Пе­тербурге, в службу и состоял бы в непосредственном ведомстве кого-либо из главных вельмож, то по всем отношениям превзошел бы все ожидания.*

*Смотря в бумаги, не заглядывая ни в сердце, ни в источник преступлений, можно сказать, что я негодяй; но да рассудится, есть ли хотя малейшее злодейство в моих преступлениях.*

ЭКСПРОМТ

Едва лишь стал розой начаток,

Как бурный Аквилон завыл,

А вслед за ним Борей прибыл;

Тут нежный погибающ цветок,

Теряя свою красоту,

Сказал: весной я процвету.

Но, ах! Прохожий, здесь идучи,

Зря без цветов стебль колючий,

Его с корнем вдруг истребил!

Злодей не знал, кого сгубил.

Зима, съедая цвет с листом,

На стебле иглы покидает;

Вся тварь несчастий под ярмом

Свой зрак и доблесть изменяет.

*Роман Медокс.*

Июля ЗО-го дня 1834 года.

Медоке метался, точно в предсмертных судорогах. Он видел, что все его карты биты.

Николай Павлович велел оставить Медокса в Петербурге, но не на службе, а заточить его на всю жизнь в крепость. 25 июля 1834 года Медокса посадили в Зотовский бастион Петропавловской крепости, в особый арестантский каземат № 5, а 30 июля, в тот самый день, когда он так усердно предлагал царю свою службу под наблюдением доверенного вельможи, его велено

по перевести в Шлиссельбургскую крепость.

Так замкнулся круг похождений Медокса, и наш герой вернулся в крепость, где просидел на этот раз не четырнадцать лет, как при Александре Первом, а двадцать два года.

Попал Медокс в Шлиссельбург, и не было о нем сведений в III отделении до сентября 1836 года, когда по его просьбе ему было позволено писать к сестре, но через III отделение.

В октябре 1837 года ему позволили заняться пере­водом какой-то французской книжки по географии. В 1838 года ему позволили заняться «сочинением раскрытия русского языка с приложением корнесравнительного словаря на шести главных европейских языках, древних и новых».

В октябре того же года комендант крепости, несом­ненно подпавший под влияние ловкого пройдохи, писал о III отделение, что хорошо изучил Медокса, убедился, что это человек отлично образованный, прекрасной нравственности и образа мыслей и что следовало бы ходатайствовать о принятии его на службу.

Такие просьбы коменданта повторялись много раз, по всегда Бенкендорф делал на бумагах пометку: «Нельзя**».**

Иногда, раз в четыре-пять лет, Медоксу разрешались свидания с братом в присутствии плац-адъютанта, но и просьбах о свидании с сестрою отказывалось. Когда Бенкендорфа сменил А.Ф. Орлов, то он в 1847 году обещал при удобном случае ходатайствовать о помиловании Медокса и отправлении его в гражданскую служ­бу в Сибирь, однако этого обещания не выполнил, мотивируя однажды отказ тем, что Медокс ведь из Сибири *уже* бежал. В другой раз Орлов объяснил отказ тем, что повеление Николая заключить Медокса в крепость равносильно приказу умереть и потому он ходатайст­вовать о помиловании не может.

Изредка Медоксу позволяли писать к родным. И он пользовался этим, чтобы лишний раз проявить свое рыцарство, чтобы подчеркнуть свои заслуги перед оте­чеством.

Вот одно его письмо к брату из Шлиссельбургской крепости от 16 февраля 1843 года: «Спроси законы, что значит преступник, и ты увидишь, что не попадаю ни под который пункт. В 1827 году ты мне сказал, что освободили с большими осторожностями; из Вятки я уехал, не сделав ни малейшего беззакония. А как ис­кали! Теперь тоже нет ничего важного, нет ни одного слова так называемого оскорбления царского величест­ва, нет совершенно ничего ни против государя, ни против монархии; почему же ставят так с рогами? Англичанина... не имели права держать четырнадцать лет без суда; боятся ухода за границу и сраму от уме­ющего хорошо писать. Вот почему 1828 года назвали англичанина жидом. Теперь я отставной и никак не подлежу ведомству военного министра, а сюда прислан при бумаге Чернышева. Что это значит? Мне сделали подлейшее поручение: послали в Москву шпионом, единственно для этого возвратив из Сибири, по реко­мендации генерал-губернатора Лавинского; тщетно от­говаривавшись, принужденный взяться, я погулял в Москве и скрылся (тоже без преступления). Все это дело делалось с Бенкендорфом в кабинете один на один, вовсе без прикосновения Чернышева. Проникни маску. Не время распространяться».

Медокс прав — он был в Москве в 1833—1834 годах в качестве шпиона, Медокс прав — его послал туда Бенкендорф, но Медокс умалчивает о своих сношениях с III отделением еще в 1830—1831 годах. Есть очень ценное указание в этом письме, подтверждающее вывод о подозрительной неясности в отношениях между аван­тюристом и начальником жандармского ведомства, — это ссылка на то, что «все дело делалось с Бенкендорфом в кабинете один на один».

Потому-то и делалось оно один на один, что неудобно было даже Чернышева посвящать в провокацию, хотя, как мы видели, доверенный адъютант Чернышева, Вохин, был одним из связующих звеньев в той большой провокационной цепи, которую ковал Медокс при по пустительстве, если не при прямом содействии Бенкен­дорфа против декабристов в Сибири и их семейств в России.

Посаженный при Александре Первом в крепость, Медокс вышел из нее после смерти царя, и только смерть Николая Первого снова открыла ему ворота тюрьмы. Еще до помилования декабристов, в июне 1856 года, Александр Второй наконец разрешил осво­бодить Медокса из крепости, и одряхлевший авантю­рист поехал к брату заканчивать свою нелепую жизнь под надзором полиции.

22 декабря 1859 года Роман Медокс, как сообщено было в III отделение, умер в родовом селе Притыкине Каширского уезда от двукратного апоплексического удара.

**ДНЕВНИК МЕДОКСА**

*1830 год*

*28 октября.*

Да пребудет сей день неизгладимым в памяти моей — день, который единственно по моей неосторожности при­надлежит к числу самых черных дней моей жизни. Ах, когда перестану руководствоваться чувствами? когда пе­рестану мгновенно удовлетворять им, подобно дикарю?

По просьбе Соломирского[[99]](#footnote-99) прийти пораньше, чтоб проводить его в дорогу, я в 8 часов утра был уже у него, но он для именин Прасковьи Михайловны (жены А.Н. Муравьева. — *С.Ш.)* отложил выезд.

На досуге предавшись прениям, мы нечувствительно достигли отвлечениейших предметов, провели утро как миг и вдруг, будто от сна воспрянув, увидели на часах половину второго. Соломирский вскочил мыться, оде­ваться; его лицо, блиставшее надеждою убить день приятно в здешнем высшем кругу, породило во мне желание быть там нее. Забыв правило: избегать собра­ний, чтоб не чувствовать своего унижения, толико для меня убийственного, я побежал переодеться.

Думая, что Она (В.М. Шаховская. — *С.Ш.)* будет без чепчика, вперед восхищался зрелищем прекрасных чер­ных волос, убранных со вкусом Рафаэля, весь кипел от мысли увидеть обожаемую в наряде. Ее образ истинно носился надо мною, меж тем как я одевался и был в каком-то детском восхищении. Чтоб уметь вообразить это восхищение, надо быть на моем месте; надо, разлу­чившись с миром, провлачить множество лет в безвы­ходном затворе, внутри ужасов тайной темницы, без всех малейших отрад, и вдруг найти радость, найти счастие в невинных взорах девы; и на чуждбине (так у автора. — *С.Ш.),* в изгнании не знать, не желать другого счастия... словом, надо любить так, как я люблю, и любить в первый раз. Ах! Что я говорю? Любить! Нет, не любить, а боготворить; нет, и не боготворить... Боже, здесь, на земле, в пучине бед, нет даже и слов к изъяснению чувств, достойных рая.

Мотылек, прельщенный светом огня, летит к огню и погибает: так я, спешив к удовольствию, сражен своим унижением. В кабинете, разумеется, никто не встал, никто не приветствовал; да и я, расплачиваясь, не токмо[[100]](#footnote-100) никому, кроме хозяина, не поклонился, но и не взглянул ни на кого. Вмиг увидел я свое неблагоразу­мие, но уже поздно; надлежало в гостиной поздравить именинницу, чтоб получить еще пощечину.

Даже и та, коей ангельские взоры так ласкают меня, на сей раз потупила их; впрочем, я этому не совсем верю, ибо не согласно с ее изящнейшими чувствами; в подобном случае легко обмануться. Но то верно, что она была в чепчике, что грудь, которая в идеале, за минуту пред тем мечтавшемся, являлась открытою, была совершенно невидима под палатином.

И так во всем обманутый, чувствуя свое лицо изме­нившимся, обратился в угол залы к детям, обклавшимся игрушками, сегодня подаренными. Соломирский, луч­ше других понимающий меня, пришел на помощь; за ним последовал Жюлиани; мы, тут усевшись, составили бы свой круг, но при входе бригадного [генерала] все встают, кланяются; я прячусь в полутемной комнате буфета, говорю Владимиру достать мой картуз и ухожу.

Вот случай, который, растрогав все прежние раны, возбудил вместе с ненавистию к деспотизму, ужаснейшее [?] к теперешней участи в Иркутске, мучил до вечера и потом заставил думать о будущности. После многих раз­мышлений признал за лучшее терпеть и радоваться сво­ему мучению. Человек тем более подвержен мукам, чем более человек, ибо тем нежнее его чувства.

Большая часть людей влачит жизнь почти равную с четвероногими; среди всегдашних забот о пище телу они не много беспокоятся другими предметами. Можно ли же завидовать участи сих получеловеков? Можно ли не ра­доваться мучениям, коль мера оных соответствует утон­ченности чувства и определяет степень моего различия от четвероногих?.. Конечно, в сем-то смысле Марк Авре­лий сказал: «Страдать и терпеть есть жребий человека».

До сих пор я мог хвалиться своею крепостию в несчастии; ныне, знакомый с любовию, менее внемлю рассудку, больше грущу, кажется, потому, что мне больно, ужасно больно видеть себя без средств услаж­дать ее горести в Сибири. Мои беды мне гораздо сноснее, нежели беды любезных. Один лишь Бог может знать, с какою радостию отдал бы я год своей жизни за один ей приятный день.

Уже третий час ночи; слипающиеся веки, а еще более утомленные чувства велят броситься в постель[[101]](#footnote-101) .

*Ноябрь. 1-го.*

Вместе с Соломирским обедал у Александра Нико­лаевича.

*5-го. Среда.*

Пошел со страстным желанием посмотреть на нее, и не удалось, ибо видел на крыльце, закутанную; хотелось посадить в карету, чтоб прикоснуться, но и в этом не посчастливилось при двух лакеях. В других обстоятельствахя смело подал бы ей руку, свел бы с крыльца и, верно, посадил бы в карету; теперь все кажется неуместным, и я стою как пень...

Что может сделать любовь из самой упорной, самой гордойдуши! О Боже, избавь от унижения и дай дышать в стихии, мне свойственной.

*7-го и 7-го.*

Нездоров от простуды. Как страшно занемочь в по­добном случае. Боюсь, разумеется, не мучений болезни, и мучений от несвидания. Сегодня я молился Богу по-обыкновенному; а как намеднись у ней заболело г**орло** и княжна Катерина Михайловна (сестра В.М. — *С.Ш.)* сказала, в горле будет нарыв, который иногда продолжается долее месяца и при чрезвычайной боли но дает ни говорить, ни кушать, то молился на коленях и в сильнейшем волнении чувств кланялся в пол. Сверх чаяния она скоро выздоровела; а я именно с того вре­мени стал считать себя счастливым.

*8 го. Суббота.*

В продолжение урока Варинька сидела с нами, вязала чулок и очаровывала взорами. Поручая мне отдать пе­реписать ноты, колебалась, думала, передумывала. Я всегда, радуясь случаю услужить ей, кое-как выманил. При слове, что мне весьма приятно заниматься ее ко­миссиями, она сказала вполголоса: «И мне весьма приятно». Меж тем как она вертела листы нот, я неумыш­ленно наклонялся к ручке с желанием поцеловать оную, но не смел. Бывают минуты, в которые вдруг предстанится бессметие мыслей: и эта была одна из таковых... Прибытие Елисаветы Александровны (дочь А.С. Лавинского. — *С.Ш.)* попрепятствовало насмотреться на нее досыта...[[102]](#footnote-102)

*9-го. Воскресенье.*

Застал Александра Николаевича с Прасковьею Михайловною столь занятых разговором, что не слышали моего прихода. Приветствуя и извиняясь в помешании, я сказал то, что чувствовал, — сказал, что пришел для того, чтобы воскресенье сделать Воскресением, которое иначе было бы хуже пятницы. Но тщетен был приход: Вариньки не было дома. Грустный, я скоро ушел, скоро лег в постель, но покоя все не нашел. Не спится. Бедный Алексей (слуга Медокса. — *С.Ш.)* уже дважды спрашивал, взять ли свечу. Он не влюблен, хочет спать, а ко мне вместо Морфея пришла волшебница Поэзия и меж прочим говорила:

Да, любовь — мучительная страсть,

Но не любить — еще более мучительно;

Самое же худшее из мучений —

Любить и не быть любимым![[103]](#footnote-103)

Как живо в памяти начало сей страсти! Будто теперь вижу, как в самый первый день прибытия в Иркутск, 1 октября (1829 года. — *С.Ш.),* пришел к Александру Николаевичу и увидел ее в гостиной. Она сидела на диване, в том углу, где теперь горка с цветами, и, что ненавижу, вязала чулок. Под ратинкой на ней было бесцветное холстинковое платье. Она сказала мне, что я похож на Софию, и тем сделала весьма лестный прием. Беспрестанно и быстро изменявшиеся выражения лица выказывали в ней душу, способную к сильным ощущениям. Удивление, открывая ее черные глаза, делает их большими, прекрасными. Странные, не со­всем-то правильные черты показались мне смелыми очерками Гения и очень понравились.

Я смотрел на нее как на давно знакомую и без малейшей причины тотчас возымел о ее уме и нраве самое высшее мнение. С той первой минуты, вовсе не думая быть влюбленным, я перестал существовать для себя и понемногу совершенно во всем изменился.

Сбылося в ней мое мечтанье,

Весь тайный мир души моей.

Прости![[104]](#footnote-104)

*15-го. Суббота.*

Как грустно в субботу обмануться — в субботу не увидать. Собираясь туда, я чувствовал такой аппетит, что едва удержался от закуски дома; а теперь, несмотря что прошелся, хочу но есть, а лечь отдохнуть.

И ты, любовь, сладчайшее чувство в природе, источник радостей для всех, делаешься током горестей для меня! Сколько несчастных, даже злодеев, убийц, изгнанных из среды людей, находят убежище и самый рай в твоих, жена, объятиях! Почто в многолетнем уединении родился во мне идеал столь высокий, которому никто, кроме нее, не соответствует? Почто не дано мне свойств Раевского[[105]](#footnote-105), свойств, способных удовлетвориться бессмысленною, без­вкусною тварью? Теперь в сравнении с прежним я, по крайней мере, мог бы быть спокоен...

К чему так думать? Лучше лечь, найти покой во сне. Солнце еще высоко — оно сегодня светит не для меня. Как бы хорошо проспать до завтра. Увы! И завтра, в воскресенье, денница взойдет не для меня. Далек, далек брег моим страданиям.

*18-го. Вторник.*

Дома я был так мрачен, что пред зеркалом учился притворяться веселым; пришедши же туда и встретив­шись с ее чудотворными глазками, вдруг сделался в самом деле и весел и доволен, как ребенок. За обедом Портнов (иркутский купец, приятель А.Н. Муравье­ва. — *С.Ш.)* много толковал о Штиллинговых предска­заниях светопредставления в 1836 году[[106]](#footnote-106).

*Ноября 19-го. Среда.*

Какой разблагоприятный вечер! Более трех часов сряду глядел на нее с совершеннейшею свободою. Кроме нас и Сонюшки (дочь А.Н. Муравьева. — *С.Ш.),* никого не было в гостиной: Александр Николаевич нездоров простудою; Прасковья Михайловна сидела и ужинала с ним в кабинете. Так несчастие одного составляет счастие другого.

Варинька, сидя на диване, писала в Петровск; я, напротив нее, учил Сонюшку и, блаженствуя, думал: «Какая прекрасная шея! Как сладко целовал бы я в горлушко!» Сегодня первый очинил ей перо и очень угодил.

По окончании письма на столе лежавшая книжка — «Histoire litteraire de lItalie»[[107]](#footnote-107) — породила разговор об итальянских писателях. Байрон, сказал я меж прочим, говорит, что, если б Лаура была женою Петрарки, то б он не провел жизни в плетении рифм для нее. «Может быть, — ответила она. — Но случается и противное мнению Байрона. Я знала супругов, живших вместе более двадцати лет в беспрестанных взаимных угожде­ниях друг другу; незадолго до смерти жены, когда обоим было уже лет по шестидесяти, муж рано поутру пред окном спальной сделал ее вензель из цветов». «Вы достойны подобного мужа, и в вашей власти иметь его», — хотел я сказать, но не сказал, ибо счел непри­личным моему теперешнему состоянию.

Эта убийственная мысль безумолчно гложет меня и нередко начатую речь умерщвляет во устах. Оборотясь к Сонюшке, я про себя рассуждал, что с такими поня­тиями и насмотревшись на Александра Николаевича, она не может быть счастлива с мужем обыкновенным; а я — ах! — я не знаю, что и сказать, я целовал бы у ней ножки.

Играя с Патинькой (Прасковья, младшая дочь А.Н. Муравьева. — *С.Ш.),* она проговорилась, что ей нравится ее имя — Варинька. Эта маленькая сцена была столь чудесно мила, что не смею описывать грубым пером, скажу лишь, что, дабы узнать Вариньку, надобно видеть ее тогда, как она играет со своей любезной Патинькой.

За ужином при одной княжне Катерине Михайловне, сидев подле ее и наливая ей пить, я ощущал что-то неизъяснимо приятное; что-то такое, чему нет названия; это что-то как будто бы душу таит, тело нежит, дыхание то останавливает, то ускоряет — ах! Это что-то такое, что можно ощущать, а не описывать. Сии счастливые минуты напоминают мне Вольтерово:

О них на трапезе богов я стал бы сожалеть[[108]](#footnote-108)

*22-гоСуббота.*

Проснувшись еще до заутрень, предчувствовал горе, первою мыслию было: Александр Николаевич нездоров**;** едва ли увижу ее сегодня. Встал позже обыкновен­ного и как будто лишь для того, чтоб поминутно смотретьв окно, не идет ли казак. В 12 часов я спросил одеваться, а казак на дворе. Итак, не увижу, и ввечеру нечего будет сообщить тебе, любезный портфель, единственный друг, которому изгнанник может вверяться.

Прости.

*22-го [23]. Воскресенье.*

Варинька, ты мой бог, ты, Варинька! Грустно, гру­стно мне, не повидавшись с тобою. Как цветок живет солнцем вешним, так я твоим, мой ангел, взглядом. 15имой, когда солнце далеко, цветок вянет, погибает: так, может быть, погибну и я здесь, на чуждбине, вдали от тебя и от всего любезного.

Какая горькая, страшная мысль: ни в чьей памяти не пережить часу погребения; никто не придет на мо­гилу, ничья слеза не оросит безнадписный прах... Ах! Зачем я живу?.. Как жаль, что внутри мрачных тлет­ворных стен шлиссельбургских охладело мое пиитиче­ское воображение. Как бы сладко умереть, повторяя Батюшкова стишки:

Нет, по смерти невидимкой

Буду вкруг тебя летать:

На груди твоей под дымкой

Тайны прелести лобзать.

Так расстроен, что вовсе не могу писать. Лягу спать иль буду хоть так лежать. Прости, Варинька, прости до лучшего дня. Прости.

*24-го. Понедельник.*

Чтоб хорошенько узнать о состоянии Александра Николаевича, я ходил к Крузе: он сказал, что бездель­ная простуда расстраивается нездоровьем сына (Иван Александрович Муравьев, родился 19 августа 1830 го­да. — СНГ.), чрез которого весь дом, глядя один на другого, не спит по ночам. До сих пор все люди теряли мое уважение по мере того, как я к ним приближался; а это семейство, напротив, с каждым днем более и более уважаю. От Крузе я прошел к Александру Николаевичу; он лежал на диване; Прасковья Михайловна, сидя пред ним, то и дело целовала в голову, а крошка Патя ползала по нем и тож целовала.

Эта группа, у них вовсе не редкая, не знаю почему на сей раз растрогала меня, напомнила славную Пуссена картину афинского мора, где средь кучи трупов младе­нец покушается сосать грудь своей мертвой матери. Воображение, которое у меня почасту производит страшные эпизоды, начало уже разрождаться, как вдруг с быстротою молнии все исчезло от приходу Вариньки в наряде. Княжна Катерина Михайловна — именинни­ца, сказали мне, и я, разумеется, не замедлился, помня 29 октября.

*25го. Вторник.*

Учил Сонюшку с особенным удовольствием, потому что в этой чрезвычайно живой резвушке нахожу отлич­ные дарования, а еще более потому, что мой божок Варинька во все время сидела с нами и разговаривала. «Несмотря на упадок состояния, — сказала она меж прочим, — я не знаю семейства, которое было бы сча­стливее нашего. (Какая душа светлеет в сих немногих словах!) Я могу ко всему привыкнуть. Для меня было бы несносно лишь жить в тесноте, например: как многие живут в двух комнатах».

Я застал ее в неглиже, под ратинкой, на диване, сшивающею вязаную фуфайку для своего племянника. Скоро вышед, возвратилась в пунцовой косынке и тем пресекла удовольствие смотреть на шею прекраснейших форм. Должно думать, что она всю прошедшую ночь просидела над племянником. Странно, что ее лицо се­годня столь не авантажно, каким мне еще не случалось видеть; а я, смотря на нее и с нею разговаривая, опять ощущал то восхищение, то неизъяснимое что-то, от которого едва смеешь дышать и как будто боишься, чтоб с дыханием не вылетело ощущаемое иго чувстви­лища.

За обедом, сидев подле Крузе, я с удовольствием примечал, что он вовсе не смотрит на нее; то есть я радовался, что моя любезная никому не нравится, что мою любезную никто не любит. Не странно ли это? Соломирского я люблю, как кажется, более потому, что она сначала была худого мнения об нем и что он ее ставит гораздо ниже Прасковьи Михайловны, а доброго Турчанинова (чиновник. — *С.Ш.)* я разлюбил точно с той минуты, как она за ужином попросила его налить квасу. По уверению в его расположении ко мне я старался соблюсти наружную благопристойность, но тщет­но; дело дошло до ссоры, может быть, ему столь же чувствительной, как мне стакан, им налитой.

В доме Уткина, при всех Грибоедовых, при Казан­ской Марфе, завел неука во святилище истории и там дурачил досыта. Бедняжка, хотев спастись во тьме богословской галиматьи, ухватился за предопределение: Я, кратко окинув систему Лейбница и заставив всех хохотать над его учеником Вольфом, выгнанным из Керлина, в заключение сказал, что если б я верил предопределению, то теперь перестал бы верить, ибо невозможно, чтоб Александр Иванович говорил такие нелепости по определению Бога. И его склонность к Марфе не могла примирить! Эта ревность еще чудеснее по рассуждению, что я совершенно уверен в добродете­лях Вариньки. Сердце человека есть нечто пресмешное.

*26 го. Среда.*

Учил Сонюшку ввечеру. Варинька сидела с нами втроем и, разговаривая, писала в Петровск моими перь­ями; Прасковья Михайловна весь вечер спала; Алек­сандр Николаевич занимался в кабинете, а я — я глядел На Вариньку, как хотел, и, пресыщенный, так сказать, задохшийся розами, ушел без ужина. Вот чудо: отказался от удовольствия наливать пить Вариньке. Впро­чем, теперь жалею об этом; лишь 10 часов, а я уже в постели. Велю взять свечку и во мраке предамся вооб­ражению... Крепко, крепко прижмусь к тебе, мой милый, мой прекрасный друг [[109]](#footnote-109).

*28-гo. Пятница.*

У Васниных[[110]](#footnote-110) умерла жена Петра Тимофеевича; Василий Николаевич приезжал ко мне с просьбою нарисовать портрет покойницы. Хотя подобный труд чрез­вычайно неприятен, но я взялся, потому что Баснин любим в доме Александра Николаевича. Едва начал, как Бог уже и наградил, дав видеть то, чего никогда не вижу в пятницу: Варинька как представительница дому Муравьева была там, сидела рядом с Лисаветою Осипов­ною, которую Соломирский так превозносит и которая, право, дрянь. Ее лицо имеет хороший, античный профиль; но en face вовсе неправильно, дурно. Глаза очень худы и зубы также. В глазах какая-то немота, тупость, без­жизненность; особенно в присутствии живой, гениаль­ной Вариньки она как мертвый труп.

Со свечкой провожал Вариньку с лестницы к саням, хотел свести ее под руку, но, как дурак, не умел при­коснуться. Странно, что я, столь смелый от природы, пред нею робок до глупости. Ах! Как страстно хочется поцеловать ее руку. Когда-то это будет?

*29-го. Суббота.*

Учил Сонюшку. Варинька, оканчивая московскую почту в гостиной, дважды повторила, что у ней в гор­нице дует из-под полу. Неужели ей не хочется, чтоб я восхищался мыслию, что она вышла для меня? Это пахнет унижением и больно.

Для досадного портрета с мертвой я принужден был сам отказаться от обеда и от счастия наливать пить Вариньке.

*30-го. Воскресенье.*

Александр Николаевич занимался в кабинете с исп­равником, Басниным и Портновым, а я в гостиной наедине с Варинькою, при свете одной лампы вдали под зеркалом. Она, более часу стояв у печки в полутем­ноте и говорив о вере, ощутительно изменила меня, не сказав ни слова нового, — ни слова, кроме того, о чем я уже бессметно раз слышал и чему всегда смеялся. Какую власть может иметь умная женщина!

Александр Николаевич ужинал у Прасковьи Михай­ловны, жалующейся головною болью, а Баснин и Пор­тнов сели с нами.

Сегодня ее лицо особенно свежо и авантажно, а я не ощущал того восхищения, от которого, ужинав с ней наедине, был вне себя и которое все еще столь живо в памяти. Садясь за стол далее обыкновенного от нее, я пожалел и глазами искал бутылки с квасом; она, будто угадав мое затруднение, тотчас попросила через стол налить ей пить. Да воздастся тебе, божественная Ва**р**инька**,** за твое снисхождение ко мне в несчастии. Я незнаю, что было бы со мною в Иркутске без тебя.

После ужина, по обыкновению Александра Никола-спича, все собрались в гостиную. Варинька сегодня крестила у некоего Петрова; по этому случаю Александр Николаевич рассказал, как Громов, перекрещивая лю­теранина в греко-российскую веру, предал анафеме всех лютеран, а Портнов с уверенностью схоластика спросил: лютеране будут ли в царствии небесном? Как камень, в воду брошенный, разрождает круги, так одно это слово вмиг расплодило во мне мысли, и я задумался.

Вспомнив меж прочим и бесконечный спор ранних ученых о славном вопросе, сколько тысяч ангелов могут плясать на острие тончайшей иглы, не толкая один другого, я, разумеется, мысленно надсмехался над всем по-своему; как-то вдруг, взглянув на нее, увидев, что она смотрит на меня, словно испугался своего скепти­цизма, который исчез проворнее молнии, и я слушал Александра Николаевича наравне с Портновым!

Если б простолюдин посредством, например, какого-нибудь магического стекла мог видеть все мои суждения и чувства, прежние и нынешние, и то, чем я был и чем становлюсь, то б, верно, сказал: «Она неспроста, кол­дунья». Мне и самому удивительно, что я, от детства известный за железо, в ее руках делаюсь воском. Давно полночь, а как охотно пописал бы еще, но догорающая свечавелит спрятать вас, любезные листки о любезней­шей Вариньке. Простите.

*Декабръ. 1-го. Понедельник.*

Вчера видел; надеюсь, что и завтра увижу, а скучаю. Повидаться с Варинькой становится с каждым днем понес и более нужным. Чем кончится это? Легко быть может**,** что моею гибелью. Я под хладною наружностию ужасный вулкан. Сегодняшнее волнение чувств напо­минает Томаса Мура: он говорит, что любовь есть страсть,

Которая услаждает, хотя так горько мучит,

И мучит, хотя так приятно услаждает[[111]](#footnote-111)

*2-го. Вторник.*

Учил Сонюшку. Варинька, сидев с нами, разговари­вала и читала Histoire litteraire de FItalie. Она, чему я очень рад, любит историю, но, к сожалению, предпо­читает историю средних веков. Это доказывает, что она более читала исторические романы, нежели историю. Впрочем, она сведуща. Слушая ее, часто вспоминается где-то читанное: La tete d'un homme, le corps d'une femme et le coeur d'un ange [[112]](#footnote-112).

За обедом много говорили о неминуемой смерти П.И. Иванова и жалкой участи его шестнадцатилетней вдовы, иркутской красотки. Они обвенчались в конце июля, а в Покров он переломил себе ногу и с потерею телесных сил перестал любить[[113]](#footnote-113) . Бедняжка ни в чем не может угодить. Говорят, что он до болезни страстно любил ее. Верно, но любил так, как дитя игрушку, — как я некогда пейзаж Пуссена.

Иванов, приобщенный красою, взалкал чувственны­ми удовольствиями любви и, естественно, любил то, что их доставляет. Когда же при мучениях болезни удо­вольствия, попросту сказать, нейдут на ум, то он и стал к ней равнодушен. Это доказывает, что его любовь была тот общий всем животным инстинкт, влекущий самца к самке, а отнюдь не та, которая свойственна душе изящных чувств и которая в числе тех даров природы, коими разнствует человек от прочих тварей. Я совер­шенно уверен, что Александр Николаевич на смертном одре нимало не изменится в своей любви.

Чтоб узнать, по поручению Вариньки, отправлена ли ее посылка к М.К.Ю. [[114]](#footnote-114) , я был у почтмейстера и там встретил другого рода несчастную от замужества, сестру А.А. Меркушева, которая беспрестанно плачет и из свежей толстой девки становится похожею на чахотку

Point de milieu: I'Hymen et ses liens

Sont les plus grands ou des maux ou des biens.

(Voltaire)[[115]](#footnote-115)

*3-го, Среда.*

Варинька писала на диване; подле нее спала Прасковья Михайловна; я учил Сонюшку и поглядывал на группу двух сестер, сравнивал их, разумеется, не только по наружности, но и по всему. Они обе принадлежат к числу тех немногих созданий, кои, подобно Богу Создателю, могут быть счастьетворцами человека. Хотел бы кое-что записать, но не очень здоров и сверх того грустен. Лягу спать — нет, не спать, а так лежать. Счастливый сон не скоро смыкает вежди, алчущие Варинькой.

*4го. Четверток.*

Опять в ужасном волнении. Поутру прислал за мною почтмейстер, от него по надобности зашел я на минуту к Вариньке и вовсе неожиданно увидел всех разодеты­ми. «Что это значит?» — «Княжна Варвара Михайлов­на именинница». — «Вы без сомнения дожидаетесь Александра Степановича (генерал-губернатор А.С. Лавиинский. — *С.Ш.)* с дочерью... Прощайте».

Никто, cela va sans dire[[116]](#footnote-116), не пригласил ни на обед, ни на ужин, даже остаться на минуту. Ее взор показался дик, неласков.

Дошед до перекрестка, терзаемый и любовью, и злым враном Прометея, я был в столь страшном состоянии, что, боясь прийти домой, пошел без цели по городу и твердил невольно в памяти оставшееся из Байронова Манфреда: Faut-il conserver une vie qui n'entretient en moi que le sentiment de ma ruine[[117]](#footnote-117)

Как средь клубящихся черных тучь бури блестят перуны, так в душе, преисполненной горестей, отвсюду окруженной бедами, мелькали попеременно то конец страданиям в пристани смерти, то верх счастия в объятиях Вариньки.

Пришед домой и простершись на диване, хотел читать,, но не мог, так же как и обедать; впрочем, был уже гораздо спокойнее. Не знаю, потому ли, что человек легко верит исполнению своих желаний, или по пред­чувствию, но мне, право, думается, что божественная Варинька будет моею; что, живучи с Варинькой, пре­образуюсь и буду счастлив без славы великого человека.

Теперь, простывши, уверенный в превосходстве ее ду­ши, я не верю, чтоб ее взор мог изменяться по подстрекновениям мирской суеты. При этом сомнении рассудок говорит: «Несчастный! Ты страстно влюблен» — и напо­минает, как жена, быв захвачена с любовником и упре­каемая мужем, отвечала: «Я вижу, что ты уж не любишь меня: прежде ты верил мне более, нежели своим глазам».

Глубоко на груди вырезанное платье и спущенный палатин позволяли сквозь прозрачные кровы видеть ее плечи: они тучны и форм хороших. Она была одета очень со вкусом — бог, как бог.

Чтоб рассеяться, пойду куда-нибудь.

*6-го. Суббота.*

При поздравлении Александра Николаевича с днем ангела его отца он с лицом живейшего удовольствия, сняв с руки кольцо и показывая внутри его надпись, сказал, что ровно за 14 лет в первый раз увидел Пра­сковью Михайловну. Несмотря на праздник, Сонюшка училась, Патя чертила, Варинька писала в Москву. Уезжая на обед к губернатору, Александр Николаевич целовал жену и детей, а на Вариньку даже и не взгля­нул. Она, взором провожая его поцелуи, заставила меня думать о том, что чувствует в подобных случаях оди­нокая Веста ее лет.

Тут мне столь жарко захотелось поцеловать ее, что с трудом дышал. Обращаясь с нею, я часто чувствую это и всегда удивляюсь, что страсть, не будучи веще­ством, может завалить дыхательный канал. О! Если ты, божок Варинька, будешь моею, то много, много будешь целуема!

К столу она явилась почти невидимкою, переодев­шись в новое клетчатое платье, мною ненавидимое, ибо огромные пуфы и бессметье складок сокрывают от меня

Вариньку.

За обедом на пустой стул я шутя посадил подле себя Патю; малютка, уже кушавшая, вздумала повторить; помогая ей, я ощущал необыкновенное удовольствие. Все семейство становится мне с каждым днем более и

*10-го. Среда.*

Баснина, Портнова, Крузе и еще кое-кого нашел я у Александра Николаевича. Сонюшка, играя с Кешей, худо училась. Варинька ездила к бабушке и оттуда опять к Ивановой. Александр Николаевич сказал Портнову, будто бы я не молюсь Богу, наверно, со слов Вариньки, которой я сам о том говорил. Мне это больновато; ей должно бы рассудить, что жалующийся на свое немоление не может быть безбожником, что созна­ние сделано ей не с тем, чтоб рассказывать, что чрез это Александр Николаевич может измениться в распо­ложении ко мне. Впрочем, она точно Ахиллесово копье, целит язвы, ею нанесенные. Лишь взглянет, и все забудется. Я сейчас же, ложась спать, помолюсь об ней.

*12-го. Пятница.*

Я никогда не воображал, чтоб от двухдневного невидания любезной могло быть так ужасно грустно. Сей день походит на дни в Шлиссельбурге и кажется целым столетием.

*13го. Суббота.*

Я уже так привык к Варинькину сидению с нами, что еще до начала урока нетерпеливо ожидаю ее при­хода, будто должного. Меж тем как она, усаживаясь, застегивала снизу свое дикинькое платье, я долее обык­новенного видел ее ноги: они стройны, хороши, возжгли желание прямо английское — к подвязкам[[118]](#footnote-118) ; но — увы! — как достать? У меня нет никакого агента, нет и не было ни одной мысли об ней, которой бы должно стыдиться пред нею.

Ушакову[[119]](#footnote-119) без всякой цели подарена штора, впрочем, нарочно купленная. Подкуп Клима, верно, не имеет ничего постыдного. Кстати, запишем этот случай. Про­шлого лета старик Клим, быв у меня с работою по заказу и выхваляя свои труды, проговорился, что он делал для городнических княжон секретную машинку, какой в Иркутске никому не сделать, да и не видать. На вопросы он отвечал, что делал для княжны Варвары Михайловны, что она пожаловала 25 рублей и вместе с городничихой просила никому не сказывать: более же никак не хотел открыть.

Тщетно я посадил его, подчивал вином, закуской и, наконец, деньгами; он ушел, оставив меня в мучитель­нейшем сомнении, но не надолго. По нужде в деньгах, за 5 рублей обрадовал до восхищения, сказав, что у княжны один зуб вставной. До того я мучился воспо­минаниями дамских секретных машинок.

Во время отцовского правления театром у нас в доме жила славная певица Салвини, отличной красоты и, что называется, распремилая баба, — жила почти це­лый год: незадолго до отъезду, всходя на лестницу, вдруг остановилась с повисшею ногой; тогда открылось, что у ней нет одной ноги до половины ляшки.

За обедом много говорили об Иванове, и в каждом Варинькином слове являлась ее прекраснейшая душа. Я начинаю с жаром целовать милые ручонки милой Пати не потому ли, что она походит на Бабе (Варвара. — *С.Ш.)?* Ах! Лобзая Патю, я слизываю Варинькины по­целуи... Мне за тридцать лет, а впервой люблю, впервой знакомлюсь со свитою приятств любви. Я представил бы Венеру не как древние на дельфинах, на львах, на голубях, а средь бессметья утех в виде эротов, которые все и плачут и смеются.

*15го. Понедельник.*

Как блещут искры под огнивом, с такою-то быстро­тою душа, мрачная после вчерашнего невидания Ва­риньки, вдруг осветилась радостию при встрече пред­лога побывать у ней с известием, что Ефимов едет в Москву и что с ним можно писать и послать все что угодно. На ней то самое клетчатое ситцевое платье, в котором я ее видел в первый раз и почел развалиной; сего же дня она показалась мне божеством.

Достойно заметить, что это старенькое платьишко она никогда не надевает в назначенные мне дни и что она при моем появлении раза два-три взглянула на него, мож тем как я, примечая это, клялся расцеловать ее ножки при первой возможности. Мне было весьма приятно слышать, что она писала в Петровск о присылке ей «Истории Лорензо Медициса», сочинение Роско[[120]](#footnote-120) , а еще приятнее честь, какую делает мне вопросами о Роско. Божок считает меня сведущим!

Рассказав, что в гостях у Елисаветы Александровны слышала от Манцефельдши, будто бы за Зарубаеву сва­тается жених отличнейших достоинств, поручила мне разведать, кто он таков, и сказала, что в Иркутске не знает ни одного хорошего жениха, кроме Н.С. Турча­нинова. Счастие, что этот ботаник, столь близко живу­щий, редко бывает у Александра Николаевича. Теперь, если случится видеть его в гостиной, то замучаюсь, бедняжка.

*16-го. Вторник.*

Варинька, в продолжение урока с нами не сидевшая и вышедшая незадолго до обеда, приветствовала меня лишь беглым взором, а Крузе речью, обратившись к нему передом, ко мне спиной. При трудности дыхания я почувствовал свое лицо изменившимся, отворотился к Сонюшке; рассудок вмиг оправдал ее, и сердце про­стило, но дух, гордый, до Вариньки ни от кого не зависевший, ропщет на унижение. Она права; я вино­ват. После толиких страданий еще ли бояться смерти! Жить, мучиться для того, чтоб быть презираемым. В крепостях, Шлиссельбургской и Петропавловской, и в Вятке, и в Одессе, и дорогою в Сибирь я, противостоя судьбе, твердил, что все цари в складчину не довольно богаты, чтоб сделать меня своим орудием; а теперь для обладания одной женщиной готов на все... Надо оста­вить перо, чтоб не испортить тетрадки... Прости.

*17 го. Среда.*

Дудин, отъезжая в Москву с Ефимовым, был у Алек­сандра Николаевича и вызвался, как и сам Ефимов, доставить письма; по сему случаю все пишут, кроме Александра Николаевича. После урока я хотел идти домой; попросили ужинать; я, разумеется, остался, ибо невозможно самому у себя отнять удовольствие нали­вать пить Вариньке. Но Варинька дала мне Робертсона, «Историю Америки», сказала, что у ней очень много письма, что она как-то способнее пишет в своей комнате, и ушла.

Я смотрел ей вслед, смотрел на диван, где она сидела, смотрел, как Прасковья Михайловна способно пишет подле Александра Николаевича, и в продолжение не скольких минут совершенно ничего не мыслил, не чув­ствовал. Бедное сердце! Ты, кажется, обмирало. Ах! На что, на что ты ожило? Брег страданиям еще далек; быть может, что его и вовсе нет для тебя.

В пустой гостиной грустно рассуждал, как от детства не мог терпеть английской повелительности отца своего, а теперь считаю величайшим благом принадлежать же­не, которая столь мало думает обо мне. Кто поверит, чтоб, начав с этой точки и мечтав о Варинькином царствовании над мною, я скоро развеселился и все кончилось шуткою: мое имя Romain; миром повелевали римляне, а римлянами — жены.

Раскрыв знакомого Робертсона, нашел прекрасную статью о состоянии женского пола у диких американцев и каждую истину, каждую хорошую мысль желал раз­делить с любезною Варинькою.

За ужином она казалась невеселою и меня тем же сделала. Может быть, она писала о чем-нибудь непри­ятном, думал я, карауля прикосновение ее руки к ста­кану. При горестном расположении духа сладчайшее удовольствие в Иркутске отравилось воспоминанием, что и Турчанинов наливал ей пить; но ведь он не караулил по-моему, сказал я про себя и тем несколько утешился.

*20-го. Суббота.*

С сею почтою, думал я, идучи к Александру Нико­лаевичу, писать не будут, ибо писали с Ефимовым и Дудиным: пришел и вижу, что все пишут и пишут без конца, по-обыкновенному до четвертого часа. Восхи­щенный беспредельною любовью к родным, я, глядев на Вариньку, опять преисполнялся теми ощущениями, пред которыми все ничто и которые здесь, на земле, не изъясняются. По невозможности расцеловать ее научал Митю и, дрожа, подносил малютку к устам кумира.

Рано явилась бабушка[[121]](#footnote-121) , едущая в Камчатку: бабушка по звнанию, бабушка по наружности и по всему, несмотря на 19 лет. Она безумолчно болтала о своей вражде с

тою бабушкою, нимало не рассуждая, что занимательноедля бабушек скучно для других. Дура совершенно отняла[[122]](#footnote-122) у меня Вариньку. Ее песнь не переме­нилась и за обедом, после которого Татьяна Андреевна пригласила ворону в свой оркестр за кулисы.

В продолжение стола случилась эпизода, гнусная со стороны Александра Степановича (Лавинский. — *С.Ш.):* вестовой доложил, что генерал-губернаторский повар требует говядины. Городничий (А.Н. Муравьев. — *С.Ш.),* будто дворецкий, обязан заботиться о продоволь­ствии дворни его высокопревосходительства хорошею говядиной!!! «Пусть идет в мясной ряд, я не мясник», — сказал благородный Александр Николаевич. Его лицо, оскорблением вмиг измененное, вмиг отпечаталось во взорах Прасковьи Михайловны и Вариньки. С какою удивительною быстротою электрической силы сообща­ются ощущения меж любящими и друзьями! Варинькино лицо необыкновенно выразительно.

*21-го. Воскресенье.*

Давно бы надо записать, что каждое утро, пробуж­даясь, при первом ощущении жизни первою мыслию всегда Варинька; в жару чувств вместо ее рук целую свои, обыкновенно в ладонь или в плечо. Случается, что в сии же минуты молюсь и Богу, разумеется, более об ней, нежели о себе. Не оскорбляет ли Бога молитва человека в таком состоянии? Верно, нет; обожая добро­детель, нельзя прогневить Всеблагого.

Сегодня, пролежав в постели до обеден, я молился с неизъяснимым жаром и в заключение молитвы бла­годарил Вариньку за свое обращение к Богу. В молитвах христиан — Бог, Иисус и Богоматерь, а у меня — Бог и Варинька. Если б кто знал об этом, то б, конечно, сказал: бедный, с ума сходит. Верно, нет; никогда не сойду, ибо не сошел в Шлиссельбурге.

Сей день — день веселья для иных, мучения для меня — длинен без конца. Боже! Сколько таких дней в моей жизни и когда они прекратятся?

Вечером стало несносно; пошел к Александру Нико­лаевичу; Прасковья Михайловна сидела в кабинете, где находились Баснин и Портнов; гостиная была пуста, и я нисколько не утешился; пред ужином явилась княжна Катерина Михайловна; сели за стол, а Вариньки все нет как нет; наконец пришла и она, одетая по-празд­ничному, но скучна — ах! — скучна, скучно и мне; после ужина она скоро ушла, ушел и я... Прости, портфель, — что-то худо пишется. Прости.

*23-го. Вторник.*

Александр Николаевич прислал сказать, что Пра­сковья Михайловна приобщалась Святых Тайн и потому Сонюшка не будет учиться. Как больны сии унизитель­ные повестки! Не понимаю, для чего добрый Александр Николаевич так поступает и почему я не могу, подобно Турчанинову, там обедать тогда, как Сонюшка не учит­ся. Этому коротышу, верно, не делали таких извещений. Он — губернский секретарь, он — то, что я от детства презирал и чем охотно сделался бы теперь для облада­ния Варинькой.

Сегодня я в первый раз недоволен и даже раздражен своею страстию к ней. Чтоб не написать вздору, остав­ляю перо. С какою грустью ожидаются праздники! Она везде будет ездить, будет танцевать... Как странно в измученном сердце отзывается слово: будет танцевать.

*25-го. Рождество.*

Весь день провел в рисовании и довольно спокойно, гораздо лучше, нежели как ожидал, кажется, потому, что приготовился страдать.

*26-го. Пятница.*

После множества неисполненных обещаний наконец решительно пред самой Варинькой дал слово окончить портреты к празднику, но не окончил, и за то сам себе определил наказание: не выходить со двора и не видеть Вариньки до тех пор, пока окончу; а так как это про­длится целую неделю, то пошел поздравить с праздни­ком и в последний раз, взглянув на божка, проститься со своею единственною отрадою.

Судьба к казни казнь прибавила, и я не видел ее: карета стояла у крыльца, княжна Катерина Михайлов­на встретилась в прихожей, Прасковья Михайловна с Александром Николаевичем в зале, а Вариньки вовсе не было, знать, нездорова. Прасковья Михайловна лю­безно приветствовала, Александр Николаевич сухо ска­зал «прощайте», карета двинулась, загремела.

За воротами, стоя как вкопанный, думал — что? не помню; потом, несмотря на 30 градусов морозу, ходил мимо окон, еще не закрытых, но замерзших, и наконец ушел, вспоминая, как жалок, как презрен казался мне полковник П.Б. Пестель [?], влюбленный в мою любез­ную сестру Софию и во время ее свадьбы толкавшийся меж кучерами на дворе. «Ах! Чем-то кончится моя любовь?» — твердил я, идучи домой. Взор невольно обращался к небу, при ужасном хладе необыкновенно ясному, усеянному бессметьем миров, и я как будто искал в превыспренних помощи против Вариньки.

На первом шагу в комнату, вздохнув, почувствовал, что, пламенея чистою, высокою любовью, нельзя быть атеистом. Тотчас переоделся в халат, сел по-своему на пол и молился Богу, молился о Вариньке; молился и самой Вариньке: Варинька, люби меня! За ужином что-то шепнуло мне: «Если б старик Лавинский вздумал сватать Вариньку, то б она, верно, пошла за него без малейшей любви». Я вздрагиваю, перестаю есть; вздор, вздор — вопиет сердце, а что-то знай свое продолжает:

Привязанность теперь исчезла с лица земли;

Ни огонь гения, ни благородство рождения, ни небесная

добродетель

Не могут вызвать на устах красавицы благосклонную улыбку.

Золото — единственная тема для женщины,

Золото — ее единственная мечта.

*(Томас Мур)[[123]](#footnote-123)*

Вздор, вздор — вопиет сердце, а что-то знай свое ладит:

Женщины ищут только богатства и власти:

Где они — всюду порхает сладострастие.

Красавицы похожи на бабочек, свет притягивает их,

А Маммон успевает там, где сами ангелы потерпели бы неудачу.

*(Байрон)[[124]](#footnote-124)*

Вздор, вздор — вопиет сердце. Ах! Дай Бог, чтоб было вздор, твержу я, неопытный в делах любви, и, ложась спать, не прощаюсь с любезною портфелью о любезной-прелюбезной Вариньке; она для праздника ночует со мной под подушкой. Не так ли дети спят с игрушками?

*29-го. Понедельник.*

Предобрый Александр Николаевич удостоил меня посещением. Я теперь так рад, как вчера был грустен. Какое ребячество! Но не я тому виною: знать — по законам природы — все влюбленные суть дети. При­знаюсь, я вне себя от радости; я воображал, что Алек­сандр Николаевич не любит меня, скептика.

*31 го. Среда.*

Вошед в залу и не видев никого, я дожидался; но вдруг выбежавшая Сонюшка попросила в гостиную. Отворив притворенную дверь, застал Вариньку перед зеркалом с плечами вовсе голыми: она примеривала белое платье для встречи Нового года у губернатора; а мне очень-очень хотелось встретить его, наливая пить тебе, божок!

За обедом Александр Николаевич сказал, что губер­натор просил Сонюшку в маске, и если не противно, то и Прасковья Михайловна пусть пожалует. «Так меня вовсе не просили?» — воскликнула Варинька. «Нет; и помину не было». — «Ах! Как я рада; я могу не ехать». — «Очень можете...»

Крузе советовался со мною о черкесском костюме, и я узнал, что в следующее воскресенье губернатор хочет удивить Александра Степановича кадрилью, из лиц «Ивангоя», романа сир Вальтера Скотта, что Варинька будет черкешенкою, женою черкеса Крузе. Человека светского, обыкшего к подобным сценам, это, конечно, не потревожило бы, но я созрел в глубочайшем уеди­нении, в затворе, и случай, по собственному моему сознанию вздорный, убил меня. Как ужасно мое состо­яние. Я, хотевший, так сказать, подобно гомерову Юпи­теру, двумя шагами достигнуть края вселенной, очу­тился на одной из самых низших степеней человечества; я не могу даже и в шутку, наравне с Крузе, быть тем, чем хочется быть вправду.

Я плачу; и в моих глазах есть слезы! Не знаю, кто достоин счастия, мною желаемого; но Крузе, верно, недостоин даже и в шутку на минуту быть Варинькиным мужем. Впрочем, я нахожу какое-то утешение в том, что она досталась Крузе, который более занимается своими вонючими чубуками, нежели ею.

Теперь, при совершенном расстройстве духа, я едва ли хорошо управлюсь[[125]](#footnote-125) с золотым яблоком, которым в виде Париса хочу предпочесть Прасковью Михайловну в публичном маскараде. Я знаю, что это не очень-то ладно; но, как дикий, следую гласу чувств. Готов бы оставить, да костюм уже шьется и музыканты подговорены. Я должен танцевать соло пред Прасковьею Ми­хайловною; Уткин Violino primo, а Артемов Secondo [[126]](#footnote-126) ...

Как в одну минуту все простыло! Хочется лечь в постель. Какое бы счастие вмиг уснуть и проспать до понедельника! Тогда Варинька уж не будет женою Крузе.

Сегодня Александр Николаевич со всевозможною любезностию дал мне 100 рублей. Он, по-видимому, руко­водствуется прекрасною апофегмою: делая благодеяние, будь учтивее того, кто приемлет оное. И это обстоятель­ство немало содействует к углублению моих мучений. Чтоб к Пасхе опять не подвергнуться такой же мило­стыне, я письменно предуведомлю. Я ему должен 375 рублей, из коих первые 200 даны с отличнейшею добротою по первому слову незнакомого.

*1831 год*

*Генварь. 1-го. Четверток.*

Сейчас из маскарада. Видел, как Варинька танцует французской кадриль, и теперь еще вне себя от восхи­щения; она отменно хорошо и чисто делает па. Теперь я понимаю, каким образом пристращаются к искусным танцовщицам и почему Жандр, лихой мужчина, любил старуху Колосову[[127]](#footnote-127).

Вот что странно: пишучи сии строки, мне пришло на мысль, лучше ли всех Варинька танцевала. Не знаю; я ничего не видел, кроме ее и аптекаря, который был ее кавалером. Еще помню, что Елисавета Александровна хорошо держится; а ног у ней вовсе не приметил.

По-видимому, я весь был занят Варинькою, как Ньютон вычислениями. И так слава Богу, что я не снял с себя маски, как Ньютон иногда в гостях, считав себя дома, снимал свой парик.

При полном собрании всей иркутской знати я, одетый Парисом, отдал Прасковье Михайловне яблоко, завернутое в бумагу, поставил к ее ногам корзинку и вдруг исчез, как метеор. Надо бы еще кое-что записать, но, волнуемый удовольствием, не в силах. Влачив жизнь в затворе — жизнь, всегда равно горестную, я почитал себя охладевшим и отнюдь не надеялся быть способным к столь живым, столь сладостным ощущениям. Ах! И за дар сильно чув­ствовать надобно сию же минуту, ложась спать, поблаго­дарить Бога и, разумеется, Вариньку. Прости, мой ангел.

*2 го. Пятница, поутру.*

Есть камни, которые, лежа на солнце, вбирают в себя свет и после светят в темноте: подобно им глаза мои, вчера напитавшись Варинькиным танцеванием, действу­ют на чуствилище и сегодня равно вчерашнему; да и ночью, при всяком пробуждении, кумир танцевал пред мной. Увы! Я, как Иксион, лобзаю мечты вместо Юноны. Завтра суббота, завтра, божок, увижу тебя. Прости [[128]](#footnote-128).

*3-го. Суббота.*

Александр Николаевич бранит меня за Париса, ни­мало не браня; а Праскевья Михайловна благодарит, шутя. В наказание А.Н. доставил мне случай услужить ому: поручил сделать ящичек, похожий на орган, для Сонюшки, которая завтра, в виде савоярдки (Savoyard — трубочист. — *С.Ш.),* будет петь в маскараде у Александра Степановича (Лавинского. — *С.Ш.).* Да еще просил заказать в рабочем доме кое-что для его костюма Храмового рыцаря.

Сонюшка не училась. Варинька вышла лишь к столу; нанятая и почтою и приготовлениями к маскараду, попросила Татьяну Андреевну налить ей пить; вдруг, опомнившись, взглянула на меня; я, как Жан-Жаков Эмиль [[129]](#footnote-129), смутился, покраснел, удивляясь, что тайна открыта. О! Если б можно, повергся бы с извинениями к ногам божка.

Крузе — немец как немец, ничего не видит; как немец — без вкуса; как немец — скуп ужасно и при всем том как немец — добрый человек. Я искренне расположен к нему и весьма доволен, что он, а не другой, так близок в доме Александра Николаевича. Примери­вая черкесский чекмень, на живую нитку сметанный и лишь с одним рукавом, он пришел в нем за советами к Вариньке и тем так рассердил меня, что я затевал одеться черкесом единственно для того, чтоб затмить его, но скоро передумал.

*4-го. Воскресенье.*

Сей день, один из приятнейших моей жизни, почти весь проведен среди добродетельнейшего семейства Александра Николаевича. В продолжение стола, меж тем как Сонюшка при двух скрипках и басе повторяла стишки, нарочно сочиненные для Александра Степано­вича и его дочери, я расстрогивался до слез, особенно пассажем:

От милых в отдаленья, Под небом неродным, Вы шлете утешенье Родителям моим.

К счастию, никто не приметил смущения; Вариньки не было. Она кушала после, часов в пять, без малейшей церемонии, на ненакрытом столе и всего лишь два блюда. Я, стояв пред ней, благоговел, как пред Богом. Ах! Как хочется расцеловать ее рученьки; что я говорю, расцело­вать! Хоть бы раз коснуться устами; от страстного жела­ния и теперь вне себя... На минуту оставлю писать.

По ее поручению обрезывая маску до носу, я вырезал промежуток ноздрей для свободнейшего дыхания: за недосугом ли Марианы и других или по недоумению, как пришить флер к так отрезанной маске[[130]](#footnote-130) , Варинька заставила меня же и пришивать, а наконец прислала и ленточки пришить. Я от роду ничего не шивал, а взялся и, ковыряя иглою, вкушал удовольствие превы­ше всякого изъяснения. Кажется, что я еще никогда не чувствовал ничего подобного. В память сих прекрас­нейших мгновений я при первой возможности велю представить себя на портрете пришивающим к маске флер, а чтоб не смеялись, повешу подле Геркулеса, прядущего у ног Данаи. Боже! Боже! Когда-то сбудутся мои желания? Надо лишь вырваться из этой бездны ничтожества.

Варинька, одетая черкешенкою, явилась чудом для всех, кроме меня, разумеющего ее во всяком платье. Я подал ей салоп, свел с крыльца, посадил в карету и, возвратясь в комнаты, удивлялся, что можно до такой степени прийти в восторг от подобных мелочей. Потом помогал одеваться Александру Николаевичу. Его кос­тюм Храмового рыцаря есть прекраснейший; мысль речи достойна мужа Прасковьи Михайловны; но я не распространяюсь описанием их; я лишь об одной Ва­риньке пишу с удовольствием. Да и спать пора, давно за полночь — второй час.

Генуя, похрабрившись пред Людовиком XIV, была принуждена послать своего дожа просить извинений: тще­славный король велел показать ему Версалию во всем ее блеске и потом спросить, чему он наиболее удивляется. «De m'y voir» [[131]](#footnote-131), — отвечал дож. Если б меня спросили, чем наиболее очарован я сегодня. «Обретением столь жарких, столь нежных чувств в самом себе, — сказал бы я, — чувств, которых, может быть, никогда бы не нашел без содействия Варинькиных глаз».

Что за волшебство! Простившись с портфелью, поло­жив ее под подушку, задумался и опять пишу. Я как будто проснулся при слове «Варинькиных глаз». Про­стите, любезные, прелюбезные глазки. Сейчас расцелую пас. Простите[[132]](#footnote-132) .

*26-го. Понедельник.*

Освобожденный после трехдневного ареста, пришел домой, хочу писать и не могу. О! Если б ты, любезная Варинька, могла, подобно Богу, знать все мои мысли и чувства, и желания, и страдания, то б мое счастие было несомненно.

*27-го. Вторник.*

Благодарю тебя, Бог преблагой! Благодарю не мно­госложными молитвами, а одним словом из глубины души, смею сказать, столь же чистой, как и жаркой. Я опять обедал у Александра Николаевича; опять в продолжение урока наслаждался беседою с Варинькой; опять нянчил, опять целовал Патю, образ Вариньки. Как мила эта малютка!

К обеду явился Крузе, который всегда раздражает меня, непочтительно разваливаясь пред Прасковьею Михайловною, и которого я страшно люблю за невни­мательность пред моим божеством.

Варинька породила во мне неизъяснимое любопытство, поручив достать от Дружинина, как некую драгоценность, дрянной, никуда не годный ящичишко, оклеенный дабою и из Читы[[133]](#footnote-133) привезенный. Я об ней столь высокого мнения, что вовсе не верю и никогда не поверю Юшневской — право-право, не верю, не поверю, а несмотря на то, му­чусь... Надобно, да и хочется еще кое-что пописать, но недосуг. И так прости одно из сладчайших удовольствий, удовольствие писать об Вариньке. Прости. Прости.

*31-го. Суббота.*

Вошед в залу, я застал Вариньку гологрудою за столом с Патею; малютка никак не хотела выйти из-за обеда без котлеток и долго тянула свою трапезу, в продолжение коей я, восхищаясь своим кумиром, вспомнил стишки:

Амур вокруг летает,

Венок приносит ей

И стрелы сокрушает:

Они в глазах у ней.

Сегодня рождение Сонюшки, и потому она не учи­лась; а по случаю возвращения чрез Москву в Петербург курьера от департамента остаточного казначейства все пишут. Варинька поручила мне наклеить картинку[[134]](#footnote-134) , которая, верно, доставила бы живейшее удовольствие, если б оно не отравлялось недоверчивостию, особенно со стороны Александра Николаевича... Ах! Можно ли роптать? Они не свидетели ли ужаснейших примеров слабости человека и даже измены самых избраннейших людей? К тому же я еще ничем не заслужил особенной доверенности. Достойно заметить, что я средь горя не­сколько утешился, видя, что Крузе еще меньше меня доверяют; так человек не только не обижается насмеш­кой, бранью и тому подобное, но еще и веселится, если не его одного касаются.

Завтра по желанию Вариньки буду рисовать узорчик, гирлянду из незабудок для канвы. Какая счастливая мысль заставить меня рисовать незабудки! Спасибо тебе, мой милый, мой прекрасный друг.

В лугах цветных, росистых,

Я вижу мотылька;

Прильнув, пьет мед душистый

Из сладкого цветка:

Ты будь в цветке, мой ангел милый,

А я в счасливом мотыльке.

Ах! если б мне

И умереть на сем цветке.

*P. Me док с*

*Февраль. 3-го. Вторник.*

В течение 16 месяцев все, что видел в Вариньке, все, что слышал от Вариньки, всегда прельщало, очаровывало; сегодня в первый раз увидел то, что не нравится. Остав­шись один в гостиной и смотря на ее простый, шелковый редикюль, захотел поцеловать его, а вместо того расце­ловал; а как никто не шел, то опять приблизился к нему за поцелуями и увидел — табак на платке[[135]](#footnote-135); увидел вмиг, но не вмиг поверил; долго смотрел, нюхал, наконец убеж­денный, взгрустил, а все-таки прижал нечистый платок к жарким устам и даже неохотно расстался с ним.

Моими незабудками, как кажется, она чрезвычайно довольна. Долго любовалась ими, изъявляла желание поскорее вышить и обещалась по окончании показать мне; только показать, подумал я, вздохнув; когда-то подаришь своею работою? Теперь я в столь низком состоянии, что, обожая Вариньку и ее счастие предпо­читая своему собственному, не должен бы желать по­добных ласк, но — ах! — в моей ли власти не желать?.. Неужели к Варинькиным именинам не поправлюсь? Как памятно 4 декабря.

Опасное состояние Соболевской после родов столь тревожит чувствительную Прасковью Михайловну, что иной почел бы их родственницами, а они едва знакомы и, верно, ничего общего не имеют; одна отменно обра­зованная боярыня, другая простолюдинка. Если б меня спросили, как Солона: «Кто счастливейший из смерт­ных», я ответил бы: «Александр Николаевич; ибо Бог почтил его добродетельнейшею из жен».

И от этой пустой мысли навернулись у меня слезы — слезы умиления или зависти? Не знаю. Я становлюсь весьма чувствителен. Добрый от природы, я был негод­ным по правилам, излишне напитавшись духом Фран­цузской революции, особенно духом Мирабо, коего из­речение La petite morale tue la grande[[136]](#footnote-136) было основанием моей нравственности и всех моих дел до вступления в дом Александра Николаевича.

Варинька также оказала свою неимоверную доброту. Негодяйка Пульхерия Шелковникова прислала уведо­мить Прасковью Михайловну, что ее сестра Ольга боль­на, при смерти: я сказал, что Ольга девушка, а в опасности от несчастных родов; Варинька, пропустив это мимо ушей, твердила: бедная Ольга, жалко Ольгу, надобно съездить к Ольге...

Что за ангел! Сама к себе строгая, как Марк Аврелий, снисходительна до крайности к слабостям других; но — увы! — до меня не очень-то добра и частенько мучит, напри­мер: сегодня на вопрос, где живет Ольга, — близ Тифлисской, чрез один дом от меня, отвечал я; извините, я не знаю, где вы живете, сопровождалось колким взором, о котором нельзя иметь понятия не видавшему, до какой степени ее лицо выразительно. Я, бедный, сказал спроста, разумея, что их люди знают мою квартиру. С другою я умел бы расплатиться, а пред ней теряюсь и пикнуть не смею.

Она дала мне читать Vie et pontificat de Leon X, par Roscoe[[137]](#footnote-137) . Сонюшка худо училась, стояла на коленях и от прутьев спасена лишь слезами Пати. Эта крошка будет другая Прасковья Михайловна.

Сон клонит: едва вижу, что пишу; время давно за полночь. Прости, портфель.

*7-го. Суббота.*

Вариньку я застал уже одетою за столом с Патей. Дикое платье мне очень нравится; не будучи излишне сбористо, оно дает видеть прекрасный стан. Сегодня ее лицо необыкновенно свежо, румяно и мило неизъясни­мо. Задыхаясь и трепеща, я предложил позволить мне сделать ее портрет, который она пошлет в Москву ма­тушке и сестридам; за полгода пред сим она сама о том заговаривала, а теперь, разумеется, проникнув тайну и намерение, иначе думает.

Неожиданное «нет» так расстроило меня, что я дол­жен был отвернуться к Сонюшке, чтоб скрыть смуще­ние. Она в подобных случаях удивительно догадлива, может быть, от многого чтения романов.

О! Если б этот день, счастливейший в моей жизни, опять повторился! Я желал бы хорошенько описать его, но — увы! — лоскут бумаги, ты можешь ли быть зер­калом моей души? И вы, буквы, сухие знаки, вы можете ли сообщить другому мое восхищение?

Третьего дня Зарубаев принес мне тисненой бумаги; развернув сверток, увидел узор гречанки, которому обра­довался, как ребенок. Теперь, рассуждая об этом, нахожу, что сей узор мне любезен потому, что есть первое Варинькино поручение, что он почти за целый год нарисован с большим удовольствием, а я ненавижу рисовать узоры для канвы, следовательно, я уже любил ее тогда.

Сонюшка училась очень хорошо; милая Патя тож рисовала; я вдоволь целовал ее пухленькие ручонки. Состояние моих чувств беспрестанно изменялось; от чего во время стола родились пиитические сравнения. Как солнце, освещая облака, ежемгновенно изменяет их краски и светы и тени, так взоры бога Вариньки на одной минуте делают меня и веселым и грустным, и счастливым и несчастливым. Варинька — светило; я — тело мрачное (corps opaque), и как земля живет солнцем, так я Варинькою, и т.п. и .т.п.[[138]](#footnote-138)

*10-го. Вторник.*

Не знаю, может ли человек ощущать что-нибудь приятнее тех чувств, кои преисполняют влюбленного, тогда как он, неуверенный в склонностях своего боже ства, вдруг средь разговора усматривает соответствен­ность страсти. В продолжение урока Варинька, пишучи к родным и разговаривая со мною, меж прочим, кстати, сказала, что мало людей, способных долгое время же­лать одного. «Однако же есть, — подхватил я, — да еще и такие, которых препятствия лишь больше рас­паляют». «Это худо, как мне кажется; потому что с исполнением желаний исчезнут затруднения, и они простывают. — Потом при приятном движении головы прибавила: — Надо уметь постоянно желать одного в продолжение многих лет».

Нет возможности описать моего состояния при сих словах, хотя напомнивших горькую истину, но и об­нявших радостию. Казалось, что стены дома сделались хрустальными; сквозь них вдали, на бреге неба, виде­лись исполнения всех желаний, которые отвсюду текли ближе и ближе. Я стоял как будто бы в волшебном замке, окруженный призраками будущего счастия... Кончилось бессметьем мысленных поцелуев в нежней­шее горлушко.

Я подрядился чинить ей по 30 перьев в месяц и уж много доставил. Сотня перьев на выбор стоит два рубля, следовательно, в целый год выйдет рублей на семь. Она принуждала меня взять вперед пять рублей, но, к сча­стию, стало духу ослушаться. «Я по себе знаю, — го­ворила она, — что чинить перья очень скучно». «При­знаюсь, — отвечал я, — и мне скучно, но для себя; а для вас очень, очень приятно». Это, разумеется, не солгано. Облегчая ее труды, могу ли не чувствовать удовольствия? Ах! Мой ангел, какого усердного при­служника имела бы ты в своем муже, если б я достиг счастия быть им.

Опять все пишут; какой-то Романенко едет в Москву. Надышние (недавние. — *С.Ш.)* письма, готовившиеся с курьером департамента государственного ост. казначей­ства, опоздали и остались непосланными. Тогда у каж­дой было по пучку, а все еще не все написали; опять пишут и ввек будут писать, но все-таки не допишут. Прежде я сравнил бы их с Данаидами; теперь иначе думаю, находя, что писать о любезных есть неисчерпа­емое удовольствие.

Сонюшка столь порядочно нарисовала глаза, что ны­не же отошлются к старой княгине (мать П.М. Муравь­евой. — *С.Ш.)*

Чтоб прикрыть свои услуги Вариньке, я вызвался услужить и княжне Катерине Михайловне — взялся наклеить ее трудов портрет Татьяны Андреевны, кото­рый по искусству превосходит мои ожидания, но совер­шенно нем в отношении к моим чувствам. О! Сколь чудесно он был бы красноречив, если б был Варинькою нарисован.

Она дала мне читать книгу, присланную из Петровска на весьма короткое время: Memoires de m-r de Bourrienne [[139]](#footnote-139). Спасибо, ангел. Сейчас в постели новый Иксион осыпет твой образ тысячами пламеннейших поцелуев. Прости, прости, божок.

*11-го. Среда.*

Портрет Татьяны Андреевны должен быть непременно наклеен к вечеру, ибо завтра отсылается; а на меня лень напала, ужас как не хотелось пачкаться, не мог принять­ся; вдруг пришло на мысль, что кстати можно наклеить Варинькин узор гречанки, и дело вмиг пошло на лад.

Странно: княжну Катерину Михайловну я, разуме­ется, люблю и уважаю как Варинькину сестру — почему же не сладка работа для нее? Я вообще склонен к толстым женщинам, а влюблен в нетолстую, мимо ее толстой сестры! Если б Варинька знала мой прежний вкус к мягким бабам, то едва ли бы поверила моему невинному обращению с Юшневскою. Признаюсь, что злодейка, страстно целуясь, соблазнила бы, если б тут не было горничной Лизы. Это было прежде Байрона; несмотря на то, средь ночных бесед с Юшневскою мысль о Вариньке ни на минуту не отступала.

Однажды, как время было уже гораздо за полночь (мы сиживали до заутрень tete a' tete), она подарила мне колечко, гордианский узел, сняла его зубами и из роту с поцелуем передала в рот; я жарко расцеловал се, но более ничего не сделал, ссылавшись на Лизу. На другой день заставила выбрать лучшие из ее узоров, которые тотчас и подарила мне; отговариваясь ненадобностию, я приблизил чернильницу и просил надписать их Прасковье Михайловне, ее дочери и двум княжнам; они усмехнулась, задумалась и на прекрасном венке после имени княжны Варвары Михайловны Шаховской написала: Un frele souvenir d'une amitie durable[[140]](#footnote-140); мне это понравилось чрезвычайно; я поцеловал ее и подал тож для надписи кайму из цветов, коих заглавные буквы составляют Vergissmeinnicht[[141]](#footnote-141) ; опять задумалась, выслала меня сказать что-то казаку; возвратившись, вижу: Роману Михайловичу Мария Юшневская; я без церемонии хотел вычистить ножичком, за что она рас­сердилась не на шутку; но смелые поцелуи скоро сни­скали прощение сладострастной польки.[[142]](#footnote-142)

Через несколько минут пришла Мавруша, которой я отдав узоры, велел отнести их княжне Варваре Ми­хайловне от Марии Казимировны. После сего случая она беспрестанно божилась, что я в кого-то влюблен до дурачества; но нимало не подозревала в страсти к Вариньке, считая ее непригожею с лица.

Пришли гости.

Отъезжая, она иначе думала, открыв истину.[[143]](#footnote-143)

*12-го. Четверток.*

Жадно взялся за Бурьенна и 1-ю часть уже прочитал. Он беспристрастен. При чтении всякую хорошую мысль хочется — ах! — очень-очень хочется разделить с Варинькою. Какое-то предчувствие говорит мне, что я достигну счастия читать, лежа подле нее на диване и вдоволь целуя ее руки. Неужели я обманываюсь? Судь­ба! Если ты обманешь меня, то сделаешь ужасным атеистом. Она есть мой узел и с Богом, и с людьми.

*14-го. Суббота.*

...Она приметно становится румянее, красивее; а я, напротив, очень худею. Я никогда не заботился о своем лице, теперь же, признаюсь, желал бы быть красавцем.

Возвращая 1-ю часть Бурьенна, я показал Вариньке лучшие места в ней и меж прочим одно сравнение, которое ей понравилось так же, как и мне. Самодержцы Европы, видя свое владычество в опасности от Фран­цузской революции, составили союз против нее; но вместо согласного действия лишь обманывали друг друга; граф Монгольлиард, говоря об этом, сказал: «Я считаю королей, вошедших в коалицию, мошенниками, которые очищают карманы друг у друга в то время, как их ведут на виселицу».

Романенко еще не уехал, и они все еще пишут. Прасковья Михайловна сочла 40 страниц; у Вариньки, верно, не меньше.

Во время обеда Александр Николаевич уезжал на пожар; дожидаясь его, долго сидели за столом; к довершению удовольствия мой маленький дружок Патя, сама притащив стул, села подле меня и тем дала чув­ствовать, что любит.

Я охотно ем тарелку хорошего бульона, что у пре­доброго Александра Николаевича бывает не очень-то часто, заменясь жирными щами не моего вкуса. По отменному супу я догадался, что Крузе болен, и не ошибся; однако же он сегодня привил оспу Ванюше. Княжна Катерина Михайловна наговорила много бла­годарений за наклейку портрета, а Варинька за узор лишь взглянула, это мне очень понравилось.

В сию минуту так страстно хочется Варинькина поцелуя, что отдал [бы] за него несколько лет жизни. Уже поздно; лягу спать и даром расцелую тебя, божок неприступный... Иначе бы шли дела, если б я не был так варварски убит — если б был жив. Грустно, лягу; впотьмах лучше мечтать.

Прости.

 *16-го. Понедельник [[144]](#footnote-144).*

Я очень обрадовался, встретив этот пассаж, который, к оправданию себя, *вписал [[145]](#footnote-145)* в свой журнал. Теперь я смелее буду сознаваться в своем обожании Вариньки и сейчас же скажу, что с некоторого времени всякую ночь, в жару, в исступлении, осыпаю бессметьем поцелуев все ее тело. Давно изречена клятва целовать у ней ноги, если они будут в моем распоряжении. Чтоб иметь понятие о пылкости и свежести моих чувств, надобно рассудить, что я люблю в первый раз и что я целых 14 лет не видал женщин, быв на 17-м году от роду заточен в Шлиссельбургскую крепость, на пустынном острову в истоке Ла­дожского озера. Нельзя без содрогания вспомнить об этом ужасном кладбище живых... Завтра я увижу своего бога. Ах! Приди, приди, день завтрашний, поскорее.

*17го. Вторник.*

В продолжение урока Варинька мало сидела с нами. По известию от Дружинина (член тайных обществ. — *С.Ш.)* я уведомил ее, что ящик цел[[146]](#footnote-146) и что он, уже зашитый в холст, скоро получится. Приметно изменив­шись в лице, засыпала вопросами: когда, сегодня ли, завтра ли, кто привезет? Потом посыпались просьбы: прислать тотчас по получении, хоть в 9, хоть в 10 часов вечера, — прислать, не читая, а наконец — и не рас­крывая. Я варварски радуясь, отвечал двусмысленно; да и как не радоваться письмам, за прочтение коих готов откусить себе палец.

Сегодня именинница ее горничная, Мариана; после обеда идучи с детьми к ней в гости и полагая, что, возвратившись, не застанет меня, подошла: «Роман Михайлович! Могу ли надеяться?» Я едва лишь взгля­нул на нее, как роковое *можете* само вырвалось. С намерением взять назад это *можете* я дождался ее, но при всех нельзя было ничего сделать, а как прощался, то она опять повторила, могу ли надеяться, и у меня опять вырвалось: *можете.*

Дорогою домой мне пришло на мысль, что я станов­люсь эхом Варинькиных желаний. При всем том не знаю, как исполнится это обещание. Я вне себя при одной мысли, что чрез мои руки пойдет Муханово[[147]](#footnote-147) письмо к Вариньке. Что же будет тогда, как я его получу и как прочесть его будет в моей власти?

*18 го. Среда.*

Боже! Какая ужасная страсть! И я плачу! Я, никогда не плакавший в Шлиссельбурге, теперь плачу так, что сквозь слезы едва вижу писать? После четырнадцати­летних томлений в затворе я освободился лишь для того, чтоб, влюбившись, мучиться, чтоб, пресмыкаясь средь долу во прахе, не сметь сказать люблю, не сметь поцеловать руки. Ах! Где гордые мечты моей юности? Ящик получен. Взглянув на него, я задрожал, по­чувствовал щемоту сердца, обернувшись к зеркалу, уви­дел себя бледным, как бумага, и отер холодный пот. Нет, подобные ощущения не могут быть напрасны; в этом ящике мой смертный приговор, счастие Муханова. Чтоб угостить крестьянина, привезшего ящик, я велел поставить самовар, попросил его меж тем отдохнуть в прихожей, а сам, легши на диван и поставив пред собою ящик, колебался прочесть письмо, чтоб узнать, жить ли мне или умереть; но она просила не открывать — возможно ли же открыть? Неужели Варинькины прось­бы не священны для меня? Клянусь, священны и век пребудут священными.

Напоив мужичка чаем, сам выпил две рюмки маде­ры, чтоб быть повеселее, и отправился; доставил ящик, как получил, зашитым в холст.

Если б я верил бытию волшебниц, то б, право, по­думал, что она в числе их: ибо едва встретился с ее взорами, как и исчезла моя печаль, а казалось, что уже никогда не развеселюсь.

Ей не хотелось при мне вынуть письмо, но я, несмот­ря на стремление повиноваться кумиру, не мог осилить желания видеть его и как-то, против воли своей понем­ногу откопав, вместо письмеца нашел несколько боль­ших кувертов; она, читая адрес одного, проворно перенорнула вниз адрес другого, крупно и худо надписан­ного; я, наклонившись, как близорукий, к ящику, про­чел исподлобья: Pour ma bien aimee et delicieuse Babet [[148]](#footnote-148). Эти слова, теперь убивственные, в ту минуту были совсем иными и не произвели ничего неприятного, ка­жется, потому, что на ее лице блистало счастие, которое я предпочитаю собственному...

Я не буду, я не могу писать далее. Помолюсь Богу, авось легче будет. Но, увы! Вместо того чтоб молиться Богу, что-то влечет молиться Вариньке. Она мой бог; у ней ключи моего рая... Господи! Прости слабостям своея твари. Уж вечерни! А я еще не обедал, да и не буду обедать. Лягу спать. Прости.

*19го. Четверток.*

Вчера, помолившись Богу и Вариньке, я, не обедав, лег спать и очень удачно заснул. Простодушный адъю­тант, с которым живу, хлопочет вкруг меня, думая, что я нездоров. Мне пришло на мысль, что если б нашлось лекарство к излечению меня, то б я, разумеется, не употребил бы его; лучше умереть, нежели перестать любить Вариньку.

В детстве меня восхищала трагедия Коцебу «Испан­цы в Перу», которая теперь живо разыгрывается в моей памяти, и я желаю для своей Коры умереть как Ролла. Ах! Если б быть дон Алонцом! Впрочем, сегодня я уже не то, чем был вчера, и чувствую свое малодушие. Хотеть, чтоб она в подобных летах была бы совершенно чуждою любви, есть дурачество. Она, верно, склонна ко мне; я должен сделать остальное. Умение увенчается успехом, но я уже не так решителен с тех пор, как узнал ее.

Жюлиани приехал, зовет с собою, отказать нельзя, нужно.

*Вечер.*

Рыкачев с женою в Кяхте. Я принужден был целый час говорить с какою-то Мариею Александровною, ко­торая с любовником уехала от матери из Петербурга. По общему мнению, она пригожа и ловка, а мне пока­залась несносною болтушкой. Впрочем, я и сам призна­юсь, что в сем случае мое суждение ничего не стоит: теперь мне, кроме бога Вариньки, ни одна женщина не нравится, а может быть, и век не понравится.

Надысь, рисуя портрет Медведева сына в самой тес­ной комнатке, я, скучен, мрачен, сидел наедине с Кле­ментиной и жалел, что не Варинька на ее месте. А Зарубаев, пришедший под конец сеанса и приметивший мою тоску после с удивлением сказал мне, что я скучаю даже и за пазухой у Клементины Ивановны.

Давно собираюсь записать свои беседы с Клементи­ною, болтавшей кое-что примечательное, но не могу собраться, ибо об ней, как и обо всем, кроме Вариньки, писать несносно. Теперь весьма нужно сделать несколь­ко северных сияний для предоброго Александра Нико­лаевича; никак не могу приняться, а об Вариньке готов писать и день и ночь.

*21 го. Суббота.*

Варинька, Варинька, мой милый, мой прекрасный друг Варинька! Я думал, что как при всходе солнца исчезают туманы утра, так при первой встрече твоих очаровательных глаз исчезнут мои сомнения, печали, и бедное сердце опять озарится лучами надежды. Как же я обманулся! Ты так хладна, твои взоры так редки, так немы, уста безмолвственны, что я... — ах! — на что мне жизнь, коль не быть твоим мужем, твоим слугою. Поверишь ли, ангел, что мне точно столько же хочется быть твоим слугою, как и мужем. Никто не знал бы лучше меня, где найти твои наряды[[149]](#footnote-149) , твои одежды, чулки, подвязки, башмаки...

Как все превратно! Давно ли я, надмеваясь мечтал пребыть навсегда свободным. От детства алчный славою, полный гигантскими затеями, проектами вселенских благ, филантроп, космополит, презирал нежных пас­тушков, смеялся над Наровым, издыхавшим пред Со­нюшкой [[150]](#footnote-150), а теперь сам издыхаю. Умная Сонюшка, то и дело получая от меня горячие поцелуи и зная, что я вышел из крепости жарким обожателем женщин, мно­гажды говорила: «Попомни мое слово, Ромаша, ты влюблен, и твоя любовь будет ужасна». Странно, что я не влюбился в Одессе, прожив там почти целый год и быв столь ласково принимаем во многих хороших до­мах. Тамошние дамы одеваются со вкусом; более ничего не нашел в них хорошего. Они казались мне глупыми роялистками, может, потому, что я приехал в Одессу июня 1828 года, в бытность там двора [императорского][[151]](#footnote-151) .

Услышав от Прасковьи Михайловны, что для благо­получного прорезывания зубов Ванюши нужны зубы, вынутые у живых мышей, я с удовольствием вызвался достать их. «Я вперед знала, — сказала Варинька, — что Роман Михайлович лишь услышит, то возьмется за это поручение».

В продолжение урока, чтоб прочесть что:нибудь на ее лице, я заговаривал об ящике, но бесполезно; ответы были кратки, незначительны. Постараюсь победить себя и более не напоминать. Не зная меня хорошенько, она может ошибиться, может подумать, что я ищу случая к увеличению услуги.

В самом начале обеда Александр Николаевич сказал, что он собирается за море[[152]](#footnote-152) на горячие воды, и тем испортил мой аппетит. «Надолго ли вы едете?» — «На месяц; надо успеть возвратиться по льду». — «Пра­сковья Михайловна останутся здесь?» — «Никак не останусь, поеду, поеду». — «Итак, София Александров­на не будут учиться рисовать?» — «Она хочет Сонюшку взять с собою...» Я сидел ни жив ни мертв, посматривал на Вариньку, но не встречал ее взоров.

В гостиной после кофею, меж тем как Варинька читала, сидя на диване к дверям, княжна Катерина Михайловна близ печки рукодельничала, Александр Николаевич курил трубку под окном подле Прасковьи Михайловны, попросту сказать, как у Христа за пазу­хой, дети играли в зале, где Ушаков мел пол, я, заду­мавшись, рассуждал о Варинькиной связи с Мухановым и вдруг удивился, что не знаю, сколько ей лет от роду.

С глупостию бредящего в горячке вышел в залу, понянчил свою любезную Патю, потом, обратясь к Уша­кову, дал ему ящичек красок и тихонько велел принести их ко мне попозже, часов в десять. Умница Варинька вмиг подоспела с вопросом: «Какие это краски?..»

По приходе домой, не дожидаясь Ушакова, послал взять у него краски, но — увы! — они уже у Марианы, которая и отдала их. Догадываясь, как и почему по­пался этот ящичек Мариане, чувствую стыд и повторяю: сегодня черный день. Вот моя первая вина пред Ва-ринькой. Виноват! Сейчас расцелую твои, божок, нож­ки. Прости. Прости.

22-го. *Воскресенье.*

Чтоб воскресенье было воскресением и для меня, я в 8 часов вечера пошел к Александру Николаевичу. «Не принимают». — «Чьи это шубы?» — «Кабрита, Крузе и Портнова; только их троих поименно велено принять, больше никого». Еще грустнее сделалось: го­стиная была пуста, это немножко облегчило. Ясно вижу, что мои требования вовсе некстати, безрассудны, глупы, а измениться никак не могу. Все говорят, что я горд; Жюлиани уверяет, что я в счастии человек неприступ­ный, а я уверен, что если б я был счастлив, то б этого никто не сказал. Мне очень понравилось у Бурьенна: «Тонко чувствующие люди считают себя обязанными быть тем более гордыми, чем они несчастнее» [[153]](#footnote-153).

*23-го. Понедельник.*

О если б ты, бог Варинька, знала, до какой степени меня восхищают твои малейшие ласки! Форейтор при­нес Бурьенна, 3-ю часть: «Княжна Варвара Михайловна приказала вам кланяться и отдать книжку». — «Она сама тебя послала?» — «Сама». — На столе лежали медные деньги, пред тем размененные; я велел взять полтину на калачи; сунув в мешок руку, он, по-види­мому не веря своим ушам, заставил повторить — пол­тину на калачи. Не зная, каким образом столь бездель­ный случай может сильно обрадовать не сумасшедшего, знаю только то, что, прочитав полсотни страниц, я все еще в волнении от радости. Благодарю тебя, мой милый, мой прекрасный друг, благодарю и, что бы впредь ни случилось, по гроб буду благодарить. «Когда осаждают исевозможные лишения, малейшее облегчение, которое имеет место, рождает надежду на новое благо» [[154]](#footnote-154) .

*24-го. Вторник.*

Председательствуя за детским столом, Варинька очень охотно кушала простые гречневые блины и хвалила их. Я подал ей с удовольствием, непонятным даже и мне самому, стакан квасу на тарелке с большого стола. Я стоял против нее за стулом Пати и был истинно счастлив. Милая крошка удивительно слушается свою Бабинку[[155]](#footnote-155) .

При уроке ее не было; я, разумеется, думал, что придет, и, с нетерпением ожидая, обманывался каждым шорохом; наконец, выбившись из сил, преступил свои правила: спросил Сонюшку, что делает княжна Варвара Михайловна. — «Пишет». — «Что пишет?» — «Сочи­няет». — «Сочиняет! Что такое?» — «Она сшила себе тетрадь, в которую сочиняет». — «Да что такое сочи­няет?» — «Какой вы смешной; я сама не знаю».

Александр Николаевич за болезнию кушал в каби­нете; Прасковья Михайловна, разумеется, с ним; княж­на Катерина Михайловна тож почему-то не была за столом. Итак, *я* в первый раз имел счастие обедать со своим богом tete a tete. Кажется, должно бы быть в неизъяснимом восхищении — вовсе нет, а почему так — не понимаю.

У ней три кольца: железное, гордианский узел и не­забудки. На двух первых как-то машинально, без малей­шего умысла, и остановились мои глаза при прочтении: Pour ma bien aimee et delicieuse Babet; с той минуты породилась странная антипатия от этих колец; не могу видеть их равнодушно. Сегодня черт знает что им сдела­лось, беспрестанно мелькая в глазах, мучили во весь обед, впрочем, весьма приятный. Ее взгляды благосклонны, но против прежнего все чего-то недостает.

При слове о Раевском (декабрист. — *С.Ш.)* я сказал, что имение его родных в шести верстах от имения моей сестры Марии, что я знаю его сестер: все пять с даро­ваниями, но очень непригожи и потому все состарились в девушках[[156]](#footnote-156), кроме одной, которая по лицу чуть ли не худшая из них, а замужем весьма счастлива. «Чтоб так выйти, — возразила она, — надо иметь много самонадеяния. Я знала графиню Головину, самого малого росту, сухую, смуглую — словом, безобразную, которая, оставшись вдовою с четырьмя- или пятьюстами душ, неблагоразумно вышла за красавца и совершенно погу била себя. Ее участь ужасна!» Этот пример ни к чему не служит. Разве красавицы всегда счастливы?

Из многих случаев я заметил, что она весьма невы­годного мнения о своем лице; эта странность, столь редкая в женском поле, выгодна для меня; но у меня иногда вопреки намерениям вырываются похвалы.

У генерал-губернатора в следующий четверток будет бал, на коем она принуждена быть одна из своего дому. Мне теперь напомнился маскарад и Варинька пред мной в кадриле — какие чистые па! Как живо в памяти искусство ее ног!.. Тысячи поцелуев вам, любезные ножки...

Простите.

*25-го. Среда.*

Опять радость: кучер принес 4-ю часть Бурьенна с обыкновенным приветствием — приказала кланять­ся. — «Княжна сама тебя послала?» — «Сама». Слово «сама», как будто волшебное, делает посланного милым: поцеловал бы его, если б можно.

Из ума не выходит, что завтра Вариньку всяк кто хочет будет брать танцевать, а я и не увижу ее, не увижу до субботы, не увижу, несмотря на пламеннейшее желание видеть беспрестанно. Какое несносное состоя­ние! Боже мой, когда это переменится?

В Шлиссельбурге я сделал несколько худых привы­чек. Долго лежать в постели поутру — из числа их; если когда вдруг встану, то похожу на невыспавшегося ребенка. В Одессе любимое чтение было в постели до 10, до 11 часов утра. Ныне же вовсе иное: все эти дни принимаюсь не вставши читать Бурьенна, но тщетны усилия. Решительно в постели нет возможности рас­статься с мыслью о Вариньке. Монахи сказали бы, что мною бесы обладают.

*28 го. Суббота.*

Сегодня красный денек. Барон Шиллинг[[157]](#footnote-157) , из Кяхты ночью приехавший, обедал у Александра Николаевича. Я ухитрился посадить подле себя Патю и, помогая ей, наслаждался тем удовольствием, какое обыкновенно рождается во мне от сближения с милой малюткой, похожей на Вариньку. Варинька, позавтракавши бли­нов, очень мало кушала, но жажду имела и много пила, а я наливал понемногу. Прасковья Михайловна и Алек­сандр Николаевич, занятые Шиллингом, ничего не ви­дели. Довольный этим случаем, я счастлив. Сегодня красный денек. Светит и надежда: посредством Шиллингова ходатайства возвратиться домой и после толи-ких бедствий найти все утехи, все радости в объятиях Вариньки. Какая пристань! Боже, помоги достигнуть.

На вопрос Прасковьи Михайловны о успехах Соломирского в его гипотезах черепословия и физиономии, страстию к которым он занят весь без остатку, как Турчанинов ботаникою, барон вместо ответа вздохнул и рукой махнул; сам, же барон с величайшим жаром витийствует об открытых им китайских книгах, в числе которых есть драгоценный Словарь[[158]](#footnote-158) — 4000 названий одной вещи (!) и полный Ганжур, то есть собрание священных книг. Признаюсь, слушая его, я не раз вздохнул, думая, что Ганжур, так же как и мечты Соломирского, послужит лишь к умножению бредней в несчастной Европе.

Александр Николаевич мудрее их обоих: сообразуясь с истинным назначением человека, он вопреки гонени­ям судьбы наслаждается высшей степенью счастия смертных. Ах! Варинька, мой милый, мой прекрасный друг Варинька, в твоей власти сделать меня подобным же счастливцем. Неужели ты, ангел, погубишь челове­ка, толико тебе усердствующего?.. Помолимся Богу и уснем с надеждами.

*Март. 3-го. Вторник.*

Как обыкновенно, в час пополудни пришел к Алек­сандру Николаевичу; в прихожей нет никого; иду в залу, там княжна Катерина Михайловна кушает с деть­ми. «Сегодня урока не будет, — сказала она, — все на обеде у Александра Степановича (Лавинского. — С.ДГ.)». Остолбенев, я стоял в изумлении, похожем на то, какое могло бы родиться тогда, как если б вдруг законы природы изменились и все перевернулось вверх ногами. Потерявшись, я торопливо вышел. И Пати не поцеловал!

С приближением вечера дело доходило до отчаяния; принужден идти и, прикрывая детскую слабость, твер­дить, что таким образом София Александровна никогда не сделает должных успехов и что мне скоро будет стыдно. Вмиг с изъявлением благодарности последовало приказание сесть рисовать, но по выразительному лицу Вариньки легко было видеть, что она, не обманываясь предлогами, знает истинную причину усердия.

Мы много говорили. Смотря на нее с совершенней­шею свободою, я пришел в такой восторг, что если б тут не было Сонюшки, то, может быть, отважился бы сказать о том. Жар был так велик, что выпил два стакана воды, коль скоро Владимир начал собирать на стол... Адъютант пришел. Прости.

*7го. Суббота.*

В продолжение урока на Варинькином месте сидела Прасковья Михайловна и оканчивала почту, потому что в кабинете приезд барона (Шиллинга. — *С.Ш.)* мог бы помешать. Александр Николаевич показал мне вид Пет­ровского острога (где были заключены декабристы. — *С.Ш.),* снятый архитектором Васильевым; едва увидел, как уже и вскипело желание угодить своему божку — ту ж минуту попросил срисовать.

Варинька, разумеется, писавшая в своей комнате, явилась лишь к обеду и лишь дважды дарила счастием налить ей пить. От стола по-обыкновенному все собра­лись в гостиной к кофею; потом Александр Николаевич, мучимый мозолями, пошел в спальную на аудиенцию цирюльнику Федору, куда вскоре последовала и Пра­сковья Михайловна, cela va sans dire[[159]](#footnote-159) .

Варинька, повязав минут с десять Патин чулок, тож ушла и все с собою унесла. Вдруг мне стало ужасно грустно; один Бог знает, как я дожидаюсь вторников и суббот и как больно обмануться, не наглядеться, не наговориться...

Княжна Катерина Михайловна, окруженная детьми, любезно разговаривала со мною, но — увы! — без Вариньки нет мне нигде даже и тени удовольствия. **Я** скороушел; но, не простившись, не скоро шел. К счастию, стеснение в груди облегчилось голосом каза­ка — призванный, поговорило нею в зале с четверть часа, простился и пошел, трепеща от радости. Не чудеса ли это? Я весьма желал бы, чтоб какой-нибудь философ, метафизик или психолог объяснил мне средства дейст­вия Варинькиных глаз на Мою душу- Признаюсь, я испугался бы возможности перестать любить ее, но желал бы любить поумнее...

Она воротила для того, чтоб поручить найти хорошее зеркальное стекло в Петровж, княгине Волконской (жена декабриста. — *С.Ш.).* При обещании нарисовать для нее вид Петровского острога, которым можно по­дарить в России одну из несчастных супруг или матерей, я увидел, что ей самой нужен этот рисунок, и потому едва ли получит его.

Ах! Как больно не исполнить ее желания- О, если б ты, бог Варинька, могла видеть борьбу моих чувств в сию минуту. Как поверить, но я завидую участи Муханова и охотно согласился бы на его место с одним условием — быть любимым Варинькою? Если она его любила, то, разумеется, странно; любить вполовину ей несвойственно; дважды же любить страстно, говорят, невозможно. Итак, я не буду Варинькой любим!

Есть случаи, в которых изящнейшие дары природы служат лишь к умножению наших бедствий: и я теперь не рад своей редкой памяти, хранящей против моей воли всякие пустяки из сочинений Байрона, например: «В своей первой страсти женщина любит своего воз­любленного, во всех других она любит только любовь»[[160]](#footnote-160) ; «Тот мало знает женщину, кто думает, что ее легкое сердце завоевывается вздохами. Не проявляйте слиш­ком много покорности, когда вы изображаете свою лю­бовь очаровавшей вас богине; вы убедитесь, что она отвергнет вашу страсть, несмотря на весь жар вашего красноречия. Благоразумнее всего даже скрывать свою нежность» [[161]](#footnote-161) .

Если так, то что остается мне. Нет, не может быть так: это сказано насчет женщин обыкновенных; Варинь­ка не в числе их. Я не верю Байрону, а Байрон все-таки мучает.

Наступающая ночь едва ли даст мне отдохнуть. Я чувствую, что я малодушен, глуп, дурак; но как исп­равиться? И бедный Вертер (герой романа Гете. — *С.Ш.)* точно так же чувствовал свою слабость, а застрелился. Теперь вспомнилось, как я в детских летах, читая «Вертера», плакал. Я склонен к подобному концу. Варинька! Неужели ты погубишь меня? Увы, мой ангел, ты не знаешь, до какой степени обожает тебя несчастный.

Ромаша.

*8-го. Воскресенье.*

Какой счастливейший, пресладчайший вечер! Ничье, ничье перо не выразит моего восхищения. Целых 4 часа, от 7 до 11, почти беспрерывно смотрел на Варинь-ку, говорил с Варинькой. Я вне себя; слезы радости в глазах. Благодарю тебя, мой милый, мой прекрасный друг. Я когда-нибудь отважусь упасть к твоим ногам и расцеловать их. Какая непостижимая сила в твоих взорах! Отчего встреча с ними столь чудесно счастьетворна?.. Нет, не буду изъяснять: здесь, на земле, нет слов для райских радостей. Что-то влечет помолиться Богу, Богу небесному, и Вариньке, богу земному.

Сначала мы говорили в гостиной наедине, при одной Пате; потом за Сонюшкиным ужином, за общим столом, и, наконец, опять в гостиной при полном собрании. Меж тем как Александр Николаевич, играя в шахматы с бароном» вспоминал свои походы (во время наполео­новских войн. — *С.Ш.),* как Прасковья Михайловна с выразительнейшими лицеизменениями слушала о ми­нувших опасностях мужа, ею боготворимого, я после двух рюмок мадеры, средь пылу чувств, в первый раз сладострастно озирая все тело своего божка, мечтал о таинствах под кровами одежд... Впрочем, — чему конечно не всяк поверит — если б не было иной возмож­ности к соединению с Варинькою, то б, разумеется с ее согласия охотно подвергся бы несчастию Абеляра[[162]](#footnote-162) ...

К чему писать такие вздоры? Виноват. Прости, пор­тфель любезный о Вариньке священной. Я в горячке. Лягу спать поскорее, чтоб еще больше не провиниться. Прости[[163]](#footnote-163)

*10-го. Вторник.*

В продолжение почти двух часов рисования Алек­сандр Николаевич, сидя с нами в гостиной, читал Quarante questions sur l’ame[[164]](#footnote-164) и забавлялся сыном, ко­торого Прасковья Михайловна то и дело приносила к нему и которого можно назвать источником счастья в несчастии. Какой урок для меня, осмеивавшего все эти изящнейшие способности души именем мещанских чувств.

Мой друг Варинька мучится головною болью; иначе и сей день был бы красный денек. Несмотря на болезнь, явилась к столу, одетою очень хорошо, раза четыре дарила удовольствием налить ей пить. Насыщаясь неж­нейшими, сладостнейшими удовольствиями, одобряе­мыми совестию, я познаю, что истинная любовь может удовлетвориться без тех грубых чувственных удоволь­ствий, в коих почитается верх счастия любящихся.

Средь хаоса ощущений мне пришло на мысль, что как бы хорошо, если б Варинька имела ясное понятие о моих наслаждениях при встрече с ее очаровательными взорами; но ведь постигать это можно не иначе, как из собственного опыта, то есть надо, чтоб она уже любила кого-нибудь столь же страстно, как я ее люблю. Ах! Нет, подумал я, пусть лучше век не понимает меня.

Тут вспомнился досадный My ханов, и я задрожал. Варинька в это время мотала шерсть, приготовляясь шить мои незабудки. «Вы пошлете их в Москву?» — спросил я. «В Москву», — ответила она с улыбкой, весьма значительной. Она удивительно догадлива, про­ницательна; мне трудно с нею говорить, никогда не отваживаюсь ничего выведывать. По просьбе Портновой, сестры Юлии, она взялась заставить меня переделать узор каймы по канве и тем так обрадовала, что я принужден был выйти в залу к Пате.

*14го. Суббота.*

Варинька давно уже не председательствует во время урока и не пишет в гостиной; желал бы знать причину: неужели потому, что я свободно читаю издали.

Я никак не могу ни в чем отказать ей. Она не только выманила тайну писем Марии Казимировны о Муханове, но и самое обещание показать письма. Зато чудесно успо­коила. Тут нехотя опять и опять вспомнишь копье Ахил­леса. При слове, что Петр Александрович (Муханов. — *С.Ш.)* надеется быть ее мужем по выходе на поселение, она отвечала: «Он, верно, не желает того, что не может соста­вить моего счастия». Как кратко и удовлетворительно! И как я рад и счастлив, и тебе, божок, благодарен!

В продолжение этого разговора Патя, вскарабкав­шись рисовать к ней на колени, уронила свою бумажку, которую поднимая я коснулся Варинькиной ноги — с намерением или нет, право, сам не знаю; это случилось внезапно, в одну секунду, кажется, по какому-то вле­чению природы, похожему на магнитную силу. Ах! Как бы я расцеловал ее ноги, если б можно!.. Я весь дрожу и задыхаюсь... Лягу на минуту.

Александр Николаевич обедал у барона. Я сидел за столом подле своего божка. После кофею мы опять говорили наедине и довольно долго. Она так хвалит Муханова, что я все более и более завидую. Их знаком­ству семнадцать лет; но по службе [Муханов] находился в Петербурге; в Москве жил лишь последние шесть месяцев; эта кратковременность много содействует па­дению горы с моих плеч.

Кавказские успехи породили во мне предрассудок, что пред великим несчастием бывает великое счастие; следовательно, Муханов пред ужасною бедою был очень, очень счастлив — был Варинькою любим. Эта гипотеза смешна мне и самому, но совершенно разрушить ее никак не умею, может быть, потому, что от нее есть предубеждение и в мою пользу: ибо так как я до сих пор был ужасно несчастлив, то теперь буду очень, очень счастлив. Это доказывает истину, давно сказанную, что человек легко верит тому, чего боится, а еще легче тому, чего желает.

/ *7*-го *Вторник.*

*И* сегодня Варинька не писала в гостиной; это больно, да и гораздо больно было бы, если б после обеда не села шить мои незабудки. Кому-то они назначены?

Я показывал ей два письма Марии Казимировны: меж тем как она их читала, я старался читать ее лицо и нашел одно лишь удивление; приметил, что руки дрожат. Она часа с два говорила об этих письмах: ясно, что они беспокоят ее. Апофегмы легко остаются в моей памяти, и я вспомнил из Бурьенна: «Удел порядочных людей — всегда подвергаться злословию со стороны людей порочных» [[165]](#footnote-165).

Она, кажется, не обманываюсь, она — ах! — она любит меня. Меня называют гордым... самолюбивым. Возможно ли при подобных обстоятельствах, снискав любовь Вариньки, не гордиться? Скажу искренне: я думаю, что на моем месте решительно никто не успел бы в этом.

*20-го. Пятница.*

Наконец нашед хорошее шлифованное стекло, тотчас воспользовался случаем видеть Вариньку. К сожале­нию, ей показалось дорого 25 рублей. Я застал ее в гостиной за'шитьем незабудок и, наклонившись, будто к пяльцам, был очень близок к шее, ясно освещавшейся под окном и так прельстившей меня, что едва дышал от страстного желания поцеловать нежнейшее горлушко.

Отдохнув, опять наклонился, чтоб обонять, чем Варинька пахнет, и узнал, что ничем. Как это прекрасно! Я никак не могу наглядеться на ее шею: хороша до очарования. Ее чудесные волосы совершенно черны, что мне очень нравится. Все сии красоты я лишь недавно стал находить.

Моя любовь имеет начало весьма странное. Как живо оно в памяти и как приятно воспоминание! Будто теперь вижу, как она, худо одетая, в бесцветном клетчатом платье, сидит на диване и вяжет чулок, там где теперь Патин сад. Я тогда был развалиною надежд и ее почел тем же. С первого взгляду породилось об ней самое высокое мнение, как будто на лбу написано: *гений!.,.* Сегодня, нарядная за пяльцами, она чудесно мила. Мне нравится Бюффон[[166]](#footnote-166) , который не мог писать, не будучи одетым.

Княжна Екатерина Михайловна весь день проводит в своей спальной. Это неделикатно, неумно. Человек дышит азотным газом, и потому человеку вредно его собственное дыхание. Вставши с постели, должно по возможности тотчас оставлять спальную. Впрочем, я согласился бы жить в Варинькиной спальной. Как бы я там все расцеловал, все-все — кроме Муханова пор­трета. Вот что странно: сей портрет я видел лишь один раз, тогда как красили полы и как Александр Никола­евич принимал в Варинькиной спальной; в то время, прежде Байрона, Варинька была для меня не то, что теперь, а об Муханове я совершенно ничего не знал; портрет же его будто врезан в моей памяти. В белой рубашке, в подтяжках, сложив руки и облокотив их на простой стол, сидит за решеткою под окном, которое с правой руки; поворот тела вправо и т.п. На что он там висит?

Прости.

*21-го. Суббота.*

Алчный лицезрением кумира, я согрешил: нарочно мешал Сонюшке приняться рисовать, чтоб, жалуясь на нее, заставить Вариньку писать в гостиной. Хитрость совершенно удалась: Прасковья Михайловна послала Патю за Бабешкой, которая вскоре и пришла.

Едва уселась, как, сказав несколько слов о стекле, вспомнила, что я показал ей не все письма Марии Казимировны, и просила завтра принесть остальное. «Добродетель, — сказал я, — может презирать злословие, вздорные письма напрасно беспокоют Вас». — «Ес­ли они беспокоют меня, — подхватила она, — то лишь по одному рассуждению, о котором вы можете догадаться...» От радости я стоял истинно без языка и уже через несколько минут хватился, что надобно бы сказать: «Коли б Вы были сомнительны, то мне едва ли бы допелось сомневаться».

От сего случая расположенный к веселию, за столом наслаждался неизъяснимым удовольствием: покушав икры**,** она шесть раз просила пить и, пьючи, не спускала глпз с меня. Дивлюсь и все не могу надивиться, почему *ее* глаза производят столь непостижимое действие во мне. Боже мой! Когда я ее поцелую? Неужели никогда? И Пасху авось коснусь ее руки; Пасхи я дожидаюсь с самой осени. Надысь за ящик можно бы в награду попросить ручки, но — увы! — пред нею я так робок, как с другими смел и дерзок.

Она любит икру, сельди, семгу и все тому подобное. С каким удовольствием посылал бы я ей гостинцы, если б удалось вырваться из сей бездны скорбей и ничтожества! Ах! Варинька, мой друг, мой бог Варинь­ка, какого друга нашла бы ты во мне... Давно полночь, ты уже спишь, а я еще буду молиться Богу за тебя, потом с подушкой думать об тебе, доколь злодей Мор­фей не сжалится[[167]](#footnote-167).

*23-го. Понедельник.*

По Варинькиному желанию видеть остальное письмо Юшневской, а еще более по своей ненасытной страсти видеть Вариньку я надеялся вчерашний вечер провесть у Александра Николаевича, но она прислала сказать, что не будет дома, и мне, разумеется, стало грустно; впрочем, не по-прежнему. (Слово *почти* само написа­лось: с подобною Девою Солнца до безмолвных восторгов после венца все будешь *почти* уверенным.)

Желая посмотреть хоть на стены, в коих Варинька обитает, я пошел прогуливаться в ту сторону, а вечер был вовсе не для прогулки: темный, бурный, грязь чрезвычайная, особенно около Александра Николаеви­ча. В трещины ставень кабинета светился огонь, сле­довательно, Александр Николаевич был дома; в зале и гостиной тож светилось, но все было тихо и, как ка­жется, пусто.

Потеряв одну калошу, а другую бросив, возвратился домой, читал, ужинал, опять читал, лег спать и — снедаемый тоскою, пошел к Александру Николаевичу. Он, сидя за ужином, грубо бранил меня за незнание приличий; сказал, что подобными поступками могу вынудить его к иным распоряжениям.

Я, оцепенелый, долго стоял как вкопанный, как немый, и наконец кое-как голосом Парки вымолвил: «Надеюсь, что долг чести заглушит во мне все прочие чувства, и потому с сей минуты ваши распоряжения обо мне бесполезны».

Не знаю, как вышел оттуда, но помню, как утром в исступленном отчаянии скитался на брегу Ангары и средь ужасной борьбы чувств думал утопиться. Время было прекраснейшее. Пуссеневские виды одевались в пурпур всходящей денницы, и злато блистало в тихом зеркале вод сапфирных. Прельщенный красою приро­ды, я не желал умереть, долго прощался с жизнию, с Варинькою, которая милее жизни, наконец, собравшись с силами, грянул с крутизны и — от испуга проснулся.

Вообразите мою радость: впотьмах, в постели, тре­пеща, узнаю, что все, кроме потери калош, есть снови­дение. Скоро обедни, а я еще не совсем опомнился.

Завтра вторник, завтра увижу тебя, божественная Варинька! Увижу, увижу и буду счастлив. Пока прости, душа души моей.

Прости. Прости.

*24-го. Вторник.*

Я не видел Вариньки досамого обеда. Какой-то Франц Францович, настраивавший фортепиано, сел так, что мне пришлось наливать пить своему божку через стол. Она не будет оканчивать незабудок; хочет пере­начать другие крестиком по волосяному ситу. Мне очень, очень хочется неоконченных незабудок; как бы легко получить их в иных обстоятельствах, а теперь... какая черная, убивственная мысль!.. Мне грустно, ка­жется, потому, что не нагляделся на Вариньку: Нара-свская с мужем на водах, а моя добрая Варинька вскоре после обеда вздумала съездить к скучающей Ивановой.

Грустно; лягу спать.

Прости.

Нет, не спится; а так лежать еще грустнее; с портфелью об Вариньке все как-то легче; принужден писать.

Надысь Фролов, скрививши плечи, едва таскаясь, сказал мне, что болен скорбутою и что судороги сводят ноги, покрытые ранами; взглянув на небо, я пожелал себе здоровья, чтоб Варинька лучше любила.

Полупьяная старуха, увидев меня сегодня в первый риз, спросила тихонько адъютанта: «Не это ли Медокс? » Он: «А почему ты догадалась?» — «Слышала от исп­равнических дочерей, что он молодец, хорош, бел, ще­голь...» Я, обрадовавшись не на шутку, заглянул в оеркало и желал потолстеть, чтоб Варинька лучше лю била... Вот так-то влюбленный перестает существовать для себя! Байрон как будто обо мне говорит: «Он пере­стал жить для себя; она — его жизнь, тот океан, кото­рым поглощены все его мечты» [[168]](#footnote-168)

О! Если б ты, мой милый, мой прекрасный друг Варинька, знала, как святит тебя Ромаша, то б, конечно, подарила незабудки. У Муханова, верно, есть подобные памятники... Прости, мой ангел. Прости.

*28-го. Суббота.*

«Мы мало вещей желали бы страстно, если бы в совершенстве знали то, чего желаем» (Ларошфуко) [[169]](#footnote-169).

Чем более знакомлюсь с Варинькой, тем более пла­менею. Известно, что по мере рассматривания совер­шенное выигрывает, а несовершенное теряет. До 1813 года я, житель обеих столиц, видел много, но подобного ничего не видел. Смотря на нее, то и дело вспоминается: «Голова мужчины, тело женщины, сердце ангела»[[170]](#footnote-170) . Не потому ли она остается в девушках, что Бог назначил ее быть моим мздоянием за претерпенное?

Замкнутый в тесном сыром углу, где жизнь остав­ляется как будто лишь для того, чтоб медленно умирать в мучениях, где под вечной тению башнь одни лишь горести витают и гложут, как черви в могиле, к костям прильпнуту плоть заживо погребенных... Ах! В Шлис­сельбурге, в этом ужасном кладбище живых, мне каза­лось, что во всей природе нет награды, мне довольной; напротив, есть — есть Варинька, для снискания любви которой опять согласился бы на несколько лет в Шлис­сельбург.

За письма Марии Казимировны она благодарила со всевозможною любезностию. Беспокоясь о моем мнении об ней, многажды спрашивала, что думал я, получив их, и тем столько же обрадовала, как и удивила. Я полагал, что она лучше разумеет меня. Увы! Божок. «Мало знаешь ты ту безумную силу, с которою царит в моей душе твоя добродетель»[[171]](#footnote-171)

Никогда, ни одной минуты я не верил Юшневской, но признаюсь, иногда волновался страхом, что ты, мой ангел, любишь Муханова так, как я люблю тебя, и что я уж не могу быть так любим, ибо в себе чувствую невозможность любить другую. Раз сгоревшее опять не горит. Из ежедневных опытов вижу, что люди могут любить много раз; но какая зто любовь и какие это люди? Их сердца походят на древесные гнилушки, ко­торые, не сгорая и не светясь, светятся впотьмах. Вовсе неспособные любить кажутся любящими в глазах тва­рей, чуждых благодати истинной любви.

Пользуясь надышною выдумкой, я послал милушку Патю жаловаться на Сонюшку и просить княжну выйти в гостиную. Во все время урока Варинька шила ситцевое платьице, а я томился страстию поцеловать ее руку и думал о приближении Пасхи, в которую авось удастся похристосоваться с сим неприступным кумиром.

Уж очень поздно: спать хочется, а расстаться с удо­вольствием писать об Вариньке не хочется. Ах! Мой друг, мой бог Варинька, ты не знаешь своего обожателя.

Прости. Прости.

*29-го. Воскресенье.*

Мучимый тоскою без малейшей известной причины, весь день пробыл дома. В 8 часов вечера, вышед из терпения, вдруг собрался к Александру Николаевичу и увидел, что моя любезная Патя больна, лежит в гости­ной на диване; Прасковья Михайловна с Варинькою сидят над нею и сказывают сказки. Крошка простуди­лась. Увидев меня, захотела рисовать и расплакалась; насилу уверили, что я пришел лишь на минуту.

За ужином Варинька сидела совершеннейшею мо­делью задумчивости; почти ничего не кушала, лишь однажды спросила и, что в ней всего[[172]](#footnote-172) необыкновеннее, не слышала с нею говоривших: П.Е. Кузнецов, толкуя об Арндте, беспрестанно к ней адресовался. Вдруг, будто проснувшись, сказала мне: «Лиза приехала». — «Знаю, уже слышал от Прасковьи Михайловны...» Я, бесстраш­ный в рассуждении самого себя, теперь средь недоуме­ния волнуюсь страхом: боюсь, что у ней опять где-ни­будь засели письма, из чего легко могут случиться беды.

После ужина она мгновенно ушла в свою спальную. Не было возможности поговорить. Она сказала мне полуфранцузским языком: «Я себя чувствую худо: как будто у меня нет ног». Это, разумеется, вздор; на лице ясно видно совсем иное. Завтра опять идти туда никак нельзя: мучиться до вторника!

Она безрассудно поступает: жертва должна быть со­размерна пользе. Умно ли без возможности даровать другого истинным благом подвергать не только себя, но и своих любезных родных ужаснейшим последстви­ям? Впрочем, если хорошенько заглянуть в себя, то и этот случай лишь вящше усиливает мое обожание не­сравненной Вариньки.

Помолившись об ней Богу, лягу спать, хотя я знаю, что долго-долго [не] усну. Чтоб сократить завтрашний день, сейчас же велю закрыть ставни со двора; авось просплю до обедни. Если б Варинька... — опять нача­лось писать; нет, полно, лягу. Прости, мой милый, мой прекрасный друг. Ах! Если б ножку твою поцеловать.

Прости, прости.

*31-го. Вторник.*

Милая Патя выздоровела, но все еще закутана, в чепчике, в галстуке. Тщетно малютка ходила жаловать­ся на Сонюшку: Варинька пришла под конец урока и опять с шитьем детского платьица. На вопрос, отчего воскресение за ужином была так печальна, отвечала: «Боялась о Патиньке: теперь много умирает детей; у Медведева, у Кабрита умерли». —«А я боялся, думал, что у Вас, по полученным с Лизою известиям, опять пропали письма». — «Нет, нет», — сопровождалось улыбкою совершеннейшей невинности.

При самом вступлении в гостиную бросилась мне в глаза книга церковной печати, in quarto: раскрыв, уви­дел, что в переплете, свнутра разодранном, были запря­таны письма, увидел и — нимало не потревожился; отдал спрятать подалее, ибо слишком приметно. Я уверен, что Лиза привезла множество писем, но и это не тревожит.

Желая выманить недоконченные незабудки, приду­мал вызваться нарисовать другой узор, говоря, что по шитому лучше видны недостатки, и под сим предлогом просил ее труды. Она обещалась, сказав, что прикажет выпялить, а мой рисунок сейчас принесла. Это было в прошлую субботу. Сего утра, еще в постели сочиняя план напомнить, определил посмотреть ей в глазки, чтоб узнать, исполнится ли просьба и что она думает об этом; вместо того с первым словом о незабудках почувствовал, что краснею, не умел поднять глаз, как-то устремившихся на ее ноги. Она умная, конечно, все это видела, поняла и не даст. Впрочем, обещалась прислать в праздник. Ах! Пришли, пришли, мой ангел.

Прости.

*Апрель. 4-го. Суббота.*

В кабинете мыли пол. Прасковья Михайловна во время урока писала в гостиной. Варинька пришла гораздо прежде обеда. Видя на ней большие вязаные башмаки, в которых ноги кажутся неопрятными и которых терпеть не могу, я спросил, на что она их носит. «Так, просто от лени». Вот, подумал я, отмен­ный предлог для доброго мужа обувать ее. Отстегивая и застегивая подвязки, я, верно, не упустил бы случая расцеловать как можно подальше... Воображение шалит. Прости, портфель о Вариньке священной. Прости.

*8-го. Среда.*

Вчера учил Сонюшку, обедал с Варинькою и пить наливал Вариньке, но, к сожалению, не удалось запи­сать в первый и, как надеюсь, в последний раз. Сегодня плохо изображать вчерашние чувства. Виноват.

*9- го. Четверток.*

Дни становятся очень длинны: теперь от вторника до субботы не видеть Вариньки ужасно мучительно. Все говорят, что я очень худею: Боже мой, чем это кончится? Вчера я получил письмо от Соломирского, поздравля­ющего меня со скорым освобождением из-под ига столь убивственного солдатства. Обрадованный, кипел жела­нием поделиться радостию с Варинькою, но удержался, опасаясь догадливости Александра Николаевича, тем более что последние два раза необыкновенно долго проспорил с нею.

Сего вечера, истощив терпение, ходил посмотреть на Вариньку: застал ее и Прасковью Михайловну в гости-пой с губернской секретаршей Беловой, едущею из. Петербурга в Петровск к княгине Трубецкой. При речи о польских делах Варинька спросила: «Как думают в России, покорят ли поляков?» — «Как не покорить, — отвечала гостья, — совсем разобьют. Уж вся Польша оцеплена железными цепями, и казаки везде расстав­лены». — «Может быть, на картинке», — подхватил я и тем заставил повторить: «Нет, как на картинке! В самом деле железными цепями». Вот так-то деспотизм дурачит народ в столицах, и так-то народ повторяет слышанное, вовсе не употребляя рассудка, коим человек отличается от прочих животных.

Когда по окончании беседы гостья встала, то я, привыкший к высокой Вариньке, странно удивился коротышке. Она точно то, что французы называют mesquine[[173]](#footnote-173). Ей определено 1500 рублей жалованья и все содержание готовое! Варинька говорит, что она с подо­бною компанионкою была бы в отчаянии; я иначе ду­маю, чувствуя, что в разлуке с любезною всяк от нее посланный и ее знающий был бы мне приятным гостем; да и теперь как бы охотно поговорил я, например, с Марианой или Маврушей.

Я все еще не знаю, который год моей царице. Впро­чем, первые вопросы были бы не об летах. Ныне у ней что-то частенько голова болит, а сегодня очень сильно: несмотря на то, она одета и мила, как ангел. Она приметно полнеет, цветет лицом. За ужином по-обыкновенному кушала и пила мой квас, но от стола тотчас ушла спать, а я ушел писать, и вот уж отписав, ложусь об Вариньке мечтать и в мечте Вариньку целовать. Прости, портфель любезный.

*11-го. Суббота.*

Варинька румяная, как больше не надо, пришла писать в гостиную с половины урока. По поручению Прасковьи Михайловны я заказывал пять мячиков, которые отослал наперед себя, с тем чтоб их отдать с заднего крыльца и до меня не показывать; по сему случаю я ходил в девичью, где Мариана очень вежливо предовстала. И эта безделица, показавшись пророчест­вом, обрадовала до дурачества!..

предприимчивому, как и ничтожному, удалось бы ис­ходатайствовать отпуск в Ботово[[174]](#footnote-174).

«Чтобы пытаться достичь невозможного, нужно толь­ко любить»[[175]](#footnote-175). Как сильно я в сию минуту чувствую истину этой апофегмы! Варинька имеет мой обычай за столом крошить хлеб и сегодня целую горку накрошила. Взглянув на меня, сама налила полстакана воды и в нем вымыла пальцы правой руки; в это время от жарчайшего желания расцеловать причудницу я чувствовал жажду и необыкновенно пил воду. Через неделю, в Пасху, я поцелую ее ручку. Приближение праздников напоминает пословицу: ложка меду, бочка дегтю; не­смотря на то, с нетерпением жду Пасхи.

*14-го. Вторник.*

Вчера я угорел так, что и теперь еще болит голова; а в то самое время, как одевался идти к Александру Николаевичу, тошнило и рвало; однакож пошел, опоз­дав целым часом.

Варинька вышла к столу ко второму блюду: я уже думал, что она нездорова, хотел спросить княжну, но не смел при Александре Николаевиче. Он, так же как и я, говеет и намерен приобщиться Святых Тайн, а кушает скоромное. Почитая его в делах веры всесведущим, переменил я щи с грибами на мясные, причем Варинька не в шутку пеняла за соблазнение меня. Предобрый Александр Николаевич, тотчас раскаяв­шись, просил опять взяться за пост, если желудок позволяет. Этот маловажный случай соделался предме­том разговора[[176]](#footnote-176) во весь обед. Занятый Варинькою, я почти ничего не слышал: сегодня ее глазки чудесно счастьетворны...

После обеда Прасковья Михайловна и Александр Николаевич в зале на полу составили прекрасную груп­пу, приучая ползать своего Ваню: французский ковер, нарочно постланный, умножал блеск картины, которая

Александр Николаевич чрезвычайно скучает своею должностию; хочет проситься в Ачинск, чему, как мне кажется, не бывать, потому что сей год я счастлив. О! Если б вырваться отсюда! Может быть, мне, столь же ля меня была тем прелюбезнее, что милая Патя, тут же играя, то и дело хотела целовать брата. Я очень кстати назвал Ваню источником счастия в несчастии.

Меж тем я в продолжение Сонюшкина урока разго­варивал с Варинькою. Слово за слово — и ей вздумалось исповедать меня. «Нравился ли вам кто-нибудь в Вят­ке?» — «Нет. Вятка пуста, гораздо беднее Иркут­ска». — «А в Одессе?» — «В Одессу я приехал в быт­ность там двора [императорского], от коего весь город был в восхищении, особенно дамы, безумолкно толкуя о государе и государыне, казались мне глупыми рояли­стками». — «Ну, а до двенадцатого года?» — «Тогда я был слишком молод, чтоб знать истинную любовь. Я созрел в затворе. Водимый воображением, на досуге мечтая, составил себе идеал женщины и им восхищался иногда до того, что видел его во сне».

Меж прочим рассказал ей, как при женитьбе подпо­ручика Новикова, правившего должность плац-адъю­танта в Шлиссельбурге, я, распаленный солдатскими рассказами о невесте, почитал его пресчастливым, не­смотря на бедность; как подарил молодым все что мог из своих чемоданов, хранившихся в кладовой; как, освободившись, на первом шагу радостно пошел посмот­реть ее, но не нашед ни малейшего сходства со своим идеалом, обнаружил презрение обоим с искренностью дикого. Поистине это была странная сцена: Новиков стоял нем от изумления; я, ходя по комнате, смотрел на все со вниманием, а более всего на женщину со всех сторон, и наконец почти сказал, что он, дурак, влюбился в дуру. Особенно отвратили меня большие зубы и привычка смеяться так, что видно десны... «Вы еще много раз обманетесь», — повторяла Варинька; я, вспомнив ее вставной зуб и табак, дрожал от желания броситься к ее ногам и сказать, что все знаю, нечем обмануться...

Ах! я и теперь дрожу; дрожу, дрожу — и все напрас­но! Почто, Боже, дал ты чувства столь жаркие человеку с подобною участию? Что я говорю! Я не ропщу, я счастлив, я доволен, я нравлюсь Варюшке. Ей хочется знать историю моего сердца! Как бы я [был] рад, если б оно было кристальное и ты, мой друг, мой бог, могла бы видеть в нем свое царство.

Сегодня она необыкновенно разговорчива; к сожале­нию, беседа прервалась отъездом Александра Никола­евича с Прасковьей Михайловною к вечерням, куда и мне надлежало отправиться.

Как поздно — третий час!

Прости. Прости.

*19го. Пасха.*

Под вечер я ходил к Александру Николаевичу; он тотчас вскочил христосоваться, но я прежде подошел к Прасковье Михайловне, потом — какое сладкое вос­поминание! — дважды поцеловал Варинькину ручку и, несмотря на предуготовления, так потерялся, что не знаю, коснулась ли она моей щеки.

Не ожидав застать ее в кабинете, дорогою думал, что, может быть, придется уйти и без поцелуя, столь давно, столь жадно ожидаемого, и вдруг сверх чаяния беру в первый за руку и целую — раз, два... Ах! Почто не больше? Любовь, любовь, скажи, что ты такое? Скажи, отчего и теперь сердце так бьется, дыхание так несвободно? Отчего в глазах слезы восхищения?

Часто, рассматривая свои желания, нахожу, что они имеют два главных предмета: быть с Варинькою всегда вместе неразлучно и быть в силах сделать Вариньку счастливою. Я совершенно перестал существовать для себя; желаю благ мира лишь для нее: по этому можно заключить, что если б она вышла замуж за вельможу, взаимно любимого, а я как друг всегда был бы с нею, то б и я был счастлив — напротив, я умер бы с печали. Прасковья Михайловна, простояв в соборе от 12 часов полуночи до 6 часов утра, дремала и спросила подушку, которой долго не подавали и о которой Александр Ни­колаевич, хлопоча, перекликал всех: Маврушу, Мари-ану, Владимира, Петра, Ушакова, вестового и т.п. На­конец принесли, и я, принужденный расстаться с об­разцом счастливого супружества, вышел, но, увидев в гостиной Вариньку, завернул к ней. Она, заметив, что я грустен, сказала: «После причастия должно быть веселым». Увы, божок, подумал я, поцелуй твоей руки для меня лучше причастия, но и он не развеселил. Меж прочим у ней вырвалось слово, коего точный смысл надо непременно узнать. «Я очень желала бы, — ска зала она, — чтоб вы подумали об истинном назначении человека и не гонялись бы за суетностию».

Сегодня она одета в то синее шелковое платье, ко­торое так долго было у меня и которое она очень любит, ибо, как говорит, подарок сестры. Я желал бы знать получше историю сего платья. У меня оно казалось старым, негодным, а на ней прелестно. Прасковья Михайловна обрадовала меня приглашением обедать У них на праздниках, а Варинька поручением сделать Для неевизитные билеты. О! Варинька, Варинька, с какими сладостными надеждами я ложусь спать. Прости мой друг, мой бог. Прости.

*20-го. Понедельник.*

Наконец исполнилось желание, и я весел, и я с праздником. Говорят, что долговременные бедствия ох­лаждают и самую жаркую душу, что сердце, преиспол­ненное горестей, не может радоваться, что глубокиеязвы несчастия неизлечимы. Я, испытавший одноиз самых величайших зол, нимало не простыл; обременен­ный, кроме болезней всеми скорбями, часто радуюсь до исступления такими случаями, которые не обратили бы даже и внимания большой части людей. Нет ни малей­шего сомнения, что в Варинькиных объятиях излечи­лись бы все мои язвы, забылось бы все протекшее, ия... О Боже, неужели это никогда не сбудется? Неужелия узнал ее лишь к усугублению страданий?

Вставши ранее обыкновенного, я с живейшим удо­вольствием занимался визитными билетами для любез­ной Вариньки, и в ту минуту, как хотелось отослать их, вдруг является Петр, подает сверток радостей незабудки Варинькиных трудов, которые вмиг спрятав за пазуху, похристосовался с Меркурием, дал ему пол­тину на пряники, а когда он ушел, то, целуя, нюхал счастьетворный лоскуточек, задохся, лег на диван и средь сладчайших мечтаний пролежал более часу.

Теперь я в жару от мысли сделать божку портфель для бумаг и письма: на одной стороне надежда, будет лелеять любовь в люльке; на другой — средь бури сынКиприды в утлом челноке, с надписью: L'amour leconduit[[177]](#footnote-177) ; к тетради чистой бумаги вместо фронтисписа са — Купидон, сокрытый внутрь розы, с надписью:

Без повязки, как дружба;

Весь нагой, как истина;

Без крыльев, как постоянство;

Без оружия, как невинность:

Такова была любовь в золотой век;

Такова же она еще и в вашей семье![[178]](#footnote-178)

Очень поздно; свеча гаснет. Прости.

*21 го. Вторник.*

Александр Николаевич, греясь у топившейся печки близ дверей, столь жарко целовал Прасковью Михай­ловну, обнявшись с нею, что не слышал моего прихода, а увидев меня, сказал: «Она все ходит целовать, я отучаю, чтоб не ходила» — и еще прибавил несколько поцелуев. Прасковья Михайловна, любезно приветствуя, благодарила, что кстати пришел: сегодня рождение княж­ны Варвары Михайловны, коей голос слыша в гостиной, я поспешил туда, чтоб опять поцеловать ручку.

Она кушала пасху со сметаной и четверговой солью; это ее любимое кушание. Средь восхищения испугал меня длинный стол с девятью приборами, широко рас­ставленными; трудно, казалось, сесть так, чтоб не ли­шиться удовольствия наливать ей пить [[179]](#footnote-179). Я спасся, сев выше Крузе и Портнова. О! Друг священный, доколь в теле душа, ты в душе. Не знаю, чем буду за гробом, знаю что по гроб я твой. Ах! Как бы я рад быть совершенно уверенным в бессмертии души! С каким бы восхищением я повторял:

Да, так как душа бессмертна,

Я останусь верным тебе и за гробом![[180]](#footnote-180)

За столом Прасковья Михайловна, крепко поцеловав Вариньку, начала тост за ее здоровье; вслед ей всяк опорожнил свою рюмку шампанского. Сегодня у них именинница сестра княжна Александра, и брат князь Валентин[[181]](#footnote-181) также именинник. Варинька, говоря со мною об этом, сказала, что она особенно дружна с двумя з своих сестер: с Марфою Михайловною[[182]](#footnote-182) и Елисаветою Михайловною. Клеопатру превозносит ангелом.

Сегодня она бледна, не авантажна, а все мила до очарования. Опять в любимом синем платье, глубоко вырезанном; я пристально рассмотрел плечи, часть гру­ди и спины: все форм прекрасных и очень, очень нежно, хотя не чрезвычайно бело. На шее коральки не совсем к лицу. В новых лиловых ботинках ноги прельщали во весь день. Впрочем, все сии прелести тела в другой не сделали бы никакого впечатления на меня. По случаю дня рождения и Крузе подходил к руке Вариньки, которая поцеловала его в щеку: мне это было столь больно, что я в жару сделал завет никогда не подходить к руке дам, щадя их дружков.

Можно бы много еще кое-чего записать в память дня столь приятного, но дремлется, смеживаются веки очей, сытых Варинькою.

Прости, мой милый, мой прекрасный друг, прости!

*25го. Суббота.*

Вариньку я застал одетою на обед к Пономареву: в светло-желтом шелковом платье последнего вкуса; прекрасные волосы без чепчика были во всем их блеске; на шее опять коральки; перчатки, несогласные с цветом платья, заменились по моему совету шведскими. Побе­гав то за тем, то за другим, наконец решительно села поговорить со мною.

Я был в странном состоянии: горе от неожиданности не обедать с нею осиливалось радостию видеть ее в наряде, без чепчика. Меж прочим она сказала: «Очень жаль, что не дома обедаю, — настанет время, когда и я буду жить для себя». Какое изменение! Варинька, се человек, тобою созданный!.. Неужели на погибель? Нет; ты добрая, не погубишь меня... Скоро приехал Алек­сандр Степанович (Лавинский. — *С.Ш.)* с дочерью и увезли весь мой мир — Вариньку.

Мы сели за стол в 3 часа. Александр Николаевич, сказавшийся больным, был весьма разговорчив, веро­ятно, с радости, что отделался от обеда в гостях. При слове, что Ване 9-й месяц (он родился августа 19-го), «у нас в Ботове, говорил он, празднуют все именины, все рождения с иллюминациею и фейерверком; подо­бный день всегда стоит около трехсот пятидесяти руб­лей; а у старой княгини, тещи, бывает и театр». Пра­сковья Михайловна велела Федору подать квасу; я по­проворнее усача схватил бутылку; она готовила стакан, думая, что хочу налить ей пить; но я предоставил это удовольствие Александру Николаевичу; она приметно угадала мою мысль и улыбнулась.

Мочи нет, хотелось дождаться Вариньки, но тщетно: после 5 часов стало совестно обременять собою Алек­сандра Николаевича; принужден уйти. Сей день отмечен от всех прочих: четверть часа беседы с Варинькою, перевешивая уныние, ставит его наряду с незабвенным днем пришивания флера к маске. Состояние моих чувств в сию минуту есть смесь единственная: неизъ­яснимо приятно и очень, очень жарко! Кажется, что если б я открылся ей в своей любви, то было бы легче. На страстной во время говения породилось во мне же­лание показать ей сии записки. При каждом размыш­лении — можно ли это сделать, затрудняется дыхание и сердце иначе бьется. Я не могу надивиться чудесным действиям любви.

В постели как-то лучше думается, особенно об Ва-риньке.

Прости!

*6 го. Воскресенье.*

Поутру от губернатора Жюлиани, зашед ко мне, ска­зал, что сего вечера у Александра Николаевича будет бал, будет ужин, будут танцевать, — сказал и тем свел с ума. Чрез минуту я показался ему больным. «Вы нездоро­вы?» — «Да» немного». — «Как же хвалитесь, что не знаете никаких болезней». — «Я угорел». — «Где? У вас не топлено». — «В гостях». — «Где же? Понимаю: вы ночь не спали, трудились для праздника». — «Неправда; я спал, как сплю всегда, и еще лучше». — «А больны!» — «Не мучь меня; мне грустно...»

Он скоро ушел; я лег спать и спал весь день; вместо обеда пил чай, который не люблю, и вместо ужина опять пил чай, который не люблю.

Теперь 11 часов; должно бы спать ложиться, а я лишь встал и, верно, всю ночь не усну. Теперь ничем не отделаться от мучений, теперь Варинька танцует.

Возможно ли ей не танцевать, говорит рассудок; да и какая в том беда? Ах! Всяк ее трогает, обхватывает! Рассуди. Нет, не рассуждаю; ибо испытал, что тут рас­суждения не помогают. Сделай, чтоб воображение не мучило меня, тогда пройдет и грусть моя. В прошлый четверток я узнал, что она всю ночь, до 3 часов утра, танцевала на балу у Медведникова, но тогда дело было уж прошлое, а теперь мучительно по многим-премногим причинам: теперь вечер в доме Александра Николаеви­ча, в доме Вариньки, а я не могу быть там.

Одна уж мысль сия

Вмещает для меня все муки бытия.

При всем этом, думая, что Варинька меня любит, я среди самых мучений счастлив и своей участи не про­меняю ни на чью участь в свете. Незабудки, милые незабудки, труд и дар друга священнейшего! С вами я сплю, вас я целую, засыпая и просыпаясь, вы — ис­точники моих надежд, вы знакомите с радостьми душу, столь давно им чуждую, вы и теперь, осыпаясь поце­луями, облегчаете меня. Ах! Незабудки, смотря на вас, я чувствую, что вы подобно праху Феникса можете родить Атланта: сделайте меня вас достойным! Мне, как кажется, предстоит трудный подвиг. Чтобы пытаться достичь невозможного, достаточно только любить... По­пытаюсь читать; нет, буду писать Рогнеду. Итак, прости­те, любезнейшие тетрадки о Вариньке священной.

Простите!

*28го. Вторник.*

Какая внезапная радость! По старанию Вариньки прибавился мне третий день жизни в неделе; в четверток позволено счастие учить Сонюшку, то есть видеть Ва-риньку. Мысль, что это случилось по старанию Варинь­ки, сторицею множит благо, которое и само по себе очень, очень велико. О! Друг священный, почто не можно благодарить тебя соответственно чувствам, почто не можно пасть ниц пред тобою и расцеловать твои руки, ноги — ах! — лицом отер бы прах ног твоих!.. Нет, порывы моей души неизъяснимы!

Я боготворю тебя не только потому, что ты того достойна, но и потому, что человеку, как из собственного опыта вижу, необходимо нужно боготворить кого-нибудь, что-нибудь. До тебя в моей душе никто не жил: раздраженная в долгом, незаслуженном злосчастии, не чтила она даже и Бога, своего Творца. Узнав тебя, тобою преисполнилась.

Считая влечение похвальным уважением всего изящ­ного, высокого, я охотно удовлетворял ему; но однажды, пришед домой с книжкой Байрона, бросился на диван и, осыпая мечту поцелуями, узнал, что это влечение есть та любовь, от коей столь много Вертеров погибло; узнал ясно, сказал себе все, что рассудок может сказать в подобном случае, и пошел вперед...

Опытом убежденный, утверждаю, что, вкушая ис­тинную любовь, нет возможности раскаиваться. Любовь есть источник добродетелей; любовь, подобно вере, улуч­шает, облагораживает душу и есть союз человека с добродетелию (но, конечно, любовь — источник добро­детели для душ чистых и невинных). Кто же видел фанатика, который бы страдая за своего бога, раскаи­вался? Я уверен, что Прасковья Михайловна, следуя за мужем в Сибирь, средь горестей, средь плача встречала такие минуты удовольствий, каких прежде никогда не знала и каких не знает ни один счастливец. Связь, основанная на страданиях, гораздо возвышеннее той, которая основана на наслаждениях. Может быть, это даже наиболее трогательное удовольствие[[183]](#footnote-183)...

Уверен я и в том, что никакой Вертер не примет дара жизни с условием перестать любить. Сафо броси­лась в воды Левкода не с тем, чтоб излечиться от любви, а с тем, чтоб умереть любя[[184]](#footnote-184).

После обеда Сонюшка в первый раз училась танцевать у Расинского; Прасковья Михайловна с Александром Ни­колаевичем сидели в зале, а я говорил с Варинькой в гостиной. «У нас воскресенье был вечер, — сказала она мне, — и танцевали хотя только в четыре пары, но более и охотнее, нежели на всех других балах». — «Кто из мужчин танцевали?» — «Крузе, Иванов, Портнов и Шелихов. Всего было лишь двадцать человек. Мне очень жаль, что вы не можете быть в подобные вечера...»

Ссорясь со своим воображением и благословляя Ва-риньку, я старался переменить разговор: коснулся своих писем к Юшневской и Соломирскому, которые еще до обеда отдал ей для прочтения. «Почему вы пишете с таким отчаянием? — спросила она. — Разве вам так очень худо в Иркутске?» — «Иногда бывает не худо, а хорошо, и очень хорошо. Но вообразите, что представляет мне будущность. Если содействие Шиллинга останется без­успешным, то придется, не ожидая милостей, уехать своевольно...» — «Вам в Иркутске недостает друга». — «Мне лучший друг — мой журнал, лишь ему могу вверять свои чувства». — «Разве у вас ведется жур­нал?» — «Пишу». — «И обо всем, что случается?» — «Нет, вовсе не обо всем. От вас у меня нет тайн; я очень рад бы показать вам свой журнал. Прикажете?» — «Не знаю: меж двумя полами так много приличий, которые не должно преступать...» Ах! провинился, подумал я и, безмолвствуя, клялся в душе никогда не давать ей повода к преступлению своих обязанностей.

Но, Боже! Неужели читать сии записки, невинней­шую отраду несчастного, есть преступление? Она уже не в тех годах, когда девушке не позволяются тайнк. Признаюсь в слабости: душа горит от страстного жела­ния сказать: люблю! Так горит, что не могу писать. Что же будет в постели с незабудками? Ах! Здравствуйте, здравствуйте, милые незабудки! А ты, портфель, прости!

*30-го. Четверток.*

По новому судеб распоряжению и четверток день красный. К усугублению счастия застал Вариньку оде­тою, за шитьем в гостиной и целых пять часов смотрел на нее, говорил с нею. При изъяснении моей благодар­ности за третий день жизни в неделе она сказала, что это galanterie francaise[[185]](#footnote-185) , какой от меня никак не ожи­дала. У меня было на языке, что, посмотрев на нее пристально, и немой скажет bon-mot[[186]](#footnote-186) ; но удержался, не вымолвил, ибо это было бы в самом деле galanterie francaise, которую я не люблю.

Твердо помня ее надышнее желание, чтоб я подумал о истинном назначении человека и не гонялся бы за мечтами, просил объяснить, в чем, по ее мнению, состоит сие назначение, но она, отделываясь от словесных объ­яснений, так взглянула, что я понял и чуть не задохся.

За столом милая Патя вскарабкалась на Варинькин стул, чрез что Вариньке пришлось сидеть подле меня ближе всех разов. Во все продолжение обеда я ощущал всебе странное действие от сего сближения; мне стра­стно хотелось коснуться ее ног, но не смел; рассуждая, можно ли, не можно ли и с минуты на минуту откла­дывая решение, встал не коснувшись.

Не чудно ли это? Пред нею я вовсе другой человек! Вовсе не тот Медокс, который столько раз удивлял своею отчаянностию. Она опять любопытствовала в истории моего сердца и непременно хотела знать, кто мне нра­вился. Сегодня она в шароварах, которые очень, очень нравятся моему воображению, и в тех больших вязаных башмаках, которые не любит мое зрение; впрочем, я б и их расцеловал за неимением шаровар...

Ах! Постой, постой, воображение, не шали; надо еще много записать. Она лишь голову убрала: все прочее в утреннем состоянии. За столом в том диком капоте из чинчунчи, который я люблю лучше всех ее полупарад­ных платьев, она — надеюсь — по близости ко мне частенько поглядывала на прорешки в рукавах, а я меж тем думал: вот отверстия поцелуям до пятен.

Вчера Александр Николаевич с Прасковьею Михай­ловною обедали у Мичурина на свадьбе, где пили 25 лдоровьев; сего вечера Варинькин черед быть там на ужине. Завтра, 1 мая, все они будут на гулянье, по желанию Александра Степановича. Варинька с величайшей искренностью говорила мне об Елисавете Алек­сандровне (Лавинская. — *С.Ш.)* и опять сказала: «При­дет время, когда и я буду жить для себя».

По случаю рождения или именин Андрея Николаевича[[187]](#footnote-187) пили шампанское. В каком-то состоянии буду я 4декабря? Конец бумаги велит расстаться.

Прости. Прости.[[188]](#footnote-188)

*Май.*

*2-го. Суббота.*

Ходил за радостьми, принес печали. Взглядов немно­го, и те вовсе обыкновенные; нет ни одного лестного слова; может быть, потому, что устала. Я, кажется, ни в чем не виноват пред нею. Вчера, после гулянья, был вечер у Александра Степановича, и Варинька опять танцевала до утра, так же как и третьего дня у Мичу­рина. За столом при слове, что бригадный не глуп и часто говорит недурно, а иногда удивительно глупо, Прасковья Михайловна весьма кстати сказала француз­скую пословицу: кто гонится за излишним умом, теряет даже то, что имеет[[189]](#footnote-189).

Варинька попросила рябиновки; Крузе успел налить прежде меня; я вспыхнул с лица; невнимательная ни­чего не приметила, и мне грустно. Какое малодушие! Никто лучше меня не чувствует, сколь все это мало­душно; но как исправиться? Крузе делал Вариньке поручение, достойное немецкого мастера, — поручение купить ему на воротнички материи. Варинька, сказав, что Мавруша сейчас идет в лавки, кликнула ее; а Мавруша, посмотрев на его воротнички, сказала, что это batiste d'Ecosse[[190]](#footnote-190) и что лучше взять батисту. «Почем и много ли надо на дюжину воротничков?» — «Аршина полтора, по двенадцати рублей аршин». — «Как дорого? Купи один аршин в десять рублей...» и денег не дал! Вот прямой немец...

Боже, какой я негодный! Я теперь зол на Крузе только за то, что он налил рюмку вина моей Вариньке! Но право, я точно столько же зол и на себя. Грустно. Ах! Друг мой, друг священный, любезная Варинька, когда минуют огорчения? Где брег страданиям? В твоих объятиях иль — во гробе? Прости, божок, прости!

*7^го. Четверток.*

Опять изменилась! Опять не смотрит! Что сделалось тебе, божок? Я, как кажется, ни в чем не виноват пред тобою. Разве то неблагоразумно, что сказал о своем журнале?

С прошедшей субботы заболел у меня нос, и я никуда не выходил до сего дня. Во вторник с утра, разумеется, по нетерпеливости и малодушию, любви свойственно­му[[191]](#footnote-191), я был так грустен, так мрачен, как в черные дни шлиссельбургские. Около обеда облегчился рисованием незабудок: ее шитье лежало предо мной, чтоб лучше видеть недостатки прежнего узора. Возможно ли же не развеселиться?

Сегодня погода ужасна: вдруг выпал снег на пол-ар­шина, метель и буря; нос не совсем еще зажил, но я, несмотря ни на что, ходил к Александру Николаевичу; не мог вытерпеть! Сонюшка почти не училась, ибо я опоздал; а в три часа она должна была одеться для Расинского, который не пришел за погодою. Варинька явилась к столу тогда, как суп был уже разлит; бледна и все как-то не так; и прекрасные волосы не прекрасны, едва завиты, едва видны из-под большого чепчика с большими розовыми бантами не моего вкуса. Впрочем, может быть, если б она хорошенько взглянула, то б и чепчик был хорош до очарования. Уж другой раз почти вовсе не смотрит. Как это мучительно!..

Тщетно, целуя милые незабудки, уверяю себя, что душа, подобная Варинькиной, нелегко изменяет свои чувства и склонности: все, знай, грустно. Однако же сегодня есть словцо, совершенно согласованное с моим образом суждения и очень утешительное. «Я ненавижу всякий род службы, — сказала она, — служба ни к чему не ведет, вовсе бесполезна».

Ах! Друг мой, друг священный Варинька, если б ты при сих словах взглянула по-своему, то б я не был грустен, не худо бы ужинал, не боялся бы ночи... От какой малости зависит покой души!

Милая Патя отнесла ей в спальную мой новый узор незабудок, за который почти не благодарила, что мне очень понравилось. Впрочем, хвалила и обещалась скоро начать.

На прошедшей неделе, услышав от Прасковьи Ми­хайловны, что губернаторша отказала ей в семенах под предлогом неимения, я показал письмо Зарубаева, при мне случившееся, в котором он говорит, что тетенька получила из Москвы от Фишера множество семян и он с нею вместе занимается в огороде сеянием. Все удиви лись коварству бабы, не хотящей, чтоб городничий имел стол, равный губернаторскому. Я взялся достать от нее семян и достал; Зарубаев, сам принесши, сказал, что в воскресенье Прасковья Михайловна и княжна Варвара Михайловна были у них на вечеру и что он танцевал с княжною, которая на его вопрос, не устала ли она, отвечала: «С вами не устала».

Спать не хочется, а пишется очень худо. Прости.

*9-го. Суббота.*

Мой ангел Варинька нездорова: беспрестанно голова болит, и очень сильно; на лице видно страдание. Это меня так печалит, что я уже не думаю о хладности ее взоров. Так-то одно зло делает нас бесчувственными к другим бедам. Она зябнет даже в пелеринке, а погода прекрасная и так тепло, что чрезвычайнейшая грязь вдруг исчезла.

Гораздо прежде обеда явилась она в кабинет со своим листком в Москву и уже не уходила. За столом много говорили о беспокойствах во всей Европе. Александр Николаевич осуждает все народные восстания, особенно же поляков бранит[[192]](#footnote-192); а Варинька защищает всех. Я, не пущаясь противоречить Александру Николаевичу, ду­мал про себя, что все сии бунты суть следствия новой системы политики и тех неправосудий, тех глупостей, какие сделаны Венским конгрессом.

Например: для истребления семян демократии госуда­ри разделили меж собою вольные города Германии, ко­торые были вольными по священнейшему праву: умев пользоваться трудными обстоятельствами империи и по­роками императоров, они посредством денег выкупались на волю. Их было около восьмидесяти, из которых многие свободны с XII века, а все — прежде XVI, и все были в цветущем состоянии по общему меж ими Ганзейскому союзу торговли. Могут ли же они теперь быть довольны? Рассеянные по всей Германии, могут ли не пользоваться удобностию сеять крамолы против царей?..

Тут нехотя вспомнишь слова Оксенштиерна к его сыну, по молодости лет робевшему ехать на Мюнстерский конгресс: «Не бойся, поезжай и посмотри, какими людьми свет управляется»[[193]](#footnote-193).

*10-го. Воскресенье.*

Столкнувшись у обедни с почтмейстером, я поехал к нему на обед и там услышал от Воинова, что он ныне зимою имел случай войти в дом к Александру Никола­евичу, да так как-то разошлось дело. «Ну, брат, — сказал Меркушев, — не последнее бы дурачество это было». — «Наугад не узнать, — продолжал Воинов, — мне не гораздо хотелось толковать с Муравьевыми, а то б, может быть, было бы дело...» Этот мистический язык заставил меня спросить Меркушева о значении, и я узнал, что Воинов назначался сватать княжну Вар­вару Михайловну за Пильникова.

Не совсем поверив, я просил возобновить разговор, что Меркушев и сделал, коль скоро Воинов возвратился от почтмейстера. Наконец убежденный, я так разозлился, что вышел из благопристойности. Особенно обидело меня то, что Ланганс, бывший на совещании, называл княжну цыганкою и что будто Пильников не возьмет теперь княжны, ибо нашел лучше. «Разумеется, для борова свинья лучше человека», — подхватил я и разругал си­биряков, как скотов. Меркушев унимал меня, держал мою сторону и твердил, что Муравьев мне благодетель и потому при мне не должно худо говорить о его доме.

Ввечеру загорелось идти рассказать все это Вариньке. Она удивилась, как я это предвидел; но никак не ожи­дал, чтоб она меня удивила, сказав, что Пильников хороший молодой человек. Впрочем, я приписываю это ее чрезвычайной доброте и незнанию Пильникова, ко­торый есть не иное что, как приказный, знающий за­коны, и невежа во всем прочем. Он из казацких детей. Вся его родня в низших званиях: брат был квартальным, теперь поверенным по кабакам; сестра сговорена за пьяницу, здешнего подпоручика Кузнецова, бывшего барабанщика. Взросши средь подобной сволочи, бедный Пильников не может иметь понятия о Вариньке и, конечно, думает, что ее можно удовлетворить точно теми же средствами, как и сестру его.

Александр Николаевич со всем домом обедал у Портнова, где что-то проказничали над горшком лилий, ич Варинька, как сама говорит, устала до смерти; а все-таки поехала на вечер к генерал-губернатору. У ней много дней, в кои может равно Бутурлиной сказать: «Мой дом в карете». До праздника она была, как Флора свежа, румяна; а теперь, измученная, бледная, походит на больную и меня тем же делает. Соблюдение досадных приличий не позволяет много говорить...

Я в сию минуту подобен путнику, который, томясь жаждою, зрит вдали струи вод немногих, спешит к ним, думая, что ключ иссякнет прежде достижения и он без сил идти далее падет, умрет. Ах! Ключ радостей, ключ счастия, жизни, теки, красуйся и напой, напой меня! Твой путь я усажу цветами; дам лишь зефирам играть вокруг тебя, от аквилонов, от бореев собой загорожу, и ты узнаешь век иной, век златой... Какие приятнейшие мечты! О! Если б бог сна продлил их в сновидении.

Давно уже дремлется; прошлую ночь я очень мало спал. Прости, портфель любезный; ты сменяешься незабудками.

Прости!

*12-го. Вторник,*

Насилу дождался чести моим перьям: зная, что про­шлую субботу Варинька писала, по ее выражению, та­кими перьями, что никто не разберет, я взял с собою самых лучших полтора десятка и очень кстати, ибо в ту же минуту употребились по случаю отъезда купца Белоголового в Москву.

Еще на Пасхе Варинька говорила, что у них уже немного прованского масла; до обозов еще далеко, а купить здесь негде. Это заставило меня[[194]](#footnote-194) искать, и я нашел порядочного пять скляночек до 1 рублю 25 ко­пеек, из коих четыре послал Прасковье Михайловне. Она за обедом несколько раз принималась жалеть, что нет салату попотчевать меня; а мне меж тем думалось, что хотя я очень люблю салат, но согласен вовек не есть его, лишь бы Варинька хорошенько взглянула — и вдруг даром исполнилось желание в полной мере.

Александр Николаевич показывал мне ответ гене­рал-губернатора к Закревскому[[195]](#footnote-195) (от 10-го), ответ, ко торый, верно, не останется без последствий. Боже! Что будет со мною без Вариньки в Иркутске? Бедное сердце[[196]](#footnote-196), ты замираешь при одной мысли разлуки; не мучься, она не уедет; Александр Николаевич, как кажется, будет здесь председателем губернского правления. Впро­чем, если б зависело от меня, то б я отпустил его в Ботово.

Варинька поручила мне сделать ей узор фестонов для подолу, и потому завтра я не улежу долго в постели. Как весело рисовать для нее и как скучно для других. Принимая от меня Ваню, она всею ла­донью коснулась моей руки, и у меня сердце чудесно затрепетало, да и при сем воспоминании опять трепе­щет. Ах! Как сладостно это трепетание. Прости, лис­ток; я лягу спать.

Прости.

*14-го. Четверток.*

Варинька, радость моя, жизнь моя, Варинька, как доволен я сегодня твоими глазками! Ах! Если б ты, друг милый, знала, сколь жарко мне хочется целовать твои руки, ноги, хоть что-нибудь, хоть платье. Я сплю с незабудками; но они гарусные, не довольно нежны, чтоб обманывать осязание; мне хочется тела, тела Варинькина. Во рту сохнет, как от жажды, и ночью уста ищут поцелуев, как младенец ищет грудь матери. Боже, не­ужели уста мои никогда не прильнут к устам Варинькиным?..

В пылу чувств не могу писать; лягу и дам волю страсти. Прости, портфель, до рассвету.

Если б мне предоставили выбрать любое из Варинькиного имущества, то б я взял шаровары, подвязки, шейный платок, перчатки и — все ее бумаги. Говорят, что у ней много-премного писем...

Смотря на 11 часов, мне мечтается видеть, как Ва­ринька, окончив день, готовится ко сну, подходит к спящей Пате, стоит над нею, прощается; Мариана при­готовляет постель, раздевает Вариньку, все покровы исчезают и другими заменяются... Почто я не Мариана, не постель. Боже, хоть бы мухой быть, чтоб в Варинькиной спальной жить.

Яем мог бы быть еще твой Анакреон?

Ах! Какой-нибудь вещью, тебе принадлежащей.

Например, сандалиями для твоих воздушных ножек —

Даже быть попираемым ими было бы сладостно![[197]](#footnote-197)

Нет, листок, с тобою не расстаться прежде времени; хочется пописать[[198]](#footnote-198).

Я все дивлюсь очарованиям любви и никак не могу надивиться! Однажды, видев, как Варинька затейливо хлебала чай ложечкою, мне это столь понравилось, что с тех пор если когда пью чай, то всегда ложкою. В ней все, совершенно все, все меня прельщает, кроме табаку. Вскоре после открытия сей тайны, как будто нарочно к усугублению отвращения от сей вонючей травы, слу­чилось мне видеть, как Рыкачева трехлетний сын рас­плакался от табаку, в глаз попавшего из носу Мантей-фельдши, его ласкавшей, и как все, переглядываясь, смеялись над поганой старухой.

Я вижу, что ее руки не прекрасны, а несмотря на то, милы неизъяснимо. О! Как они милее всех рук на свете. Она, особенно на мизинцах, носит длинные ногти, которых прежде я терпеть не мог; а теперь и они мне нравятся, так что мне жалко бы было, если б ей взду­малось обрезывать их покороче.

С половины урока Варинька пришла в гостиную с шитьем черного тафтяного фартука для Сонюшки и, разговаривая, сказала, что подобный будет и у ней и что она любит фартуки. Мне столь же смешно видеть фартук на барыне, как получепчик на горничной, на­пример на Лизе, которая мне всегда напоминает петер­бургских колонисток с картофелем.

У моей жены, верно, не будет фартука, а у ее горничной не будет чепчика. Жена моя будет ходить на кухню лишь под руку со мною взглянуть на чис­тоту. Отец мой жил не по состоянию роскошно; угощал всех временщиков Екатерины, и даже Потемкина; в последний день масленицы из утреннего маскарада вся знать собиралась к нам на обед, после которого все шли пешком через двор в театр, из театру — в маскарад, а из маскарада — опять к нам на ужин Подобные дни всегда стоили здоровья хозяйке, которую муж, прямой англичанин, считал своим управителем. Сии сцены мне чрезвычайно опротивели. По моему мнению, на свете нет таких людей, таких гостей, ко­торые бы стоили малейшего беспокойства моей жены. В мою последнюю бытность в Москве, средь разговора об этом с сестрами, София спросила, что сделаю я, если жена моя, следуя своему вкусу, будет ходить в кухню; я отвечал, что за обедом того дня буду есть хлеб с водою в наказание, что не умел упросить ее. Как бы хорошо, подхватила Леля, смеючись, если б все мужья до женитьбы сидели в крепости.

Сегодня Прасковья Михайловна уподчивала меня салатом, который имел действие счастьетворного фими­ама, ибо его перебирала Варинька, меж тем как Пра­сковья Михайловна готовила приправу, и как я зады­хался от страстного желания приложиться к рукам своего кумира...

Как поздно! Уж два часа! Некогда будет вы­спаться.

Прости. Прости.

*10-го. Суббота.*

Обедал с нею, наливал ей пить, глядел на нее, говорил с нею, а грустно, мочи нет. У ней все голова болит, мало смотрит и вдобавок огорчила. Она, как кажется, очень ревнива. Меж разговором я кстати помянул о неблагоразумии фон Фиршна, окружного суда заседателя, который, живучи чрез один дом от меня, неотступно просит, чтоб я по соседству учил его пригожую дочь в 15 лет. «А она хороша?» — спросила Варинька с изумлением. «Да, не дурна; бе­локурая немка». — «Радуюсь; так вам не скучно на повой квартире?» — «Я не учу ее и не буду учить». — «Пустяки, пустяки: вам этот случай, верно, очень приятен. Я, право, радуюсь; вы, никем не занятые, можете там хорошо время провести» — и т.п. Но слова сии — ничего в сравнении со взорами, которые умертвили ответ во устах...

13аснин давно просит меня сделать рисунок его пе­реезду с генерал-губернатором где-то по Байкалу ночью, при свете факелов; я охотно обещал, но лень начать; и потому он прибег к посредничеству Александра Нико лаевича, который, склоняя услужить доброму Баснину, удивлялся, что я не люблю рисовать и не хочу ничего делать за деньги. И вправду странно: с пяти лет я постоянно всегда любил рисовать; в Шлиссельбурге не­возможность удовлетворять вкусу к художествам я счи­тал в числе своих главных несчастий и думал, что блик красок необходимо нужен для моих жарких чувств. По освобождении я много занимался рисованием, особенно при достаточных средствах в Одессе. Здесь же с того времени как я по участи узоров грека и гречанки узнал, что мой бог не любит картинок, потухла во мне страсть к рисованию, и то, что было удовольствием, сделалось работою. Бывало, я любил возиться вокруг цветов: в Иркутске потухла и эта склонность; словом, все, все поглощено одною страстию к Вариньке — страстию приятно мучиться, думая о Вариньке.

Сейчас, погасив свечу, отдамся тебе, любовь: гложи, гложи оглодки деспотизма!..

Прости!

*19-го. Вторник.*

О! Друг мой, бог мой, Варинька, сколь взоры твои могущи в судьбе моей! Они меня печалят, они и веселят! Сегодня — ах! — сегодня они неизъяснимы. Я вне себя: иначе дышу, и сердце бьется по-другому. Но, увы, нет роз без шипов, нет наслаждений без горя.

Не присутствовав при уроке, она села за стол, как уже кушали; а вскоре после кофею Александр Никола­евич, идучи с Портновым в Казенный сад, спросил, не хочу ли и я туда же. Я от Вариньки право не пошел бы смотреть висячих садов Семирамиды; а тут пришлось идти почти в огород; ибо понял друга разделения полов, Прасковья Михайловна также поняла и с состраданием взглянула на меня. Сей взгляд, чрезвычайно вырази­тельный, ясно обнаружил, что моя тайна ей небезыз­вестна, чего я никак не воображал.

Не меньше удивила меня и Сонюшка: она худо учи­лась; я в досаде сказал: «Как скучно видеть ваше нехотение». — «Неправда, вам не от того скучно». — «Как не от того?» — «Вам скучно потому, что здесь нет Babe; вы ее любите; она ваша фаворитка; когда она здесь, вам весело, вы не бранитесь и напишете Very good ; а без нее вам ничем не угодишь. Позвольте, я кликну ее...»

За столом Варинька много пила; я наливал с удоволь­ствием непостижимым, невероятным, которое есть совер­шенное очарование. Все были очень веселы: Ване минуло 9 месяцев, а Александр Николаевич до году празднует каждый месяц. Манную кашу со сливками Варинька любит лучше, нежели творог со сметаной. Уже много раз с досадою и даже с болию я смотрю на ее любезные ножки в негодных черных башмаках здешней работы.

Сегодня не удалось мне ни одной минуты побыть с нею наедине. Странно: мое обращение с нею наедине и при людях совершенно одинаково, а всякий раз наедине чувствую что-то неизъяснимо сладостное. И самое вос­поминание сих минут приятно!.. О! Боже, незримый вождь миров, приникни к молению почти от детства чуждого радостей и дай — ах! — дай, дай мне Вариньку: дай ей то, что ей нужно, а мне дай ее лишь одное! Прости, листок, в портфель сокройся, а вы, незабудки, вы, мои мощи, ложитесь со мною спать. Прости!

Я открыл окно: какая прекрасная ночь! Но недаром в песенках поют:

Что в природе, озаренной Красотою майских дней? Есть одна во всей вселенной: К ней душа и мысль об ней!

*21-го. Четверток.*

В то время как я, в 12 часов окончив занятия, ходил по комнате и думал одеваться, скрипнули вороты: по предчувствию подлетев к окну, увидел форейтора, вмиг смекнул причину посольства, не сомневался, однако же, как будто чтоб поскорее узнать от оракула свою судьбу, хотел идти к нему; но сам не знаю, как сел на диване. Мальчик, начав поклоном от княжны Варвары Михайловны, сказал, что сегодня София Александровна обедает у мадам Бейтон и учиться не будет. Дело похо­дит на правду, подумал я, ибо старушка сегодня име­нинница; но при теперешних обстоятельствах одной этой причины не довольно. Как бы ни было, а грустно мне стало, и я очень плохо обедал.

Под вечер, разумеется, не вытерпел, пошел к Алек­сандру Николаевичу, и что же — Ваня опасно болен! Вчера занемог; Прасковья Михайловна, Варинька и Александр Николаевич всю ночь просидели над ним; первая, вышед ко мне в пустую гостиную, разговари­вала, ходя, как тень. Я смекнул, что Вариньке недосуг[[199]](#footnote-199), и мгновенно ушел, не видав даже и детей. Теперь грустно совсем различным образом от прочих дней: одна мысль, одно желание, чтоб Ваня поскорее выздоровел, иначе Варинька замучится. Помолюсь я Богу за обоих.

Прости!

*22го. Пятница.*

Рано поутру форейтор, явившись пред моей по­стелью, сказал: «Александр Николаевич и *княжна Вар­вара Михайловна* просят сейчас пожаловать; дитя очень болен». Нельзя было не догадаться, что хотят портрета. Я вмиг вскочил и, взяв все нужное, в начале седьмого часа был уже там.

Не помню, чтоб я когда-нибудь был так растроган, как сегодня, особенно при первом взгляде на Прасковью Михайловну. Она сидела в кабинете на диване, поджав под себя ноги, лицом к стене и плакала. При повороте говорить со мной она показалась мне помертвелою; осунувшиеся губы посинели и запеклись, совершенно как у мертвой. Александр Николаевич тоже со слезами в глазах прибирал свой кабинет, чтоб в нем поставить Ваню в случае смерти! Они оба были уже вовсе безна­дежны и уже не ходили смотреть Ваню, оставленного попечениям Вариньки.

По приглашению я пошел в детскую и лишь увидел Ваню живого, как вдруг родилась во мне всесовершеннейшая надежда, что при мне невозможно умереть, потому что сей год я счастлив. (Теперь я понимаю, каким образом Бонапарт веровал своей Фортуне.)

Рисовать портрет не было и в помышлении; но чтоб оставаться в детской с Варинькою, я многажды раскла­дывал бумагу и прочее, будто хочу начать и все отсро­чиваю до удобнейшей минуты. Таким образом, от 6 ча сов утра до 5 пополудни пробыл в детской с Варинькою почти наедине, ибо кормилицу не считаю за человека. По временам приходил Портнов, которого я никак не мог одушевить надеждою. Крузе своим усердием превзошел мое понятие об нем, и я дал себе слово никогда не ссориться с ним. Княжна Катерина Михайловна едва выходила на сцену, что, конечно, весьма странно.

Зато Варинька, единственная, несравненная Варинь­ка, не спит ни днем ни ночью, духу не теряет, лицом не изменяется. Если б я не боготворил ее, то б сегодня, верно, сделался бы ее поклонником. Легко станется, что я когда-нибудь не вытерплю, паду к ее ногам и откроюсь. Проходя мимо дверей ее спальной, я почти всегда останавливался и смотрел на святыню — на Варинькину постель, которая удивила меня простотою и подле которой с левой руки стоит Патина кроватка, чего я никак не воображал.

Ване к ножкам привязывали голубей, тут же убитых и еще теплых; Варинька сказала мне, что сие средство подкрепляет жизненные силы и некогда спасло жизнь Александру Николаевичу. Семичевский велел тереть де­сны лимонным соком с медом: я кипятил мед в ложке над камфоркою; Варинька снимала пену и потом пустила из лимону столько соку, чтоб было кисло. Она не выходила к столу; а Прасковья Михайловна хотя и села с нами, но хлебнув ложки две-три супу, легла в кабинете.

В 8 часов вечера я опять ходил проведать Ваню и нашел всех гораздо спокойнее утреннего. Сей день, конечно, останется навсегда неизгладимым в моей памя­ти. Можно бы без конца писать, но я весь день пробыл на ногах и устал. Лягу в постель, преисполненный ощущениями столь же приятными, как и горестными. О! Как бы я спокоен и счастлив был, если б вы, милые незабудки, сопутствуя мне ко сну, сопровождались полным уверением достигнуть меты (предела. — *С. Ш.)* всех же­ланий!.. Вот другая цепь идей, и Варинька пред мной! Но полно; время спать. Прости! Мой друг, мой бог Варинька.

Прости! Прости!

*23-го, Суббота.*

В 10 часов утра явился я к Александру Николаевичу; застал его и Прасковью Михайловну в детской, озарен­ной лучами надежд. Веря своей Фортуне, я принес с собою полный карман конфектов и отдал их любезной Пате, чтоб праздновать выздоровление братца. После урока все вышли к столу, кроме Вариньки, которая безотлучно сидит над племянником.

Сегодня я мало видел ее, и потому нечего сообщить вам, любезные листки. Нынешнюю почту не писали; Прасковья Михайловна на это сказала с сильнейшим чувством души: «Теперь мне ничего не нужно, лишь бы Ваня был жив». — «Будьте совершенно уверены, — подхватил я, — что Ваня не умрет». Нежная мать поминутно бегала в детскую из-за стола... Какое счастие быть мужем подобной жены!

*24-го. Воскресенье.*

Поутру посылав спросить о здоровье Вани, я узнал, что ему гораздо лучше, и под вечер сам ходил поздравлять с жизнию сына. Александр Николаевич был в Казенном саду: в зале и в гостиной никого не было; скоро пришла Мариана, я попросил ее доложить обо мне Прасковье Михайловне, вместо коей вышла мой ангел Варинька, одетая, веселая, и, посидев, поговорив, позвала меня в детскую. Забилось и у меня сердце от радости при виде Вани, играющего на коленях матери, им восхищающейся. Варинька, присев к ним, составила группу, на которую я долго смотрел и все более и более преисполнялся радо-стию; наконец, как губка, ею напитанный, побежал в сад поздравить Александра Николаевича.

Он пригласил прогуляться с ним. Дети бегали вокруг нас под надзором Мавруши. Прекраснейшая погода из­менилась с приближением вечера; Александр Никола­евич приказывал Мавруше идти домой, но Сонюшка не слушалась; вдруг поднялся вихрь с пылью; схватив Патю на руки, я спешил укрыть ее в беседке и, сжимая малютку в объятиях, живо — ах, очень, очень живо! - иощутил, что в случае какой-нибудь опасности я бросил­ся бы спасать ее ценою своей жизни. Для Вани, признаюсь, не сделал бы столько.

Сегодня, и сам не знаю почему, красный, прекрасный день; кажется, от того более, что Варинька весела. Прости.

*26-го. Вторник.*

Варинька во время урока, любезно поздоровавшись, села не на диване, а подле Сонюшкина стола и хотела Погонорить со мною. Я так обрадовался, что дыхание изменилось; но — увы! — не надолго: Александр Николаевич уселся с книжкою в гостиной; Варинька тотчас у ишла. Смотря ей вслед, я вдруг обнялся хаосом мыслей: радость, горе, надежда, отчаяние, Патина кроватка, портрет Муханова, все, все вместе, как винегрет.

Кдпа ли все люди могут иметь понятие о подобных мгновениях, которые у меня довольно часты и иногда сопровождаются волнением крови, жаром в лице и геройскою отважностию. Трудно изъяснить, какое множество идей рождается при одном воспоминании, что Патина кровать стоит сбоку Варинькиной и что Сонюшка спит в той же комнате... Как я доволен! Вели б к этому вдобавок исчез Муханов со стены, то б я — не знаю, что сказать, — кажется, спрыгнул бы с крыши.

Из разговора за столом узнал я, что она любит ездить верхом в галоп, так же как и я. Мечтая об удовольствии прогуливаться с нею, задумался так, что Владимир, подавая кушанье, принужден был назвать по имени, чтоб разбудить.

После обеда в продолжение действий Расинского она допольно хорошо говорила со мной; но заметно, что с того времени, как я сказал о своем журнале, она реже смотрит на меня. Итак, Варинька не любит тебя, жур­нал, хранитель тайн священных. По надобности написать к завтрему письмо должен и я сказать тебе: прости!

*28-го*. *Четверток.*

Бог знает как давно не говорив с Варинькою поряд­ком, я сего утра был столь занят мечтами приятного опидания, что, несмотря на звон, не вспомнил Вознесе­ния — пошел учить Сонюшку и нашел все комнаты пустыми. Мариана, которую я начинаю любить, вышла сказать, что все в саду и прежде обеда не возвратятся. Пошел я в сад, нашел там всех, кроме Вариньки; не смея осведомиться, ждал обеда, но и за стол сели без нее; тогда крайность заставила[[200]](#footnote-200) преступить правила — спросить, где княжна Варвара Михайловна. Она обедает у Елисаветы Александровны (Лавинской. — *С.Ш.),* отвечали мне.

Прибавленный день жизни назад отнимается, поду­мал я. В половине стола явился Крузе, давно отобедав­ший у генерал-губернатора, и потому ту же минуту велели ехать за княжною; но экипаж скоро обратился пустой, а Федор доложил, что княжна поедут кататься с Елисаветою Александровною... Нет надобности гово­рить, что я после кофею, понянчив Ваню, скоро ушел, что я не весел, что я грустен, что...

Прости.

*30-го. Суббота.*

Сонюшка, худо учившись, стояла на коленях. Алек­сандр Николаевич посылал Вариньку сидеть в гостиной, но она не пришла, после извинялась мне множеством письма, ибо прошедшую почту не писала за болезнию Вани. Я тоже писал сегодня в Москву, вставши вместе с солнцем, и потому теперь так дремлется, что едва держу перо.

Прости!

*31-го. Воскресенье.*

Вот опять черный день. Вот и клятва, черная или красная, еще неизвестно. Ввечеру, пошед прогуливать­ся, вздумал зайти к Александру Николаевичу, чтоб показать рукописный свиток времен царя Михаилы Федоровича; в сущности же, разумеется, для того, чтоб увидеть Вариньку. Дорогою встретившийся форейтор сказал, что идет ко мне за книжкою, вчера взятою, которую завтра опять принесет.

Предполагая бог знает какую экстренность, я описал книжку, сказал, где она лежит, дал мальчику ключи, а сам пошел к Александру Николаевичу. Он шел в Казенный сад под руку с Прасковьею Михайловною и в сопровождении Крузе. Но Крузе на крыльце остановился подождать Вариньку, еще не одевшуюся.

Вот тут-то стал я в пень, как вкопанный. Рассудок говорил: иди, а ноги ни с места. Мне казалось, что она уже выходит; Крузе пойдет с нею, а я, униженный, раскланяюсь. Не знаю, что было бы со мною, если б это сбылось. Нет возможности выразить ужасного состояния моих чувств в сию минуту. К счастию, Сонюш­ка, выбежавшая вслед за матерью, сказала, что княжна еще не одета, и Крузе пошел с нею.

Как убитый параличом, потащился я за вороты, встретил форейтора, который, отдав мне ключи, хотел идти с книжкою к Раевскому (декабрист. — *С.Ш.):* средь огорчений мне это показалось так досадно, что я вы­хватил Бурьенна, воротился и сам отдал его Мариане, случившейся в передней с Варинькиным салопом.

Поняв, что она сейчас выйдет, и все алча удоволь­ствием взглянуть на нее, я поспешил опередить, отвер­нул в переулок и дождался своего бога. Одна — с лакеем, думал я, ей неловко будет ходить по саду, пока найдет своих... Как жарко мне хотелось проводить ее и как больно, как мучительно было чувствовать, что ей стыдно идти со мной!..

Вдруг сердце вскипело, глаза наполнились слезами, а дух вопил: «И ты — подлец! — и ты можешь жить в этом унижении?!» —«Боже, что же мне делать?» «Отважься: поставь все за все и будешь почтен, если не будешь мертв». «Готов на смерть, на тысячу смертей, и клянусь, клянусь всем любезным, всем священным, что если к 4 декабря не улучшится мое положение в Иркутске, уехать, но не без согласия Вариньки». Меж тем, смотря ей вслед, желал встречи с достойной да­мой — желание исполнилось: где ни возьмись — Ели-савета Александровна с отцом (Лавинские. — *С.Ш.)1*

Я побрел домой. Уткин, возвращаясь из саду, зашел ко мне; на расспросы о бывших в саду он, меж прочими называя и высокую княжну, прибавил с гримасой: «Ка­кая она нехорошая лицом!» — «По-моему, одинакова с Прасковьею Михайловною». — «Какое сравнение? Го­раздо хуже». — «Мне кажется, княжна Катерина Ми­хайловна хуже». — «Той я вовсе не знаю, но едва ли можно быть хуже этого гарнадера...»

Признаюсь, разговор сей немножко огорчил меня, ибо Уткин неглуп и с понятиями о живописи. Соломирский, человек не без вкуса, об ней точно такого же мнения. Он восхищался женою Баснина, которую я променял бы на Варинькины шаровары, а я всегда отличался вкусом, так что сестры, одеваясь, приглашали меня на совет. Вот изрядный пример капризов вкуса!

Конец листка велит сказать прости![[201]](#footnote-201)

*Июнь.*

*2-го. Вторник.*

Один из знаменитейших французов, слыша похвалы его достоинствам, сказал, указывая на свою жену: «Ей обязан я тем немногим хорошим, что во мне есть; таков результат любви»[[202]](#footnote-202). Так точно и я всем, всем обязан Вариньке; но с того времени, как я узнал ее, узнал я и зависть, которой прежде был вовсе чужд и которую пер­вый раз в жизни ощутил, позавидовав близости Турча­нинова к Вариньке. Ее хвалы Муханова, Раевского и вообще мужчин суть истинные уроки зависти для меня.

Раевский, отъезжая в Олонки, обедал у Александра Николаевича с женою, коей Варинька уступила свое место подле Прасковьи Михайловны и села подле меня. Я много раз наливал ей пить, все понемногу; но за то ни разу не встретился с ее взорами, которые ничем не могут быть заменены. С прискорбием заметил я, что ей очень нравится разговор Раевского. Он говорит много, с жестами, с гримасами, даже с прискоками со стула. Речь его смехотворная (burlesque), преисполнена пара­доксов, нелепостей, самохвальства, побасенок, посло­виц, всех цветов красноречия людей низших степеней[[203]](#footnote-203). Я говорю кратко, без малейших телодвижений и, верно, без желания смешить; словом, речь моя совер­шенно противуположна речи Раевского, следовательно, не может нравиться Вариньке. Это меня печалит. Я вмешивался в разговор, но все ее внимание было занято. Мне вспоминались слова Карамзина:

Не весел, не забавен,

Могу ль кого прельстить?

Неужели правду говорят, что женщины склонны к наглым говорунам? Вдобавок к горю во мне с малолет­ства есть предубеждение, что рослые женщины любят пигмеев, ибо матушка моя, настоящая Даная, любила своего мужа, ростом с Раевского; а я на беду родился не в отца.

Еще мучает меня то, что, уходя с Кешей, никогда не взглянет на меня, то есть не скажет взглядом: прости!

Это тем больнее что она разумеет меня и, вероятно, знает почти всю[[204]](#footnote-204) цену такого взгляда...

Сегодня я не очень-то доволен тобою, мой милый, мой прекрасный друг. Извини, если моя любовь есть пветок, требующий беспрестанного поливания, и будь, оади Бога, будь милостива, не забывай цветок сей бед­ный, коему твои, мой ангел, глазки вместо солнца.Ах! Варинька, если б мы жили в века средние, то на моем ите был бы, может быть, подсолнечник с девизом: «Она всегда с вами»[[205]](#footnote-205).

Прости! Прости!

*4го. Четверток.*

Бригадный генерал дает праздник в поле, на своей заимке, куда и Варинька уехала с Елисаветою Алек­сандровною, разумеется, к удовольствию сей пустого­ловой любительницы всех веселий.

Александр Николаевич прислал мне сказать, что сегодня он никого не принимает и урока не будет. Сначала это расстроило меня, но скоро, одумавшись, пришел в необыкновенное умиление и простил его от всей души. Легко догадаться, что так как весь город за городом, и на целый день, то он, пользуясь случаем, хочет поблаженствовать наедине с семейством. Почти наверное просто в рубашке сидит на ковре с Прасковьею Михайловною, с детьми и, осыпаясь со всех сторон поцелуями учит Ваню ползать...

 Какую картину пишет воображение! О! Чета добродетельная, ты в несчастии умеешь пить наслаждение из полной чаши мудрости! Сегодня я как-то очень легко простил Александра Николаевича, кажется, потому, что Вариньки нет дома. Она теперь обедает за большим столом, под открытым небом, внутри зеленой плетени, убранной фестонами. Воображая, что ей там весело, не скучно и мне. Пойду прогуляюсь. Прости!

*6-го. Суббота*

При моем появлении Варинька председательствовала за детским столом и кормила Патю. Видя лицо бледное, я спросил о здоровье. «Нет, нездорова, — отвечала она, — не могу ходить, и все болит, грудь, спина, поясница, а особенно ноги. На празднике у бригадного все было очень хорошо, весело, но у меня разболелась голова, кажется, от солнца, на котором быть терпеть не могу. Я пять верст шла пешком и много бегала. Что за приятность в забавах с подобными последствия­ми?» — «Сии последствия известны; избегнуть их было в вашей власти». — «Я никак не умею отказываться. Как можно быть в гостях только для того, чтоб сидеть и гримасничать, нисколько не жертвуя, не способствуя веселию компании?..»

В продолжение сего разговора я с исступленным благоговением, стоя пред ней, молился ей, молился об ней. Давно замечено, что я наиболее пленяюсь ею тогда, как она больна, скучно, бледна — словом, не авантаж­на; это, конечно, весьма странно. Присутствуя при уро­ке, она шила детский черный тафтяной лиф на костях и любезно разговаривала со мною. Похвалила5 перья не благодаря, что мне очень нравится.

Сегодня мне столь нестерпимо хотелось поцелуев, что с восторгом расцеловал бы пол под ее ногами. Милой Пате много досталось. Опять заглянул в редикюль и, голодный, насилу расстался с нечистым платком. Хро­мая, возжгла во мне желание носить ее на руках; а когда едва могла выйти из-за стола и желание сие, вспыхнув, вылетело из жаркой груди, то она засмеялась и с детскою невинностию сказала вслух всем, что мне хочется носить ее на руках. Ах! Варинька, какое ты божество! Когда, когда ты бедешь моя?

Александр Николаевич питается надеждою выехать из Иркутска, чего я никак не ожидаю. Варинька опять доставила мне удовольствие начертить для нее фестоны.

Боже! Как бы я прилип к ней, если б можно целовать! Прости!

9-го. *Вторник.*

В самую худшую погоду, в проливной дождь, в не­сносную вязкую грязь, я ходил смотреть на Вариньку и, идучи туда очень весело, чувствовал, что в природе нет погоды, которая могла бы заставить меня отказаться от свидания с Варинькою.

Она вышла к обеду с бледным лицем мученицы, и я узнал, что вчера была у Эрнста (дававшего вечер на новоселье) и оставалась там с Елисаветою Александров­ною без своих, уехавших прежде.

За обедом была спаржа, которую Прасковья Михай­ловна очень любит; был кресс-салат, который Александр Николаевич предпочитает всем прочим салатам. Тотчас после обеда Варинька начала шить по фестонам, мною сегодня принесенным, что мне было весьма приятно.

При слове о моем заточении Александр Николаевич сказал, что в Петербурге есть некий статский советник Баум, который был 40 лет в заточении, от вступления на престол Екатерины (коей присягать он отказался, так же как и Павлу) до Александра, повелевшего осво­бодить безусловно. Я рассказал про себя, как после четырнадцатилетнего безвыходного затвора в тесном углу, едучи с плац-майором во дворец, обманывался зрением, которое, обыкши к предметам вблизи, пред­ставило Неву морем, а дворец неизмеримо огромным зданием, несмотря, что я хорошо знал Петербург.

Большая часть женщин становятся мне противны; число таковых беспрестанно возрастает. Вчера я это ощутил странным образом, быв у Терменя и с омерзе­нием смотрев на его большую двухспальную постель как на нечто поганое... К почтмейстеровой спальной я имею точно такое же отвращение; а Прасковий Михай-ловнина кажется настолько чистою, но как будто свя­тынею, почему и сам не знаю. Гость пришел.

*11-го. Четверток.*

«Продолжаете ли вы свой журнал?» — спросила Ва­ринька. Нет, отвечал я; но в ту же минуту, одумавшись, посовестился обманывать свое божество и признался, что продолжаю. «Журнал ваш, как должно думать, очень однообразен». — «Может быть, но для меня он очень приятен...» Я не смел прибавить, что она виною однообразности сих записок, что она заставляет вотще повторять: хочется, хочется поцелуя.

О! Боже, какие жаркие мысли родились бы от одного поцелуя, от одного слова: *люблю!..* Ах! Тогда журнал мой, как и я сам и все окружающее меня, имел вид совсем иной. Лицо цветет сердцу веселящуся. Тогда я жил бы в раю надежд!..

Милые незабудки, простите неблагодарного! Сего дня с утра я что-то очень грустен. Худо пишется.

Прости!

*12-го. Пятница.*

Дудин, третьего дня из Москвы приехавший, был сего утра у меня с визитом и чрезвычайно встревожил рассказами о любезных сестрах, племянницах и пле­мянниках. Меж прочим сказал он, что князь Валентин Михайлович (брат Шаховской. — *С.Ш.)* сам привез ему посылку к П.А. Муханову, состоящую из белья и до­рогою как-то поврежденную огнем. Искренне жалея соперника в несчастии, я радовался случаю видеться с Варинькою.

День казался бесконечным. Для сокращения времени начинал писать, рисовать, читать все, что есть; но нет, не то на уме. Вздумал лечь спать: мухи мешали; велел запереть ставни; впотьмах едва прошло несколько ми­нут, как обнялся с призраком Вариньки и был в неизъ­яснимом исступлении. Каким бессметием поцелуев осы­палось все ее тело!..

Наконец приспело время идти, прийти и увидеть. Ее не было в гостиной. Прошеная, явилась с отверстыми от удивления глазами, по которым при первых словах было видно сильнейшее участие в делах Муханова. Средь разговора, при воспоминании ящика с письмами, она сказала, что после всего писаного Юшневскою мне делает много чести, что я не раскрыл ящика. Я отвечал, что, не веря нелепостям, думал и думаю, что она могла питать платоническую любовь к П. А-чу (Муханову. — *С.Ш.),* которая усиливается его несчастием по общему свойству душ изящных. «Верно, верно, не было ничего более», — подхватила она с лицом совершеннейшего отпечатка презрения слабостей.

Пришедши домой худо расположенным, разумеется, не развеселился пишучи. *.,*

Прости.

*13-го. Суббота.*

Случайно попалось мне в руки прекрасное «Путеше­ствие Кира», сочинение Рамзея на английском и фран­цузском. Купив за безделицу и отдавав переплетчику подновить, принес будто Сонюшке; как же обрадовался, когда Варинька воскликнула: «У вас есть эта книжка! Ах! Как я рада. Я ее очень знаю, очень люблю. Все собиралась написать, чтоб мне ее прислали; у нас дома несколько экземпляров. Я по ней буду учиться по-английски...»

Нет возможности изъяснить, сколь сей бездельный случай делает меня счастливым. О! Если б все дни, все часы моей жизни можно проводить в служении Вариньке, то б и я был счастлив — я, чуждый столь давно и самых малейших радостей, был бы счастлив в объятиях Вариньки равно богам в Олимпе!.. Ах! Как эта мысль, разрождаясь, озаряет мрак моей души.

Варинька любит цыплят, пока они столь малы, что можно сгрызть все косточки; а больших вовсе не ку­шает. Она с аппетитом кушала кресс-салат.

Ввечеру я ходил с Граффом в сад и там опять видел ее. По узкости дорожки она шла несколько десятков шагов рядом с Портновым, который теперь почти живет у Александра Николаевича.[[206]](#footnote-206)

*25-го. Четверток.*

Уже с час сижу над портфелыо и думаю, писать иль не писать, желая сказать Вариньке, что я оставил свой журнал; ибо она как-то изменилась со времени известия о его существовании. Для опыта не писал более недели; трудно отказаться и от сей последней отрады. Все эти дни мне было очень скучно; а теперь — ах! — теперь очень, очень мучаюсь: по случаю государева рождения в Казенном саду гуляние и Варинька теперь танцует.

Вчера, в Иванов день, на заимке у губернатора Ива­на[[207]](#footnote-207) был бал, и я долго смотрел, как Вариньку всяк кто хотел обхватывал, вертел; а я лишь смотрел и — не знаю, как выразить.

Вчера Ваня упал с дивана в виду Александра Нико­лаевича, который говорит, что нет возможности изъяс­нить, как больно было видеть сына падающим: он му­чился одно мгновение, а я два часа. Бог знает сколько раз уходил с намерением не возвращаться и через ми­нуту снова являлся, влекомый ненасытною страстию смотреть на свое божество.

Она была в белом платье, очень коротком; я любо­вался ногами; они не крошечные, но очень узенькие и прекрасной формы. Ах! Любезные ножки, скоро ли я вас расцелую? Елисавета Александровна сама убрала ей голову, будто на смех, очень худо, украсив несколь­кими маленькими алыми цветочками, которые вовсе не шли к ее черным волосам; а себя, напротив, богато увенчала букетами цветов.

Признаюсь, я рад был видеть Вариньку на балу не авантажною; я не желаю, чтоб ей прельщались.

В продолжение урока я кое-как ухитрился заставить ее сидеть в гостиной; она много разговаривала о своем вчерашнем танцевании. Странно, что столь умная, столь хорошо умеющая читать чувства сердца не понимает, что мне мучительно видеть ее танцующею с другими. Вовсе не танцевать ей, конечно, невозможно; но по­меньше — в ее власти[[208]](#footnote-208). Прасковья Михайловна и Алек­сандр Николаевич рано уезжают с балов: она остается с Елисаветою Александровною.

Сегодня во время обеда Александр Николаевич бра­нился за это, говоря, что лошади и без того замучены, что впредь не велит посылать карету, хоть пешком изволь приходить. Это сказано отнюдь не в шутку; она, потупив глаза, умолкла с пленительною женскою ус­тупчивостью, и мне стало жаль ее до смерти. В эту минуту она была неизъяснимо мила.

Вчерашние Ванины именины отправлялись сего дня. Обед отличался от обыкновенного лишь бутылкою шам­панского. Отец, бросая вверх сына, шутя сказал, что род Муравьевых есть первый в свете, и, обратясь к Вариньке, прибавил; «Вы должны почитать, уважать нас». — «Я давно уважаю, потому что один из них умер на висельнице, двое мучаются в Петровске, а третий здесь»[[209]](#footnote-209) .

Не сродная ходить за цветами, она любит их букеты. К слову о вчерашнем бале, который ей показался скуч­ным, она сказала, что в ее первую бытность на балу у губернатора, увидев залу, убранную фестонами, пришла в чрезвычайное восхищение по неожиданности такого обилия цветов в Сибири. Надо знать, что это восхищение не могло произойти от благоухания, ибо вообще все здешние цветы не душисты; красивых же множество. Она, довольная весьма немногим, способна и к вели­колепию; я помню, как однажды при речи о доме Сибиряковой, воскликнула: «Ах! Я бы желала иметь этот дом!..» Вчера ее танцевание имело действие вовсе не такое, как в маскараде. Я дрожал, завидуя каждому прикосновению к ней; да и теперь дрожу...

Как худо пишется. Я думаю возсе не о том, что пишу. Мне мечтается, как мой бог теперь в саду танцует и как моего бога всякая дрянь прикасается. Вот смеш­ная причина мучению, скажет иной. Не знаю, кто более достоин сожаления, я или чуждый подобных мук.

Вчера она попросила Портнова срезать ей жасминов для Елисаветы Александровны (ибо ему принадлежат те жасмины, поставленные на время к Александру Ни­колаевичу по причине перестройки в его доме); подобрав букет, ему же предоставила счастие связать оный в ее руках, что он делал весьма медленно, стоя так близко, что боком касался почти всего ее тела. Меж тем она просила его танцевать на балу; фанатик отговаривался, а она знай просила со свойственною ей любезностию.

Разумеется, я тут не подозреваю ничего; несмотря на то, мне становилось так дурно, что в глазах меркло и голова кружилась; принужден был выйти из залы в гостиную и там сесть, чтоб не упасть. В сию минуту расслабления я сердился на себя и на нее: на себя — за неумеренную страсть; на нее — за то, что она, столь умная, не щадит меня; но, оправившись, простил от всей души, по рассуждению, что не знает степени моей страсти.

Ах! Варинька, мой друг, мой бог Варинька, когда изменятся обстоятельства? Когда перестанут думать, что ты покраснела бы от стыда, если б кто сказал, что Медокс тебя обожает? Какая черная, мучительная мысль!.. В сильнейшем волнении чувств не могу про­должать писать. Прости, до завтра. Увы! И завтра будут те же мучения. Прости!

Скоро 2 часа пополуночи. Я выходил на двор; верхи Спасской церкви все еще озаряются иллюминацией в саду. Неужели Варинька все еще танцует, обхватываясь

со всеми? Престань, безжалостное воображение, не мучь меня!

Спать нисколько не хочется. Буду писать; авось встречусь с какою-нибудь утешительною мыслию.

Вот кое-что из разговоров незаписанных дней. Хороший живописец делает теперь портрет с ее сестры Клеопатры в подарок некоему саксонцу, который, прожив в их доме более 20 лет, отъезжает в Дрезден к своим дочерям. По­следние письма по сему случаю невеселы. Это было сказано с тою небесною добротою, которою я в ней прельщаюсь, и с теми отблесками душевного удовольствия, которыми ее лицо всегда светит при воспоминании о родных.

«21 апреля у нас всегда очень праздновали, — гово­рит она, — обыкновенно до четырех или пяти часов утра. Я помню, как после подобных балов, не ложась спать, мы, сидя под открытыми окнами, смотрели на рождающийся день». — «Сии пиршества нужны ли для вашего счастия?» — «Нимало». — «Любите ли вы бо­гатые мебели?» — «Не слишком; у нас была" прекрасно убранная комната, в которой я не любила сидеть». — «А я, признаюсь, я люблю мебели. Для моего счастия нужен блеск красок и металлов — нужны картины, бронзы, мраморы, фарфор». — «Вот видите ли!» — под­хватила она, образом упрека с приметным сожалением и тем обрадовала чрезвычайно.

С тобою, единственная, несравненная женщина, с тобою я был бы счастлив и в беднейшей хижине, если б был уверен, что ты счастлива... Боже! Как я расстроен. Чего мне хочется? Жить вместе с нею, смотреть на нее, целовать ее, служить ей; хочется подарить ей самого себя и быть орудием ее счастия. Мне кажется, что высшее благо женщины заключается в мужниной люб­ви, к которой если присоединяется здоровье и безбедное состояние, то она совершенно счастлива, если не раз­вратна... Но, увы! Я в ссылке, стократ злосчастнее ее. Зима, зима, приди скорее! Поставлю все за все. Подобно Гомерову Юпитеру двумя шагами достигну края все­ленной или погибну.

Намеднись я видел, как в ее маленькую комнатку пронесли вместе с безменом множество черных хлебов. Это меня долго мучило при мысли, что от подобных съестных припасов заводится пропасть мух, которые беспокоят ее, моего бога.

Граф знал Вариньку в Верхнеудинске[[210]](#footnote-210) и говорит, что она очень пополнела. Он уверяет, что я отлично креп­кого сложения; надежнее даже и Александра Никола­евича. Как истолковать, как поверить, что радуюсь своему здоровью только для Вариньки?

Рука устала, и тушь высохла. Давно рассветает. Прости.

Целуя незабудки, с которыми я всегда прощаюсь, как с Варинькою, мне всегда приходит мысль, что Варинька назначала их Муханову на подтяжки. Как бы я желал видеть этого человека счастливого-пресчастливого.

*Июль.*

*11-го. Суббота.*

Сей час вышел из лазарета, в который принужден был уйти от притеснений начальства. Я мучился там невероятно. Однажды, в истоме заснув, видел во сне, будто Варинька наедине с каким-то мужчиною, дарит его своими трудами по канве — прекрасною, большою портфелыо для бумаг. При изъявлении благодарности их уста сближались, кажется, для взаимных поцелуев, которых, слава Богу, не видел. Проснувшись в ужаснейшем положении, ни жив ни мертв; гром не мог бы сильнее поразить.

Впрочем, так как мне жарко хочется от нее подобных подарков, особенно портфели, то я и разумею, что сие сновидение есть не иное что, как сбивчивый отголосок желаний души, сильно занятой одним предметом. Сей­час оденусь и посмотрю хоть на наружность Вариньки-ной обители. Завтра надеюсь обедать там. Как сердце трепещет при мысли увидеть ее.

Прости, листок[[211]](#footnote-211).

 *12-го. Воскресенье.*

После двухнедельной мучительной разлуки, обедая в саду с Варинькою, я беспрестанно благодарил Все­вышнего, поглядывая то на нее, то на небо сквозь отверстия простой беседки. В жару чувств, при полноте сердца, мысль и взор невольно обращаются в превыспренния.

Она много-премного смотрела на меня, и очень мило. Забывшись, сама налила квасу, поднесла к устам, опом­нилась и взглядом попросила извинения; потом под­ставляла стакан по-прежнему, и я по-прежнему наслаж­дался непонятным удовольствием, наливая ей пить.

После обеда все сели в саду; она с шитьем долго не могла усесться, не любя быть на солнце; я кое-как ухитрился поставить ей стул на отлогом месте в тени дерева. По окончании заседания, хватившись ножниц, считала их безвозвратно потерянными в траве; однако ж искала; я помогал, разумеется, с живейшим жела­нием найти, в чем мне и посчастливилось. Я желал бы, чтоб астрономы при открытии новых миров чувствовали хотя половину той радости, коею я преисполнился, увидев в песке блестящие кончики Варинькиных нож­ниц. Какая безделица делает любовника счастливым!

Для счастия Александров, Цезарей надобны побе­ды — смерть сотен тысяч людей... И сих бичей вели­чают, а над мужем, страстно любящим свою жену*,* нередко смеются, особенно французы, le grand peuple[[212]](#footnote-212). Я не знаю ничего нелепее человеческого рассудка. Все видимые, вещественные произведения природы тем бо­лее изумляют премудростию творца, чем подробнее рас­сматриваешь их; умственные же способности человека теряют по мере того. Странно, о чем бы я ни стал писать, кроме Вариньки, сейчас отпадет охота от пера и захо­чется сказать: прости.

22-го. *Среда.*

По желанию Прасковьи Михайловны все сии дни я занимался видом Иркутска, который сего утра уже и подарен Елисавете Александровне (Лавинской. — СНГ.). Сегодня ее рождение. Потому-то я столь долго и не видался с тобою, любезнейшая портфель. С какою радостию открыл я тебя и как легко, как приятно дышу, смотря на тебя! Ты мой второй друг, священная Варинька — первый. Впрочем, не ты один причиною моего восхищения. Варинька, единственная, божественная Варинька, снова озарила меня надеждами. Вчера, ма­лодушный, как дитя, грустил, отчаивался.

Ах! Вчера, до свидания с Варинькою, был черный день. Два вечера сряду ужиная с нею, не случалось налить пить; воскресенье она вовсе не пила, а в поне­дельник лишь однажды, и то подставила стакан Петру, наливавшему Прасковий Михайловне, ту же минуту взглянула на меня, но я, смутившись, потупил глаза и не прочел ее мыслей.

Вот отсюда-то породились горчайшие догадки. Пред-прошлого воскресенья, то есть 12-го, я ужинал у Алек­сандра Николаевича вместе с Елисаветой Александров­ною. Варинька по обыкновению многажды дарила меня удовольствием наливать ей пить: мне придумалось, что Александр Николаевич, может быть, находя это непри­личным, выговаривал и просил отучить. Мне было не­сносно больно мыслить, что Варинька потерпела из-за меня неприятности.

Как же я ошибся! Сколь не высоко мое понятие о сем добродетельнейшем семействе, но все еще недоста­точно. К мучениям любви присоединилась мысль о теперешнем унижении и ревность. Портнов там бывает всякий день по нескольку раз, думал я; Александр Николаевич очень любит его; может быть, хочет выве­сти в чиновники и сделать совершенно счастливым, то есть женить на Вариньке. К утешению, я скоро вспом­нил, что намеднись на именинах сестры Портновой было все семейство Александра Николаевича, кроме Варинь­ки, которая в то время ездила купаться. Теперь мне и самому все это смешно; а вчера мучило и всю ночь не давало спать.

Сегодня Варинька опять будет танцевать на балу у генерал-губернатора. Она любит наряжаться; едва обе­дала, села после всех, выходила из-за стола и, откушав, мгновенно ушла в свою комнату. 21 апреля на ней был Прасковий Михайловны жемчуг с яхонтовым фермуа­ром. На ее шее лучше всего мне нравится несколько ниток чего-то мелкого двухцветного, кажется, золота с крашеною сталью. Сегодня за обедом она была чудесно мила; я с трудом переводил дыхание, особенно после того, как налил пить.

Устал сидеть, похожу, вечер еще велик. К тому же хочется об ней помечтать.

Уже 9 часов; теперь Варинька, верно, танцует. В большой зале, в кругу огней, средь множества групп, она мелькает то с тем, то с другим — со всеми, кроме меня, ее обожающего...

Вчера ввечеру было необыкновенно светло, так что в 11 часов можно было читать под открытым окном. Свеч вовсе не подавали. Сей феномен сильно возбудил в Вариньке любопытство. На ее выразительном лице ясно виднелся жар прекраснейшей души. При вообра­жении, распаленном чудесами природы, я, глядя на нее в сумраке, пришел в неизъяснимый восторг и желал быть на минуту царем, чтоб, смело бросившись к ее ногам, расцеловать их.

Странно: при восхищении я всегда влекусь к ее ногам; потому ли, что их труднее достигнуть, или мне приятно унизиться пред нею? Ах! Не там ли, в ногах, источник восхищения?..

Однако же при всем возможном желании забыть, что Варинька теперь танцует, я едва знаю, что пишу; только то и думаю, что Варинька теперь танцует, что Вариньку все прикасаются, что Варинька всех ласкает, всем улы­бается... Признаюсь в дурачестве: это меня мучает, не могу писать. Простите, листки, до завтра. Простите.

*23-го. Четверток.*

Бал кончился поутру, при полном свете солнца. В заутрени еще сидели за ужином. У Вариньки болит голова. Вышед в гостиную за несколько минут до обеда, хвалила мой вид Иркутска, а о портрете уверяет, что Елисавета Александровна гораздо пригожее списка, и заметила, что все мои женские портреты хуже тех, с коих рисованы. Это меня нисколько не удивило; ибо с того времени, как я узнал ее, все женщины кажутся мне нехорошими, и потому весьма естественно, что я обезображиваю их.

За обедом, приготовляя салат, она после нескольких прелестнейших взглядов спросила, люблю я лук в са­лате? Я лук почти ни с чем не люблю, кроме икры, отвечал я. «У вас во всем очень хороший вкус». Я склонен верить этому, потому что вас обожаю, хотел я сказать, но вдруг вспомнил свое состояние, и смолкли уста, пал свинец на сердце.

С будущею почтою Александр Николаевич ожидает изменения своей участи — позволения возвратиться в Россию; а мне думается, что он будет здесь председате­лем губернского правления. Я как-то вовсе не верю возможности быть ему переведенным в другое место. Так-то я сей год верую своей Фортуне!

Ваня становится очень мил; но Патя, — ах! — лю­безная Патя для меня гораздо милее. Она мне как будто родная. Как весело малютка бежит ко мне и с каким удовольствием я беру ее на руки!

Варинька одинаково со мною любит гречневую кашу. Она говорит, что здесь, в Сибири, ее вкус во многом изменился, что, например, стала любить творог, прежде ей вовсе не известный. Если б она была моею, я совер­шенно во всем сообразовался бы с ее вкусом.

Сего вечера я имею какое-то особенное расположение помолиться Богу. Уже поздно. Прости.

*25-го. Суббота.*

Все опять по-прежнему: учил Сонюшку, нянчил Ва­ню, целовал милушку Патю и — что лучше, слаще всего — смотрел на Вариньку. За обедом, шутя с тол­стым Александром Николаевичем, я сказал, что он похудел; Патя взглянула на него, надулась и вдруг заплакала из всей мочи. Я еще никогда не видал столь чувствительной, столь умной малютки.

Варинька опять приправляла салат и очень хорошо сделала. От Елизаветы Александровны принесли букет жасминов; причем Варинька на мои расспросы ответи­ла, что она любит цветы в букетах, в горшках, но не склонна ходить за ними. Сегодня на ней был темный платок не моего вкуса. Из разговора я убедился, что она не следует нынешней моде — не подделывает за­дницы. Как я ей за то благодарен!

Ввечеру доскажу остальное; горю от нетерпения ви­деть Репина (декабрист. — *С.Ш.),* сей час приехавшего из Петровска. Прости!

Несмотря на грязь и дождь, ходил к Репину, привел его к себе, и около трех часов говорили безумолкно, разумеется, с целию разведать о Муханове. Злодей навязывал для доставления Вариньке большие паке­ты-переводы [?]; но ничего не принято, кроме письма, и то попалось в чемодан Кюхельбекеру, ко­торый по назначению на поселение в Баргузин остался в Верхнеудинске и при строгом присмотре не мог передать[[213]](#footnote-213).

Со всевозможным тщанием скрывая причину любо­пытства, я искусно расспрашивал. Репин петербуржский урожденец, финляндской гвардии штабс-капитан и образован[[214]](#footnote-214). Он странно описывает Муханова: росту большого, вершков одиннадцати, сверху толст и неук­люж, как слон, а ноги тонкие и больные, лицо раздутое, волосы рыжие, так же как и преболыпущие усы, из-под коих третий, испанский, ус висит почти до грудей, — словом, по наружности скорее отвратителен, нежели приятен.

«Одна из моих знакомых в Москве, — сказал я, — влюблена в него». — «Вероятно, какая-нибудь разврат­ная баба, любительница огромности». — «Напротив, премилая барышня и Веста по всем отношениям». — «Ужасный вкус!» — подхватил он, пожав плечами и пристально смотря мне в лицо. При словах «ужасный вкус» у меня сердце — не знаю, как сказать — кажется, сжалось и будто облилось. «Она вам родственница?» — спросил Репин. — «Да, сестра». — «Извините, я не знал. О вкусе спорить не должно. Жаль, что я вас потревожил. Петр Александрович не без достоинств, очень добр и чувств благородных».

Я и теперь вне себя! Боже, чем кончится все это? Варинька, мой милый, мой священный друг Варинька, неужели ты, так ангельски добрая, погубишь меня? Прости, мой друг, мой бог. Прости! Я весь дрожу и сам не знаю отчего.

Прости!

*26-го. Воскресенье.*

По приглашению Репина пришел ко мне обедать и принес в подарок своих трудов эскизный рисуночек Муханова в Петровском костюме[[215]](#footnote-215). Я обещал себе не говорить более о сем несчастном счастливце, но не утерпел: он опять был главным предметом разговора. Он отнюдь не гений, имеет знания, не способен ни к чему худому, подлому, в обращении довольно приятен. Петровские узники ныне так распорядились, что хотя многие ничего но получают от родных, но крайних нужд никто не терпит, ибо по складке достаточных каждый имеет 500 рублей в год; из коих 240 рублей на стол, а остальные — по произволу всякого на прочее. Один Трубецкой из получаемых им 15 тысяч рублей отдает 4тысячи.

Можно бы много еще кое-что сказать заниматель­ного[[216]](#footnote-216), но хочется писать об Вариньке. Отобедав с Репниным**,** я скоро пошел к ней с новостями. Чтобы помучить, не взяв с собою Муханова портрета, лишь скипал об нем; она пожелала видеть, я обещал принесть. «Если я когда-нибудь буду иметь средства по­мочь ему, — сказала она, — то, верно, сделаю все возможное»... А я про себя подумал, что если Бог индолит меня блаженством в ее объятиях, то я, ко­нечно, имел бы удовольствие угождать ей и в этом деле. Какое неимоверное желание горит в душе моей лелеить ее!

Давно мне страстно хочется нарисовать ее горницу; это не очень-то удобоисполнительно, однако же удастся: и начал гостиную со всем семейством; потом нарисую столовую, кабинет, и наконец дойдет дело и до святи­лища моего бога.

Она, по-видимому, нимало не проницает умысла. Мы долго говорили наедине (Прасковья Михайловна ездила кататься с Елисаветою Александровною и детьми); от­крыв намерение уехать зимою, я просил ее совета: она никак не одобрила; напротив, искренне удивлялась дурачеству. Итак, я не поеду! Признаюсь, я не воображал, чтоб это так легко разрушилось.

По возвращении с прогулки Елисавета Александровна осталась на вечер и прогостила до первого часу. Крузе и Портнов тут же были. Меж прочими затеями Портнов, кое-как нацарапав надгробие, написал: «Когда умру, меня забудут». Я приставил: «А я живой**,** быть может, в памяти любезных жить не буду». Потом, шаля, нарисовал урну на пиедестале под тению кипариса, что Крузе, рассматривая, написал в ответ Портнову: «Неправда, гораздо прежде; так долго ждатьне нужно».

Лекс, приехавшая за Елисаветой Александровною, много играла на фортепианах; Прасковья Михайловна тож играла, а Александр Николаевич пел. При сладких звуках я, как очарованный, смотрел на Вариньку с непонятным восхищением.

Забыл завесть часы, кажется, что до рассвету уже недалеко.

Прости! Прости!

*28го. Вторник.*

После приятного урока за обедом многажды наливал пить, многажды встречался с живыми взорами божка своего и был в восторге превыше всякого объяснения. Казалось, огнь разливается в крови; я то и дело вздра­гивал от страстного желания поцеловать. Рисуя гости­ную, пробыл там до седьмого часу. Александр Никола­евич позволяет нарисовать Вариньку, а княжну Кате­рину Михайловну никак не хочет. Она выпросила у меня портрет Муханова, с тем чтоб послать князю Ва­лентину. Я хотел украсить им свой журнал.

Некогда Варинька рассказывала мне о старике, стра­стно любившем свою жену, тоже старуху, и сделавшем ее вензель из цветов; сегодня я узнал, что старик сей есть дядя Петра Александровича, почетный член вос­питательного дома в Москве. Он был очень знаком с моим отцом и часто бывал у нас. Я как теперь вижу его: русак старинного покрою, вовсе не нежной наруж­ности. Как часто под кровом простым обитает святая добродетель, а в розах гнездятся змеи!

Сегодня я очень доволен тобою, мой милый, мой прекрасный друг. Ах! Как бы я рад, если б ты могла читать все мысли, все чувства души, тебе одной под­властной.

Прости.

*31-го. Пятница.*

Вчера за обедом у Александра Николаевича узнал я, что Мантейфельдша чудесно ворожит, и оттого так вскипел любопытством, что четверток остался незапи­санным. Какое изменение! Прежде я смеялся всему подобному; а теперь с величайшим нетерпением ждал возможности узнать от оракула, будет ли — ах! сказать ли напрямки? — будет ли мой бог моей женою? Не застав в полдень дома, пошел опять в сумерки и, издалиувидев под открытым окном иссохшую старушонку обрадовался, а вошел к ней, стал весел, как дитя в магазине игрушек. «Знать, предскажется не худое», - подумал я.

Колдунья приметно удивилась появлению незнакомого в поздний вечер, но после обыкновенных приветствований скоро прояснилась обещанием портрета, давнее ею желаемого, и сделала такой прием, какого лучше немог бы сделать и скупой гостю с мешком золота.

Тотчас подали смрадный огарок; я сел близ феи на диване; запачканные карты вынулись из столика на стол; старуха, тасуя их, спрашивает: «О чем ваше мерение гадать?» — «О двух главных предметах». «Враз о двух нельзя; разделите поодиночке и задумайте». — «Давно, давно задумано». Тут, снимая карты я хотел начать возвращением в Россию, от коего зависит, но против воли думал о Вариньке и принужден был о ней прежде загадать.

Ворожея, разложив карты, приятно смотрела на них: как-то считает 7-ю, разбирает параллель и толкует: «В успехе нет сомнения. Вы, верно, уедете из Сибири; лишь нескоро. Многие будут желать вашего соединения с трефового дамою; вот она; а вот бубновый хлоп, который ее ищет, но она, без сомнения, будет ваша».

Тут я вне себя от радости поцеловал руку мумии и просил продолжать. «Конечно, еще не все; я никогдане льстю. Вот пиковый туз: он так лежит, что у ней вродне непременно кто-то умрет и она будет со всемдомом в большом-пребольшом огорчении. Вам чудеснаяпараллель; лучшей быть не может. Вот важные бумагиоб вас; вот ваше счастие и вот победа, семерка бубен. Помните мое слово: трефовая дама будет непременноваша. Поздравляю. Больше не гадайте об этом предмете. Теперь о другом». — «Нет, Мария Александровна, ради Бога, об этом же!»

Собранные карты снова разложились, и туз пик снова в головах трефовой дамы, близ которой лег я, червонныйкороль, в кругу всех знаков брака и победы. «Будьтеуверены, — повторила старуха, — в двух пунктах: во- первых, что трефовая дама, хотя вот и думает о другом, но будет ваша; во-вторых, что она будет сильно огорчена смертию кого-то из ближайших родных...»

Таков первый опыт моего гаданья, в котором я боль­ше всего удивляюсь тому, что в продолжение оного мое затворническое воображение при преступлении легко­верной радости видело пред собою Вариньку, и я не­подвижно смотрел в темный угол, меж тем как фея твердила: «Смотрите, смотрите сюда!» Глупо или нет, а скажу искренне, что мне теперь не скучно, весело. Жаль только, что она будет огорчена чьею-то смертию.

Спать хочется; глаза не видят, а уста, век алчущие Варинькиными поцелуями, ждут незабудок.

Прости![[217]](#footnote-217)

*Август.*

2-го. *Воскресенье.*

Вчера я имел несчастие прогневить своего божка, встревожив чувствительную Прасковью Михайловну. Мне не хотелось записать неосторожной глупости, тем более что надеялся найти сего вечера прощение и един­ственно для того ходил ужинать к Александру Нико­лаевичу, но, — увы! — я едва встречался с ее взорами... Какая мучительная немота! Я прогневил ее тем, что проговорился Прасковье Михайловне о предсказаниях Мантейфельдши. Должно согласиться, что я одурел от гаданья. Досадно.

Сегодня рождение княжны Елиеаветы Михайловны, коей здоровье мы пили вишневкою. Варинька сказала, что в сем месяце у них много семейственных праздни­ков. Александр Николаевич называл княжну Елисавету Михайловну свояченицей и невесткою, ибо хочет же­нить на ней одного из своих братьев, кажется, Андрея Николаевича, о чем Варинька хочет написать в Москву с будущею почтою. Это происходило образом шутки, а я с трудом переводил дыхание, вздумав, что легко может прийти мысль сватать и Вариньку.

4-го. *Вторник.*

Варинька присутствовала при уроке. Я, в первый раз приметив, что у ней шея сзади покрыта пушком, не­сносно взалкал счастием целовать ее. Неужели мой жребий вечно целовать один лишь редикюль? Ныне он как-то частенько мне попадается. Сколько раз хотелось завязать узелок в платке, и все не смею. В продолжение стола Прасковья Михайловна сказала, что она не по­читала бы себя в полной мере матерью, если б не имела сына, отчего и породился длинный спор, который опи­сывать я не буду, ибо Варинька не принимала в нем участия, а мне нужно знать лишь ее образ суждения. Мне что-то грустно и вовсе нет расположения писать.

*6-го. Четверток.*

Праздник Преображения, и потому Сонюшка не учи­лась. Приветствуя Александра Николаевича, я узнал, что он вдруг занемог и что Варинька с Прасковьею Михайловною обедают у Елиеаветы Александровны. В то же время Владимир пришел в кабинете накрывать на стол детям. Я хотел идти домой, но Александр Николаевич пригласил обедать, сказав, что Портнов, а может быть, и еще кто-нибудь сядут со мною. Мне это было чрезвычайно приятно, ибо тотчас вспомнил, как прежде в подобных случаях присылали повестку, что София Александровна учиться не будет. К усугублению удовольствия Александр Николаевич говорил мне, как Фидлер навязывался обедать к нему, но Бог помог отделаться.

По приходе Портнова и Баснина мы сели за стол, и хозяин с нами без прибора. Крузе, мимоходом остано­вившись под окном, сказал: «Был в клуб, хотел шитать газет, а ешше нет», и тем так развеселил Александра Николаевича, что он, забыв болезнь, смеялся во весь обед, в начале которого коляска поехала за хозяйками.

С той минуты при шуме каждой телеги я льстился надеждою увидеть Вариньку и все обманывался, все мучился. Часу в пятом ушел, а в семь опять явился и нашел Прасковью Михайловну грустною в кабинете, на месте Александра Николаевича, уехавшего лечиться в баню к Портнову. Утешительница, сидя близ ее и ла­комясь кедровыми орехами, молвила: «Не угодно ли?» — и вдруг у меня в руке очутились шесть теплых орешков из Варинькиной горстки, которые так понра­вились, что, не стыдясь, еще попросил и получил пять, из коих два принес домой на сохранение.

Через несколько минут как будто по мановению вол­шебного жезла все в доме переменилось: три человека ввели Александра Николаевича и простерли на диване; Прасковья Михайловна, бледная, сидит подле и спра шивает Крузе, взявшегося за пульс: «Не холера ли?» — «Нет». — «Ах!.. Скажите, не холера ли?»

Портнов и Баснин предстоят безмолвно. Варинька бегает за пособиями. Патя в слезах вопиет: «Что ба­тюшке сделалось?» Я взял милушку на руки, унес в гостиную и там кое-как успокоил, но ненадолго: опять залилась слезами, когда Крузе пришел смотреть ее ножку, на которой появляется нарыв, начавшийся опу­холью именно от негодности башмаков; что слышать мне было весьма больно.

Варинька при перевязке истощала все возможные нежности; потом к успокоению своей любимой крошки рассказывала ей истории, а крошка задавала программы об Аннушке, которая бегала по двору, о Машиньке, которая не слушалась свою маминьку, и т.п. Когда же Вариньку отозвали в кабинет, то я сел на ее место, под нею нагревшееся, и с живейшим удовольствием про­должал истории об Аннушках. За каждой фразой вместо знака препинания следовал поцелуй.

В то же время, прислушиваясь к движениям в ка­бинете, я рассуждал о различных мнениях в супруже­стве, для решения которых достаточно лишь взглянуть на зрелище вкруг Александра Николаевича. Какая раз­ница пред одром болезней холостого старика!

*8-го. Суббота.*

Давно я не был так огорчен, так пренебрежен ею, как сегодня. При осведомлении о здоровье Пати Алек­сандр Николаевич хотел провесть меня к ней, в Варинь-кину комнату, чему Варинька воспрепятствовала. Сей маловажный случай тотчас расположил к огорчениям. Стараясь воскреснуть, более для того чтоб жить ко благу обожаемой, достойной всех возможных пожерт­вований, я после сильной борьбы с чувствами решился писать к брату Василию, которому еще ни разу не писал по освобождении, рассуждая, что счастливый должен прежде поклониться несчастному, решился писать и просить о переводе меня в польскую армию. Хорошо написанное письмо я предложил ей прочесть, а она, и не взглянув, отозвалась недосугом.

За обедом рассказывала Крузе, как ошибкою Патиньке дали напиться воды, в коей стояли шапочки, и спрашивала, не ядовиты ли сии цветы. Немец не мог удовлетворительно отвечать по незнанию русских названийцветов: я хотел нарисовать шапочку, но она сказала, что лучше сорвать в саду Мыльниковой, куда и я поспешил, коль скоро встали из-за стола.

Возвратившись с цветком, нашел ее в гостиной на­едине с Портновым и столь близко к нему стоящею, как ко мне никогда не приближается. Все с доктором были у Пати, куда и она отправилась с шапочкою, без дальнего внимания к моей услужливости. Огорченный, я ушел, не дождавшись ее возвращения и ни с кем не простившись, о чем теперь очень сожалею.

Давно не было так грустно. Тщетно стараюсь оправ­дать ее; тщетно рассуждаю, что Патя больна и день почтовый. Злой дух председает в душе и твердит: «В подобных-то случаях и обнаруживаются страсти; неу­жели не видишь, что Патю она любит, а тебя не любит?» Так грустно, что ставлю свечу на тарелку и, не раздеваясь, брошусь в постель. Может, еще попишу; может, дух добрый придет и уверит, что я в мире не один. Как горько думать, что — ах! Приди, приди, дух добрый, приди!

*11-го. Вторник.*

После худой субботы, разумеется, трудно бы прожить воскресенье, не побывав у источника всех надежд; и потому я некоторым образом против воли ходил туда в воскресенье. Она, показавшись на минуту, извинилась тем, что Патя больна и без нее все плачет. Жарко хотелось мне видеть Патю в Варинькиной комнате, но желание остановилось в груди от страху отказа, который опять опечалил бы. Я ушел гораздо прежде ужина и всячески старался развеселиться, но тщетно: как в ненастье тучи мглы отвеюду облегают небо, так я, окруженный горестями, ложился в постель не с надеждою заснуть, а с уверением мучиться.

Понедельник протек средь нетерпеливых ожиданий вторника. Самые глупые дети накануне Пасхи, увидев купленные игрушки, не могут быть малодушнее меня. Как хорошо я все это чувствую, а исправиться не умею! Настал вторник, и я наконец насладился лицезрени­ем моего бога. Добрая-распредобрая для всех и почасту суровая для меня, чудесно читает в моем сердце. Ми­моходом взглянув мне в глаза, сейчас возвратилась присутствовать при уроке и развеселила поручением заказать вилочку для шнурков, а еще больше своими черными глазами магометовых гурий...

И милая Патя обрадовала меня, обрадовавшись мне и охотно целуясь. Она забавно бережет свою ножку, носит ее обеими руками и называет Хаврониею. Сегодня я оживел; чему более всего содействовало одно Варинь-кино слово: «Надо употреблять обстоятельства в свою пользу; а если грустить и не действовать, то, разумеется, ничего не будет»[[218]](#footnote-218)... «Следовательно, если действовать, то будет», — говорит трепещущее сердце. Прекрасно переведено! Дай Бог, чтоб сбылось. Прости, листок!

Она дала мне читать «Memoires d'un apothicaire sur la guerre d'Espagne»[[219]](#footnote-219).

Прости! Прости!

*18-го. Вторник.*

Сей день многим отличен от прочих. Сверх ожиданий нашел я милую Патю за детским столом здоровою и даже веселою; лишь толсто обверченная ножка в боль­шом башмаке давала знать, что не все совсем прошло. Ей не велят много ходить: под сим предлогом я много носил ее на руках и, как обыкновенно, украдкою це­ловал с тем восхищением, которому сам всегда удивля­юсь, так же как и всегда свежему удовольствию нали­вать пить Вариньке. Выздоровление малютки как-то сделало меня всем довольным, что со мною столь редко случается. Но — увы! — судьба ненадолго подарила забвением горестей.

Давно Крузе хлопочет о своем портрете для отсылки отцу; давно портрет начат; но, невзирая на просьбы, оставался неотделанным. Ныне вдруг мне вздумалось окончить его ко дню рождения Вани, который подарил бы им своего лейб-медика. Все расхвалили труд, и самая Варинька слава Богу довольна — находит его лучшим из всех моих портретов. Портнов взялся сего же вечера сделать рамочку, и потому мы вместе пошли к нему. Среди совещания, чем лучше оклеить, он вдруг без предисловия кладет предо мною портрет Муханова и говорит: «Ну, а этот чем лучше оклеить?» Удивленный, как более не можно, я, жадно схватив его, долго смот­рел; мелькнувшая мысль украсть вмиг изменилась в чрезвычайное умиление, и я готов был к удовольствию божественной Вариньки осыпать алмазами лик своего соперника. В жару дрожащею рукою написал в уголку: L'heureuxf [[220]](#footnote-220). Один лишь Бог всеведущий может знать, какое бессметие чувств и мыслей волновало меня в сие мгновение... «Чем же оклеить?» — твердил Портнов. «Всем, что имеете лучшего», — сказал я наконец.

Варинька говорит, что после сильного жару в лице она всегда бывает бледна; а я после таких мгновений, как сегодня, чувствую усталость и склонен спать. Пришедши домой, я еще мог раздеться по-наполеоновски — мальчик не успевал подхватывать, но чрез минуту, простертый на диване, был вовсе другой человек.

Я, как кажется, не спал, а видел что-то похожее на сновидение. Мечталось, будто бы я живу помещиком в своей деревне, где-то под Москвою, и будто моя жена Варинька, ушедши в баню, долго не возвращалась. В нетерпении пошел за нею и, услышав, что все еще моется, сел на крыльце пред банею дожидаться. Коль же скоро стала одеваться, то я вошел к ней и ну целовать; а увидев башмаки, сам побежал за ботинками, сам обул ее, осыпав ноги поцелуями... Как все это в моем вкусе! Ах! Сия мечта верно сбылась бы, если б я достиг того блаженства, кроме которого ничего в мире не желаю.

Я едва вижу, что пишу: начал в двенадцатом часу. В слипающихся глазах она так очень-очень живо пред­ставляется, что хочется лечь, чтоб ловчее целовать; сидя неловко. Рад бы я всегда видеть подобные призраки. Брошу перо. Прости, портфель.

Прости! Прости!

Как горит в Шлиссельбурге разженное воображение! Спасибо ему за призраки. Ах! Прости!

*19 го. Среда. Рождение Вани.*

Все семейство разодето по-праздничному, и Алек­сандр Николаевич в мундире. Все дети сидели за столом; гостей только Баснин, Крузе, Портнов и я. Не было нозможности сесть так, чтоб наливать пить Вариньке, которая, за завтраком в гостиной покушав сельдей, скоро взглянула на меня, на квас близ Крузе, опять на меня, и, благодаря Богу, не спросила. Я тихонько велел Петру налить ей. «Разве она приказывала?» — спросил Портнов и одним этим словом ужасно пробудил дрем­лющего льва. С презрением глядел я на него, как на червяка, и вместо ответа чрез несколько минут опять велел Петру налить пить княжне.

Обед был вовсе не роскошный — самый простой; а я сидел в восторге, будто средь Олимпа. Мне весьма понравился спор Александра Николаевича с Варинькою, которая утверждала, что Ваня родился в первую минуту четвертого часа (пополудни); а отец повторял — в пятую минуту того же, четвертого часа. Один сей случай показывает свойства сего почтеннейшего семей­ства и сколь важную эпоху составляет рождение Вани[[221]](#footnote-221).

[...] на Вариньку. Как бы ни шли дела, а мне еще много, очень много терпеть, особенно от нее. Я до крайности расстроен; весь будто болен. Сегодня и ты, портфель, мне как-то скучен.

Прости!

*23-го. Воскресенье.*

Ужасно грустно! Вчера во весь день совершенно ни­чего не ел; лишь пил одно молоко. А ночь еще хуже провел, заснул пред утром. Тщетно умствовал: ничто не облегчило. Только то и думается, что она теперь будет писать к Муханову с невестою его друга[[222]](#footnote-222) и, ободренная примером, произнесет, может быть, роковой обет. Татьяна Андреевна привезет кучу ответов pour ma bien aimee et delicieuse Babet. Что тут скажешь, как не

прости!

*29-го. Суббота.*

В течение сей недели я много был у Александра Николаевича, но не много видел Вариньку, которая так и сидит над обреченною жертвою в Петровск, а со мною обращается очень сухо. Неудержимая тоска причиною запущения журнала. Злодейка не говорит, почти не смотрит. Какое странное стечение обстоятельств к усу­гублению мук!

Прошлую почту вовсе не было известий от княгини Елисаветы Сергеевны (мать В.М. Шаховской. — *С.Ш.),* отчего все грустны, даже плакали. Пока сия единствен­ная мать жива, то дочь, надо признаться тоже единст­венная, верно, не опечалит ее браком в Петровске, в противном случае может случиться противное, и эта чудесная женщина, может быть, решится погребстись в Сибири со своим любезным.

Таптыков, один из мерзавцев Оренбургского обще­ства[[223]](#footnote-223), приехал сюда из Петровска для поселения в Илимске. Несносно алча Варинькиными глазками, я ту ж минуту передал ей посылки из Петровска, откуда было письмо к Камиле (невеста В.П. Иванеева. — *С.Ш.),* которая весьма благодарила, а моя, напротив, приняла с неудовольствием, с недоверчивостию и как будто с презрением. Должно думать, ей не хотелось моей услужливости при Камиле.

Признаюсь, взбешенный до крайности, в пылу гнева, я хотел пресечь Варинькины пути в Петровск, но чрез минуту это показалось мне столь гнусным бездельни­чеством, что я поклялся сам себе никогда ничего подо­бного не делать против добродетельнейшей из всех мне известных людей. Теперь, заглядывая в себя, я жалею, и очень жалею, что эта мысль могла очернить мой дух, столь несвойственный подлостям[[224]](#footnote-224).

*Сентябрь. 1-го. Вторник.*

Именины княжны Марфы Михайловны (сестра Ша­ховских. — СНГ.), о чем вовсе забыли бы, если б не вспомнила Варинька, которая сегодня отменно весела. За здоровье пили шипучкою, а Сонюшка, как и всегда, играла туш. Вот что странно: вчера Тюменцов прислал мне в гостинец салату, по теперешнему редкость; *я* хотел ееть его со сметаною, как ел всегда в Шлиссель­бурге и как очень любил; вдруг вспомнил, что Варинька рассказывала, как на гулянье у бригадного генерала за городом ей было противно даже смотреть на салат со сметаною, и я, к моему собственному удивлению, не мог есть не только салату со сметаной, ниже с хлебом сметаны. Послал за здешним маслом из кедровых оре­хов, которого досель вовсе не знал, и с оным съел две глубокие тарелки салату, целуя в мечте Варинькины ручки и ножки при сильнейшем трепетании сердца. Я не могу вспомнить об ней равнодушно. И теперь в сильном волнении. Ах! Если б мне было суждено слу­жить сей воплощенной добродетели!

Прости, листок!

*5го. Суббота.*

Именины княгини Елисаветы Сергеевны (мать Ша­ховских. — *С.Ш.),* княжны Елисаветы Михайловны (се­стра Шаховских. — *С.Ш.),* княгини Елисаветы Алек­сандровны (сестра Муханова, жена В.М. Шаховско­го. — *С.Ш.)* и, кажется, Лизы Голынской (родственница Муравьевых. — *С.Ш.).*

Новый прокурор Минин, вчера из России приехав­ший, весьма кстати сего утра доставил детям платья, посланные в подарок Ланскою[[225]](#footnote-225). Ваня в первый раз надевал шаровары. За столом пенилось шампанское, и Варинька целовалась с Прасковьею Михайловною. Сей день принадлежит к числу приятнейших моей жизни. Варинька много-премного смотрела на меня, и точно так, как мне хочется. Да и говорила много наедине. Я отдал ей письмо Юшневской и тем заслужил благодар­ность. Ах! Боже, Боже, если б она всегда была так ласкова ко мне!.. Разговаривая о своих сестрах, с жаром и восхищением меж прочим сказала: «Я влюблена в них. Признаюсь, наше семейство мне кажется божест­венным».

Сии слова сопровождались страстными поцелуя­ми Пати, вероятно, по неимению другого к приня­тию их. Казалось, что огнь ее прекраснейшей души сообщался мне: я дрожал, стоя пред нею с благого­вением. Мои чувства более боготворение, нежели любовь.

*8-го. Вторник.*

Опять счастливейший день. Варинька крестила у Федора. Все семейство, поистине божественное, обедало у своего слуги, где и я был. Александр Николаевич предложил куму, П.Н. Иванову, сесть с княжною ввер­ху стола, прибавив, что во всех церковных обрядах женщины занимают место ниже мужчин, и потому княжна должна сидеть с левой руки; но умница села на свое обыкновенное место, как дома; а я, несколько смутившийся, вмиг посадил Патю близ нее. Сам же поместился, как всегда, наискось против.

Едва поместился, как от неизъяснимого восхищения с трудом перевел дыхание, приметив, что и она, подобно мне, смотрит на бутылки. Тотчас после супу подставила мне свой стакан. Я и теперь — ах! Боже, что за сладо­стные ощущения? И слезы в глазах, слезы благодарно­сти. Оставлю перо на минуту.

За столом она почла угаром дух кушанья из русской печи и сказала, что у ней от малейшего подобного духу болит голова и что поэтому-то она зимою страждет чаще, нежели летом. Я, отменно крепкий здоровьем, так же слаб головою. Вот еще другая черта нашего сходства: она, вовсе не слишком разборчивая в пище, не терпит худого масла.

Возвратясь домой, Варинька говорила со мною нае­дине ровно полтора часа, которые вне разряда моих блаженств. На вопрос: может ли случиться, что она выйдет за Муханова, она отвечала: «Если это будет полезно ему, а я не буду занята другим, не буду иметь случая составить счастие другого, то почему не пожер­твовать собою?» — «Ваша матушка может позволить подобный брак, следуя вашим желаниям; но, верно, ей будет ужасно больно, так же как и вашим сестрицам, псем родным, всем знакомым». — «Вы думаете за меня? К чему вы это говорите? Откуда взяли, что я хочу выйти :ia него? Еще раз повторяю, что, если не будет случая составить счастие другого...» и т.п. «Но, может быть, и при возможности составить счастие другого предпоч­тете его?» — «Неужели вы думаете, что я обману?..»

Надобно бы много кое-чего записать, но сон томит. Сегодня я совершенно счастлив. Незабудки заверну в платок и положу с собою спать; а ты, портфель любез­ный, прости!

*12-го. Суббота.*

Рождение предоброго Александра Николаевича. У него обедают генерал-губернатор с дочерью, и потому на сей раз суббота стала черным днем. Я велел себе к обеду приготовить любимое кушанье, телячьи ножки; но предвиденное оправдалось, совершенно ничего не ел, лишь молока напился.

Я очень разумею глупость своей тоски, а развесе­литься никак не могу. Вотще вспоминаю вчерашнее блаженство: вчера я смотрел на нее, говорил с нею от 7 до 12 часов. Ах! Вчера был день прекрасный; четвер­ток также хорош. Возможно ли же, чтоб всегда была пред глазами?

Зная, что Александр Степанович (генерал-губерна­тор. — *С.Ш.)* зван на обед, я вздумал поздравить. При моем появлении в переднюю Варинька опрометью бро­силась из залы в гостиную и заперла за собою дверь, которую ту ж минуту опять отворила, узнав, что не Александр Николаевич пришел, а я. В гостиной я уви­дел Прасковью Михайловну, дрожащую от испуга: она готовила сюрприз мужу; Сонюшка, аккомпанируемая скрипкою, разыгрывала на форто-пианах какую-то пье­су Моцарта; оправившись, кликнули убежавшего скри­пача и снова принялись, а Варинька села в зале и пятницу сделала субботою.

Когда же по возвращении Александра Николаевича из бани Прасковья Михайловна ушла в кабинет, то мы перешли в гостиную, где Патя так целовала свою Бабе, а Бабе Патю, что я, стоя как вкопанный, переходил от умиления к восхищению и обратно... В сие мгновение я в такой расхотке, что отдал бы власть над вселенной за ее черные глазки!..

Прости!

*13-го. Воскресенье.*

Варинька сделала мне столь великое благодеяние, какого, кроме нее, никто из смертных не может сделать. О Боже! С каким восхищением поклонился бы я ей в ножки, если б это было возможно! Я задыхаюсь от множества надежд... При самом начале ужина Портнов, наливая себе квас, предложил ей; она подставила ста­кан, поблагодарила и — взглянула на меня; я, разу­меется, смутился как более нельзя; с каким же удо вольствием примечал я, что стакан, налитый не по-мо­ему вполовину, а почти полный, оставался неприкос­новенным во весь ужин; наконец Прасковья Михайлов­на выпила его в два приема, едва выпила, как мой бог Варинька ту же минуту попросила меня налить ей пить и тем обрадовала до удушия. Чувствуя свое лицо изме­нившимся и желая сокрыть от присутствующих ощу­щаемое, я украдкою взглянул на Прасковью Михайлов­ну — увидел, что она смотрит на меня с приятным изумлением и как будто спешит прочесть. Сие мгнове­ние есть одно из тех, которые вознаграждают целые годы страданий.

При полноте жарких чувств хочется лечь в постель; там как-то лучше думается, а еще лучше сыплются поцелуи. Сию ночь, верно, расцелуется все — все, на­чиная с чела до пят. Ах! Как щеки горят! Лягу. Мне как будто 20 лет.

Прости!

*16 го. Среда.*

После неприкосновения к стакану, Портновым на­литому, я провел ночь до той степени приятно, до коей ночи шлиссельбургские были неприятны. Вообразите зерцало многих вод средь величайшей тиши и как лучи златозарного солнца играют в струях сапфирных: вот образ моего духа в ту ночь; вот так надежда блаженст­вовать в объятиях любви и дружбы златила все мысли, все мечты. Казалось, что ничто уже не возбудит сомне­ний.

Вчера, во вторник, то есть в мой день, было рождение Николая Николаевича (отца)[[226]](#footnote-226), я это знал и готовился к источнику своих отрад, как вдруг Петр изумил изве­стием, что Сонюшка учиться не будет. После нескольких вопросов узнал я, что Татьяна Андреевна там, и из этого, так сказать, высидел премножество цыплят-уро­дов, которые мучили меня более суток.

Представилось, будто Варинька не хочет, чтоб я на­ливал ей пить и прочее при Татьяне Андреевне, чрез которую мое счастие может соделаться известным в Петровске. Прости мне, друг милый, друг священный! Мои ошибки происходят, верно, не от недостатка вы­сокого мнения о тебе, а единственно от любви чрезмер­ной. Любовь — дитя. Давно ли, в воскресенье, я, оча­рованный твоею, божок, отважноетию, любовался, до какой степени истинная добродетель может пренебре­гать клевету, и думал ввек не сомневаться; а вчера опять струсил, да и так, что мог бы служить предметом комедии. Теперь мне и самому смешно[[227]](#footnote-227).

С трудом, с нетерпением дождавшись вечера, пошел ужинать — нет, к чему так выражаться, об ужине не было и помысла: я пошел посмотреть, как взглянет на меня Варинька, и обрадовался — ах! — очень-очень обрадовался при первой встрече ее взоров. «Напрасно вы вчера не обедали у нас, — сказала она мне, — мальчик не понял приказания. Сонюшка ездила с Прасковьею Михайловною и потому не могла учиться, но это не значило, чтоб не приходить обедать». То же самое повторила и Прасковья Михайловна, без пользы, ибо я был уже так по-детски всем доволен, что, кажется, ничто в мире не могло бы умножить счастия.

За ужином крылатое воображение опять носилось в приятнейшей будущности. Я впервой от роду согласился бы быть царем, чтоб поскорее безбоязненно сказать ей при всех: «Я вас люблю!»

К чему марать бумагу? К чему изъяснять то, что неизъяснимо? Лучше лечь в постель и мечтать, цело­вать. Прости, портфель. Подарки милой ученицы завтра опишу. Прости! Прости!

С радости, как и с печали, не спится. Расцеловав свои плечи вместо Варинькиных, опять взялся за лю­безные листки, чтоб сказать, как сей год мне счастлив.

Более недели затруднялся я, чем подарить Сонюшку в день ее именин. Игрушки ей неприличны; все лавки обойдены для ящика красок, но нет не только хороших, ниже сносных. Сего утра, в ту самую минуту, как рассуждал, что завтра день Софии и что наконец не­пременно должно решиться на что-нибудь, вдруг явля ется предо мной, будто привидение, незнакомый, гово­рит, что он из Америки, из Ситхи, едет в Петербург, и вручает тюк посылок от Г.В. Мейера; развертываю и — редкости: неимоверно щегольское платье диких с Алеутских островов, сшитое из кишок нитками из жил, такой же работы сумка, веревка, удочка и много кос­тяных изделий: огниво, шашки, ложка, модель байдар­ки, цепь, заслуживающая особенного внимания, и про­чее, несколько камней. Все без остатку с живейшим удовольствием отдал я Сонюшке с тем, чтоб она завтра подарила своего батюшку.

Рука худо пишет; хочется спать.

Прости, листок!

*Октябрь.*

*4-го. Воскресенье.*

В каких ужасных несчастиях я был и сколько ударов судьбы перенес, а колени мои еще никогда не дрожали так, как сего вечера при входе в залу, где Портнов, облокотясь на стол, сидел близ Вариньки. Сонюшка сказывала английский урок, и Патя тут же стояла. Зная, что Прасковья Михайловна у Елисаветы Алек­сандровны, и не видя никого в кабинете, спросил, дома ли Александр Николаевич? «На что вам его?» — отве­чала Варинька с усмешкой при выразительнейшем взо­ре и тем пробудила рассудок.

Я вспомнил, что она поневоле сидит в зале, ибо в ее комнате пол перестилают, а в гостиной красят; к тому же скоро пришедший Александр Николаевич с Ваней на руках увел к себе Портнова. Невдолге не стало их обоих: один ушел домой, другой за женою, нежно про­стившись с детьми, которые ужинали под председатель­ством Вариньки, меж тем как я говорил с нею безумолкно. При слове о рисунке Баснину я искренно сказал, что одно лишь желание угодить ей могло заставить приняться за трудную программу, и встретился со взо­ром, который теперь еще как-то горит в душе моей.

Сего вечера она, больная, едва одетая, с подобран­ными волосами, была очень, очень мила, и мне очень, очень хотелось поцеловать что-нибудь — хоть платье!.. За баснинский рисунок я затеваю попросить у ней ручку, затеваю и в то же время сомневаюсь в успехе. 4 декабря надежнее; знаю, что это будет в пятницу.

Под конец детского ужина я странным образом вздра­гивал от мысли, что скоро надо будет уйти. Она, как кажется, прочла сии ощущения, ибо, прощаясь, сказа­ла: «Мне очень жаль, Роман Михайлович, что так слу­чилось; вам, конечно, приятно было бы провесть у нас вечер...» Ужасно не хотелось выйти; мы были одни, смотреть на нее было так сладко, что я и сам удивляюсь. О, если б я мог видеть ее всякий день, подобно Портнову, которому, признаюсь, завидую.

Прости, мой единственный друг, портфель. Прости!

,. .. ■ ■

*6-го. Вторник.*

Рад для нее, не рад для себя: ее комната готова, менее будет сидеть в гостиной. После многократно по­вторенной просьбы посмотреть святилище, наконец при­глашенный, с изумлением прислушивался к биению своего сердца. На первом шагу приметив, что нет Муханова портрета, в один миг преисполнился бессметием идей, надежд, заключений. О, если б ты, мой друг, мой бог Варинька, могла видеть мои чувства в сие мгнове­ние, то, верно, не повесила бы портрета, — ты, добрая, щадила бы человека, посвятившего все свое бытие тебе, единственно тебе.

За обедом, приметно задумавшись, она слишком вы­дернула платок, засморканный табаком, который ста­ралась скрыть лишь от меня одного, ибо лишь на меня смотрела, ни на кого больше. Как я понимаю все по­добные мелочи и как высоко ценю их!

Александр Николаевич становится весьма экономен: новую бекешь подложил ветхою стежкою из-под старой бекеши. Хороший ексельбант в 275 рублей выжег и продал за 105. Подробности сего последнего случая ясно доказывают, что он очень нуждается в деньгах. Мне это страшно больно, гораздо больнее всех собственных нужд.

*8-го. Четверток.*

Сей день не благоприятствовал. Несмотря на ужас­нейшую бурю со снегом, я ходил к источнику отрад и не нашел их. Сонюшка больна, кажется, простудою с появлением какой-то сыпи. Прасковья Михайловна и Варинька сидят над нею в детской; Александр Нико­лаевич пробыл в правлении до двух часов. Я оставался один в гостиной. Хотел, желал уйти — ах! — очень желал, и никак не умел, не увидев Вариньки. Жестокая не показывалась до самого обеда. Пренебреженный, грустный, я взял книгу «Medecine domestique par Buchon, torn IV» [[228]](#footnote-228), по оглавлению нашел статью о жен­ских болезнях и с особенным вниманием дважды про­читал о бесплодии, которое, по мнению автора, чаще встречается в высшем сословии, нежели меж людьми трудящимися, и которое он советует исправлять дви­жением на воздухе, холодными банями и пищею из овощей и молока.

Не утверждая себя правым, признаюсь, что сегодня все мучило меня. Подставляя стакан, она всякий раз делала новую улыбку учтивости, приличной меж чу­жими и излишней, даже оскорбительной меж друзьями. Это походит на «вы» после «ты». Из-за стола прямо ушла в детскую; я смотрел ей вслед с таким стеснением духа, которое, не испытав, нельзя понять. Долго стоя как вкопанный, я наконец ничего не мыслил, ничего не чувствовал, будто умер. Владимир с подносом кофею привел меня в память и очень удивился толикому за­бвению... Грустно.

Еще слово: не думайте вы, листки, поверенные моей души, что я сердит на своего божка; нет, нимало, мне лишь грустно. Может быть, облегчусь в постели. Про­стите!

*10-го. Суббота.*

Мой милый, мой прекрасный друг, священная Ва­ринька, как жаль, что ты не знаешь ни меня, ни меры моей страсти; не зришь во мне чувств, тебя достойных. Тебе мечтается, будто бы я изменился последним пись­мом Юшневской. Возможно ли? Впрочем, мне приятно твое, мой ангел, сомнение; оно, равно объяснению, доказывает, что ты неравнодушна ко мне.

Сей день прекрасен тем более, что не ожидал ничего подобного. С самого утра я был очень грустен; можно сказать, что, еще не проснувшись, мучился мыслию не увидеть любезной по причине Сонюшкиной болезни; самое сновидение было таково. Душа, сильно объемлемая каким-либо предметом, занимается им и во сне. Мне снилось, будто я где-то в заключении порывался бежать посмотреть на Вариньку и никак не мог уйти. Вовсе иное случилось наяву.

Послав спросить о здоровье Сонюшки, получил в ответ: «Слава Богу, легче». — «Конечно, слава Бо­гу», — сказал я своему мальчику и ну скорее одеваться.

Прасковья Михайловна, говоря, что Сонюшка еще не совсем выздоровела и потому учиться не будет, при­бавила, что ей весьма приятно, что я, несмотря на то, обедал у них. Все занимались почтою до трех часов; я опять взял Бюшона, отыскал начало статьи о женских болезнях, многому удивлялся и многое затвердил к сбережению здоровья своей будущей жены. Чтение пре­рвалось просьбою Александра Николаевича надписать несколько кувертов.

Вскоре затем явилась в кабинет и Варинька чудесно прелестною. При величайшем желании увидеть после долгого ожидания я, казалось, съел бы ее глазами. За обедом, налив ей пить с самыми приятнейшими[[229]](#footnote-229) ощу­щениями, я вдруг смутился. «Вы, пожалуйста, поста­райтесь быть у нас к 28-му», — сказала она Портнову, собирающемуся в Верхнеудинск, и тем напомнила мне прошлогодние именины Прасковьи Михайловны и ны­нешние, 22 августа... Сорвался лев с привязи роз, но чрез минуту, оглянувшись, смиренно возвратился в прекрасные узы любви. Казалось, никто ничего не при­метил.

Тотчас после кофею милая Патя прибежала сказать, что Сонюшка просит меня к себе. «Она у княжны Варвары Михайловны, — подхватила Прасковья Ми­хайловна, — пожалуйте туда». Удивленный, обрадован­ный, вторично вошел я в тот приют счастия, в который заглянуть, верно, не упустил ни одного случая и где быть мне столь неизъяснимо приятно.

Какой святыней мне кажется Варинькина постель, покрытая простым белым коленкоровым покрывалом! Это очень в тоне Весты. Ах! Как я дрожу при мысли, что сия божественная женщина достанется мужу, ее недостойному, или несчастному Муханову. Боже, Боже, вонми молениям... Я в пылу чувств увлекаюсь; оставлю перо для охлаждения.

На благодарность за приглашение она дважды по­вторила: «Я никогда не воспрещала вам входу в мою комнату, но, конечно, случай не завсегда одинаково удобен». Сонюшка подала стул, на котором сидя, я был истинно в раю. Мы много кое о чем говорили: меж прочим заметив, что сегодня я смутен, хотела знать причину и уверяла, будто последнее письмо Юшневской подействовало. Отвечая пустяками, я внутренне жалел, что не можно рассказать ей, как не письмо, а ее незаб­венный разговор о самом письме произвел сильнейшее действие, но совершенно противуположное ее мнению; как с того времени мне думается, что она согласна быть моею; как трудно, как мучительно провесть день, не повидавшись с нею; как, почасту смотря на нее, молюся ей, молюся об ней.

Сия беседа — не взирая на портрет Муханова, кото­рый, стоя на столе, мучил, как острое лезвие в груди, и, конечно, был причиною замеченного смущения, — сия беседа, хочу я сказать, принадлежит к счастливей­шим мгновениям моей жизни[[230]](#footnote-230).

На вопрос: «Где счастие?» — могу отвечать: «Я од­нажды видел счастие в Варинькиной спальне».

Природа дала мне чувства пылкие, роскошные. Я всегда думал, что для моего счастия необходимы бога­тые утвари — картины, мраморы, и бронзы, и фарфоры; сегодня в Варинькиной спальной я в первый раз почув­ствовал, что, кроме сей божественной женщины, мне ничего не нужно. С какою бы радостию я отказался от всех прочих благ мира!..

Теперь воображение чрезвычайно распылено: мне думается, что если б в природе были духи и я был бы Манфред, то б немногого потребовал от своих невиди­мых служек. Я велел бы дать мне опочить на Варинь­киной постели только один час, в продолжение которого Варинька, сидя подле и целуя меня, произнесла бы обет быть моею с тем, чтоб я был ее достоин; потом духи должны бы примчать меня в Петербург — все прочее *я,* предприимчивый, готов взять на себя и — верно жил бы в объятиях и дружбы, и любви... Какие мечты! Не сплю, а брежу! Уже два часа полночи.

Прости!

Портрет опять наполнился и не дает расстаться с листком. Переделка комнаты доставляла удобнейший случай спрятать, ибо на его прежнем месте висит зер­кало из гостиной. Судьба удивительно располагает об­стоятельства: я очень редко бываю у Портнова, без дела решительно никогда; я был в то самое время, как он собирался оклеивать портрет Муханова (август, 18-го); чрез несколько дней (23-го) у Александра Николаевича, вошед в гостиную, увидел, как она показывала Камиле Дантю вновь оклеенный портрет своего любовника. Воз­можно ли не заключить, что она нарочно украсила оный к сему случаю, дабы счастливец узнал о том от невесты своего друга. Намеднись, говоря об этом со мною, она сказала: «Я никогда не думала переменять рамку: Портнов сам вызвался, зашел в мою комнату посмотреть Патю, тогда как у ней ножка болела».

Из сих немногих слов видно, как она умна, как осторожно говорит и как угадывает меня.

Спать пора, а нимало не хочется. Думаю помолиться Богу: вовсе не то на уме.

Я вижу лик неотразимый;

Она в уме, она в речах,

Она в моленье на устах.

*14-го. Среда.*

Давно замечено, что пред несчастием бывает счастие. В субботу я был у Вариньки в спальной; за то с тех пор не вижу ее четыре дни, четыре века. Нет возможности объяснить, как тоска, постепенно умножившись, стала нестерпимою.

Сегодня страсть, как змея, обвившись вкруг сердца, гложет его. Я не мог обедать, а ужинать даже и подавать не велю; ночь, верно, не сомкнет веждей и уподобится худшим из ночей шлиссельбургских.

Видеться с нею делается необходимою физическою потребностью жизни!

Воскресенье все они ужинали у Александра Степа­новича, да и обедали не дома — у губернатора.

В понедельник, ждав вечера, как постник ждет Пас­хи, я ужинал у Александра Николаевича; но Варинька и Прасковья Михайловна были у Елисаветы Алексан­дровны, снова заболевшей. Прасковья Михайловна при­езжала на полчаса домой, посмотреть, поцеловать детей и мужа; в сии полчаса Портнов, отъезжающий в Вер-хнеудинск, явился в сибирском дорожном одеянии, то есть зверем в парке, и, прощаясь, подходил к руке Прасковьи Михайловны, причем я, странно оцепене­лый, благодарил Бога, что Варинька в гостях, и обещал не роптать на сей вечер, но не сдержал слова, искренне данного в глубине души.

Вчера, во вторник, при известии, что обедают у Александра Степановича, я вовсе одурел. Давно не слу­чалось три дня не видеть. Мысль сходить на паперть Тифинской церкви, чтоб издали посмотреть на своего божка, казалась смешною, глупою: я не хотел идти, но как-то против воли пошел, ждал, дождался и нимало не утешился.

Сегодня я очень грустен, мрачен, совершенно ни к чему не способен. Не могши льститься надеждою уви­деть ее сего вечера, не мог обедать, ибо узнал, что опять будет у Елисаветы Александровны. Для рассеяния хотел выйти со двора, но не пошел.

Прежде я находил удовольствие в обществе всех пригожих женщин; ныне они мне скучны, иные даже противны, особенно Н.М. Цейдлер, жена Терменя и ее сестра губернаторская Верушка; без сих двух последних я любил бы быть у Терменя; он преуслужливый и, что называется, un bon diable[[231]](#footnote-231). Теперь я знаюсь лишь с одним холостяком Жюлиани.

Право, согласился бы ослепнуть, с тем чтоб мой бог Варинька была моею женою и чтоб я мог видеть ее одное, и больше ничего.

Я взялся за журнал с надеждою развеселиться, но нет, не полегчает. Впрочем, тоска не от одного несвидания: я приметно все более и более грущу с того времени, как набрел на портрет Муханова у Портнова. Тщетно призы­ваю на помощь рассудок; ничто не облегчает. Злодей пред ней всегда на столе и с моею надписью L'heureux!

Прости!

*28го. Среда.*

Именины Прасковьи и моей милой Пати и день вашего рождения, любезные листки о Вариньке свя­щенной.

Не помню, чтоб я был когда-нибудь так расположен к молитве, как сего утра, лежа в постели и впотьмах слушая глухой звон к заутрени. Длинная, многосмыс-ленная молитва заключалась почти в одном слове: «Бо­же!» — которое жарко повторял я, осыпая поцелуями своего другого бога — Вариньку.

Тут многие захохочут, крича: безумец! Как жалки вы, коих любовь столь преисполнена материализма, столь не чиста, что должно стыдиться ее не только перед Богом, но даже пред себе подобными людьми.

Долгая ночь, без сна проведенная, раздула огнь, возженный вчерашним днем — днем, который почти весь проведен в доме Александра Николаевича среди прелестнейших семейственных сцен: первым действием был детский стол, где Прасковья Михайловна, кормя и лаская Ваню, поминутно заглядывала в пук писем; слезы текли по лицу, улыбавшемуся к сыну. Варинька тут же сидела со своим участком листков и горестей. «Почта привезла весьма неприятные известия, — ска­зали они мне в один голос, — Клеопатра нездорова». Верно, никто не в состоянии вообразить, сколь много высказали мне сии немногие слова.

В един миг вспомнилось все в три года слышанное о сей Клеопатре: об ангельском нраве, о телесных пре­лестях, о мучительной болезни, о ничего не щадивших заботах вылечить, о чрезвычайных издержках, на то употребленных, о нынешнем расстроенном состоянии лучшей матери и т.п. Последнее обстоятельство особен­но разрождало мысли с быстротою молний бессметием вдруг. (Я не могу ни объяснить, ни надивиться подо­бным мгновением в своей душе.) Читая все Варинькины думы...[[232]](#footnote-232)

ОКУМЕНТЫ И ЛИТЕРАТУРА О РОМАНЕ МЕДОКСЕ

*Дело* архива III отделения собственной Его Величества канцелярии по I экспедиции № 18 — о Романе Медоксе (за 1813—1859 годы).

*Дело* № 178 по секретной части канцелярии дежурного генерала о содержащихся в Шлиссельбургской крепости (от 8 апреля 1826 года).

*Дело* по секретной части канцелярии дежурного генерала № 60 об освобождении из крепости Р. Медокса и об определении его на службу рядовым (от 4 марта 1827 года).

*Бумаги* в Музее Революции СССР, относящиеся к пребыванию А.Н. Муравьева в Сибири и к провокации Р. Медокса (1832—1838 годы).

*Дело* о ящике с письмами государственных преступников, тайно отвезенном в Москву. Центральный архив Восточной Сибири, картон N» 5, опись № 103, от 20 июля 1832 года.

*Дело* о недозволенной переписке государственных преступников и жен их. Архив бывшего департамента полиции (III отделения), № 61, часть 15 (1832—1834 годы).

*Дело* о рисовальной бумаге, присланной от жены государственного преступника Юшневского к рядовому Медоксу. Центральный архив Во­сточной Сибири, картон № 6, опись № 123, от 10 мая 1833 года.

*Дело* по отношению министра внутренних дел об отыскании рядового Р. Медокса. Центральный архив Восточной Сибири, картон № 8, опись № 161, от 29 мая 1834 года.

*Р. Медокс.* Мое предприятие составить Кавказско-горское ополчение в 1812 году. — «Чтения Московского общества истории и древностей», 1859 год, книга I, отдел V, стр. 81—88; «Русская старина», 1879 год, № 12.

*Ольга Чаянова.* Театр Маддокса в Москве. М., 1927 год.

*С.Я. Штрайх.* Провокация среди декабристов. М., 1925 год.

*Э.И. Стогов.* Роман Медокс. — «Русская старина», 1880 год, № 8.

*К. Медокс.* P.M. Медокс (биографическая заметка). — «Русская ста­рина», 1880 год, № 9.

*К. Медокс.* Происхождение русских дворян Медоксов. — «Русский архив», 1886 год, № 10.

*А. Зиссерман.* Самозванец Медокс. — «Русская старина», 1882 год, №9.

*Ярославский старожил.* Самозванец Медокс. — «Русский архив», 1886 год, № 6.

*Архив АЛ. Закревского.* — «Сборник Русского исторического обще­ства», т. 73, стр. 383.

*Ириней, архиепископ Иркутский.* — «Русская старина», 1882 год, № 10.

*Н.Ф. Дубровин.* Отечественная война в письмах современников. СПб., 1882 год.

*Н.Ф. Дубровин.* Письма главнейших деятелей в царствование импе­ратора Александра I. СПб., 1883 год.

*Н.Н.Муравьев-Карский.* Записки. — «Русский архив», 1886 год, № 4.

*ИМ. Пущин.* Записки о Пушкине и письма. Под ред. С.Я. Штрайха. М., 1927 год.

*С.Я. Штрайх.* Кающийся декабрист (А.Н. Муравьев). — «Красная новь», 1925 год, № 10.

*АЛ. Сиверс.* П.А. Муханов: «Памяти декабристов». Сб. I. Изд. Ака­демии наук. Л., 1926 год.

*Б.Л. Модзалевский.* Декабристы на пути в Сибирь. Сб. «Декабристы». Изд. Общества политкаторжан. М., 1925год.

*Алфавит декабристов.* Под ред. и с примеч. Б.Л. Модзалевского и А.А. Сиверса. Л., 1925 год.

*H.В.* Сушков. О Р. Медоксе — «Русский вестник», 1859 год, т. 22.

1. Его диковинные часы с массой двигающихся фигур были в 1872 году выставлены на Московской политехнической выставке. [↑](#footnote-ref-1)
2. Еще князь Потемкин старался, по титулу российских государей-«повелителей горских народов», достать лейб-кавказско-горскую сотню; ему не удалось, потому что все делалось через десятые руки. Недавно (писано в 30-хгодах XIX века. — *Прим. С.Я. Штрайха)* эти попытки были возоб­новлены. Генерал от кавалерии Тормасов склонил Большую Кабарду послатьв С.-Петербург депутатов, которые, быв там обласканы и одарены, обещали лейб-сотню; но их самих, возвратившихся в отчизну, осудили за то на изгнание по приговору аллиев, то есть божьих людей или правите­лей. В этот раз виноват г. Тормасов: ему надлежало происками назначить депутатов; он допустил ехать людям маловажным, коих обещание ничего не значило в невежественной аристократии. *(Прим. Р. Медокса.)* [↑](#footnote-ref-2)
3. Известно, как в греко-российской церкви произошел раскол от исправления церковных книг и как исступленники вящше расплодились от страху казни. Одни из них возжгли мятежи, другие, рассеявшись по всей России**,** всюду насадили свое разномыслие, и между прочим в стране Стародуба, где поблизости границы, способствовавшей перебегать в Поль­шу, они весьма размножились, особенно в годы нововведений Петром Великим и в грозное царствование Анны Иоанновны. Во время нашествия Карла XII они, еще своевольные, удачно напали на мимо шедший отряд шведов несколько пленных доставили в стан Петра Великого, пожаловавшего их за то грамотою, которая, хранясь в церкви, и поднесь питает в них бранный дух. Они многократно ходили в Польшу против конфедератов**.** *(Прим. Р. Медокса.)* [↑](#footnote-ref-3)
4. Один султан Арслан-Гирей привел сто ногайских узденей, в том числе несколько подручных князей. Это можно видеть из имеющегося при деле, в моем журнале, подлинного отношения ко мне генерал-майора султана Менгли-Гирея. В Кавказских горах, если где есть законы, или, лучше сказать, обычаи с силою законов, то они походят на Ликурговы. Там, как в Спарте, только два сословия: дворянство, занимающееся единственно войною и презирающее все другое, и черный народ, работающий подобно илотам. *(Прим. Р. Медокса.)* [↑](#footnote-ref-4)
5. Людовик XIV, хваля добродетельного маршала Катину, сказал: «Он всю свою жизнь просит о других, а об себе никогда». Стыдно не будет, если то ж скажут и о вашем высокопревосходительстве. *(Прим. Р. Медокса.)*

Маршал Катина (1643—1715) — талантливый полководец, имел крутой нрав, но был любим солдатами за справедливость. *(Прим. С.Я. Штрайха.)* [↑](#footnote-ref-5)
6. Сравните ниже письмо Медокса к сестре декабриста М.Ф. Раевской, которой он 1834 году объяснялся в любви в тех же выражениях, в каких говорил о любви к ВДМ. Шаховской в Дневнике 1830-1831 годов. [↑](#footnote-ref-6)
7. По тогдашним почтовым сношениям переписка между Иркутском и Петербургом требовала не менее двух месяцев в один конец. [↑](#footnote-ref-7)
8. В своих сообщениях Бенкендорфу Медокс несколько раз заявляет, что деятельность его по надзору за домом А.Н. Муравьева в Иркутске нахо­дились под покровительством генерал-губернатора; выше была отмечена таинственная связь между иркутским генерал-губернатором и поднадзор­ным омским солдатом, на сношения которого с III отделением помимо него Лавинский жаловался в письмах к Бенкендорфу. [↑](#footnote-ref-8)
9. Лавинский называет здесь именно Варвару Шаховскую, хотя выехала в Москвуее сестра Екатерина, и он это знал. [↑](#footnote-ref-9)
10. Григорий Федосеевич Раевский — брат первого декабриста В.Ф. (ки­шиневского приятеля Пушкина), арестованного за революционную про­паганду среди солдат еще в начале 1822 года. О. нем читайте в Дневнике Медокса. [↑](#footnote-ref-10)
11. Медокс умалчивает еще об одном своем брате — Александре, умалишен­ном, жившем в 1834 году в селе Притыкине, и о других членах семьи своего отца. Племянник Медокса, стараясь в одной из своих статей в 1886 году доказать «благородное» происхождение своих родственников, сообщает сле­дующий состав семьи московского антрепренера. Сыновья: Василий — умер в 1831 году в Варшаве, Павел — штабс-ротмистр, был адъютантом при дежурном генерале действующих армий, Иван — гражданский чиновник военного ведомства, Александр и Георгий — болезненные, умерли не служа, Роман был адъютантом графа Платова. Дочери были за капитан-лейтенан­том Кожиным, за штабс-капитаном Замятниным, за поручиком Гаевским, за поручиком Степановым, за надворным советником Ивановым. [↑](#footnote-ref-11)
12. Он был, однако, на учете полиции как подозрительный игрок в карты [↑](#footnote-ref-12)
13. Выше мы видели, что Бенкендорф уже в самом начале 1832 года знал со слов Медокса о тайных сношениях Шаховской с декабристами. [↑](#footnote-ref-13)
14. Та самая, в которую Медокс якобы был до безумия влюблен в 1830— 1831 году. [↑](#footnote-ref-14)
15. Декабрист М.Ф. Орлов, живший в то время в Москве, на покое. В свое время он был одним из деятельных участников тайных обществ, но избег суровой кары благодаря заступничеству брата своего А.Ф. Орлова, кото­рый оказал большие услуги Николаю Первому в декабрьские дни 1825 го­да. Они приходились племянниками фавориту Екатерины Второй Г.Г. Ор­лову. [↑](#footnote-ref-15)
16. Отец известного врача Н.А. Белоголового, оставившего интересные воспоминания о декабристах [↑](#footnote-ref-16)
17. Дмитрий Петрович Таптиков — член Оренбургского тайного общества, осужденный по доносу провокатора И.И. Завалишина, брата декабриста [↑](#footnote-ref-17)
18. Хр. Мих. Дружинин — член Оренбургского тайного общества, осуж­денный по доносу И.И. Завалишина. [↑](#footnote-ref-18)
19. Анна Алексеевна Орлова, племянница фаворита Екатерины Второй, приятельница знаменитого изувера архимандрита Фотия. Она в это время жертвовала деньги только на монастыри да на церкви. [↑](#footnote-ref-19)
20. Елизавета Ксаверьевна Воронцова — жена Новороссийского генерал-губернатора, дочь А.В. Браницкой, которая давала деньги на борьбу с восставшим Черниговским полком в январе 1826 года. [↑](#footnote-ref-20)
21. Известный магнат граф Н.П. Шереметев был в приятельских отноше­ниях со многими заговорщиками, но к следствию привлечен не был ввиду его высокого положения в правящих кругах. [↑](#footnote-ref-21)
22. М.П. Щербинин — адъютант М.С. Воронцова в Одессе, где Медокс знал его в 1828 году. [↑](#footnote-ref-22)
23. А.И. Пущина, сестра декабриста И.И. Пущина [↑](#footnote-ref-23)
24. Генерал И.П. Шипов — член тайных обществ, отошедший от заговора задолго до 1825 года и избегнувший наказания. [↑](#footnote-ref-24)
25. ***Комендант*** генерал С.Р. Лепарский, плац-майор — его племянник, Лепарский [↑](#footnote-ref-25)
26. Первые десять букв сей азбуки означают соответствующим их порядку числом простых ударов, например, а один, b два, с три удара, и так до к, означаемого десятью ударами; потом следуют сливающиеся пары: 1 одна, m две, п три пары; далее к сим парам прибавляется с конца или с начала отдельный удар; еще далее следуют сливающиеся тройки и, наконец, таковым тройкам предшествует отдельный удар. *(Прим. Р. Медокса.)* [↑](#footnote-ref-26)
27. Упоминаемые в главе I доноса декабристы: 1) *А.П. Юшневский* — друг Пестеля и главарь Южного общества; осужден на смертную казнь, замененную вечной каторгой; родился в 1786 году, умер внезапно в Сибири в 1844 году; жена его, Мария Казимировна, одна из первых поехала за ним в Сибирь, откуда ей позволили выехать лишь в 1855 году; 2) *А.С. Пестов* — член общества Соединенных славян; осужден на смерт­ную казнь и сослан в каторгу вечно; родился в 1802 году, умер в 1833 году в Петровском заводе; 3) *И.И. Пущин* — «первый и бесценный друг» Пушкина, товарищ поэта по лицею, один из самых активных деятелей в день восстания 14 декабря 1825 года; оставил «Записки о Пушкине», первостепенный материал к биографии поэта до 1826 года; родился в 1798 году, умер в 1859 году; 4) *ВА. Дивов* — осужден на смертную казнь, но послан крепостным арестантом в Бобруйск; умер в 1842 году; 5) *НЛ. Бестужев* — брат декабриста-писателя А.А. Бестужева-Марлинского; один из главарей заговора в Петербурге; писатель и ученый-моряк; осужден на вечную каторгу; оставил записки о К.Ф. Рылееве; был хоро­шим художником и оставил портреты многих декабристов, написанные в Сибири; родился в 1791 году, умер в 1855 году в Сибири; 6) *МЛ. Бесту­жев* — брат предыдущего; деятельный участник восстания; осужден на вечную каторгу; оставил Записки; родился в 1800 году, умер в 1871 году; 7) *МЛ. Фонвизин* — генерал, деятельный участник наполеоновских войн, член Северного тайного общества; осужден в каторгу на 12 лет; в Сибирь к нему приехала жена его, Наталья Дмитриевна, после его смерти вышед­шая замуж за И.И. Пущина; оставил Записки; родился в 1788 году, умер в 1854 году; 8) *М.М. Нарышкин* — полковник, член тайных обществ; осужден в каторгу на 12 лет; в Сибирь к нему приехала жена его. Ел, П. — дочь героя войны 12-го года графа П.П. Коновницына, сестра двух членов тайных обществ; родился в 1798 году, умер в 1863 году; 9) *И.С. Повало-Швейковский* — полковник, член Южного общества; осужден на смертную казнь, но сослан в каторгу; родился в 1790 году, умер в 1845 году в Сибири; 10) *В.И. Штейнгель* — барон, деятельный участник заговора перед самым восстанием; осужден в каторгу на 20 лет; писатель, оставил Записки; родился в 1783 году, умер в 1862 году в Петербурге; 11) *АН. Ба­рятинский* — князь, член Южного общества; осужден на смертную казнь, сослан в каторгу вечно; писал стихи; родился в 1798 году, умер в 1844 году в Тобольске. [↑](#footnote-ref-27)
28. Упоминаемые в главе II декабристы: 1) *П.А. Муханов* — писатель; осужден в каторгу на 12 лет; родился в 1799 году, умер в 1854 году; за ним последовала в Сибирь невеста его, княжна В.М. Шаховская, но брак их не был разрешен царем; 2) *А.Н. Муравьев* — участник наполеоновских войн; один из главных основателей тайных обществ, из которых возник заговор декабристов; родился в 1792 году, умер в 1863 году сенатором; жена его, урожденная П.М. Шаховская, поехала за ним в Сибирь. [↑](#footnote-ref-28)
29. Сей указательный транспарант никогда не был у меня; я лишь видел оный у княжны Варвары Шаховской. Имеет он, как помнится, 30 линий, из коих две с большими прорезами, кажется, четвертая сверху и вторая снизу. Кроме того, есть несколько меньших прорезов. *(Прим. Р. Медокса.)* В главе III упоминаются жены декабристов: *М.Н. Волконская* (воспетая Пушкиным) и *Е.И. Трубецкая* (обе воспеты Некрасовым в поэме «Русские женщины»), поехавшие за своими мужьями в Сибирь, где вторая из них и умерла. *(Прим. СМ. Штрайха.)* [↑](#footnote-ref-29)
30. Верхнеудинский купеческий сын 1-й гильдии Григорий Шевелев, 28 лет от роду, умный, малосведующий, очень щедрый и слишком пред­приимчивый. Ныне по нескольким подрядам вдруг он оказался несостоя­тельным, и имущество его описано. Как посредник сношений с государ­ственными преступниками, он верно никем не пользовался; напротив, своим жертвовал, обманываясь софизмами модной политики. Дом Шеве­лева был один из лучших в Верхнеудинске.

Мичурина я видывал лишь мельком и знаю более по слуху. Он купече­ский сын 3-й гильдии, очень молод, лет 23-х. Никогда не имев собствен­ного достатка, торговал на кредит и теперь совершенно банкрут, тысяч на 80. Его лавка в Петровском заводе запечатана, посредником он никогда не был, а пересылал письма из мздояния. Юшневская сказывала мне, что первый год в Чите он брал по 1000 рублей за письмо, а от Шевелева я слышал, что жандармский полковник Кельчевский по каким-то подозре­ниям требовал к себе сего Мичурина. Они все хорошо знают свой урок. *(Прим. Р. Медокса.)* [↑](#footnote-ref-30)
31. Губернский секретарь Александр Турчанинов был при иркутском гражданском губернаторе чиновником по особым поручениям, управлял секретною частию губернаторской канцелярии. Он оставил сие место, как кажется, опасаясь последствий. Летом 1830 года А.Н. Муравьев доставил ему подобное при своем друге действительном статском советнике С.С. Ланском [рукою Бенкендорфа — *Сергей Степанович},* который тогда был губернатором в Костроме, а ныне во Владимире.

По многим признакам, сей губернский секретарь Турчанинов, как мне думается, сам вывез тайные письма государственных преступников; ибо, быв вовсе без состояния и почти безродным воспитанником Одесского лицея, заезжал на несколько дней в чужую ему Москву и был у К.Ф. Му­равьевой, что, конечно, не по пути из Иркутска в Кострому. *(Прим. Р. Медокса.)* [↑](#footnote-ref-31)
32. Казачий пятидесятник Алексей Ядрихинский был писцом в ведомстве губернского секретаря Турчанинова, а потом у коллежского регистратора Дубина. Вскоре после того, в начале 1832 года, как генерал Лепарский пресек переписку петровских дам с княжною Шаховскою, губернатор выключил сего Ядрихинского из казачьего звания под предлогом неспо­собности и определил в губернское правление с жалованьем по 50 рублей в месяц. *(Прим, Р. Медокса.)* [↑](#footnote-ref-32)
33. Из Дневника Медокса видно, что никакой дружбы между ним и В.М. Шаховской не было, и наоборот, эта записка служит явным доказа­тельством провокационности и самого Дневника, и всей деятельности Медокса в доме А.Н. Муравьева в 1830—1831 годах. Но особенно ценно здесь заявление Медокса об участии его в истории с «ящиком с табаком», которая сделалась известной правительству еще летом 1830 года, а так как во всех предшествующих, дошедших до нас доносах Медокса о ней не упоминается, то это заявление, конечно, служит одним из доказательств особо тайных сношений Медокса с жандармами еще в 1830 году, следы которых не сохранились в архивах или еще не обнаружены [↑](#footnote-ref-33)
34. Известный генерал А.П. Ермолов был отстранен Николаем Первым после расправы с декабристами от административной деятельности (он управлял тогда Кавказом) по подозрению в сочувствии либеральным идеям и даже в тайной поддержке заговорщиков и пробыл в опале все 30 лет царствования Николая. Неккер — министр финансов во Франции перед Великой революцией, отстраненный от дел за сочувствие конститу­ционным идеям. [↑](#footnote-ref-34)
35. Е.Ф. Муравьева много тратила из своего огромного состояния на поддержку сосланных декабристов и их родственников. [↑](#footnote-ref-35)
36. На поле пометка рукой А.Х. Бенкендорфа: *«Перед отъездом за 2 дня».* [↑](#footnote-ref-36)
37. На поле пометка рукой Л.Н. Мордвинова: *«Сведения III отделения: Т.С. Ливийский писал, что Богуцкую он подозревает в доставлении из Петровска в Москву ящика с письмами от государственных преступников. Она, девица и помещица Могилевской губернии, находилась в Петровске в услужении у жены Волконского с июля 1830 года, возвратилась в Иркутск 3 сентября 1831 года и в начале зимы сего ж года отправилась в Москву вместе с княжною Варварою Шаховскою».* [↑](#footnote-ref-37)
38. А.В. Розен — жена декабриста, дочь первого директора Пушкинского лицея В.Ф. Малиновского. [↑](#footnote-ref-38)
39. Трогательный роман К. Ле-Дантю, еще до катастрофы 1825 года влюбленной в В.П. Ивашева и после ссылки его приехавшей к нему в Сибирь, чтобы разделить его участь и облегчить ему жизнь, хорошо изображен в книге их внучки O.K. Булановой «Роман декабриста» (М., 1925 г.). По письмам всех действующих лиц этого романа автор изобразил подлинное нежное чувство К. Ле-Дантю к В.П. Ивашеву, который был очень счастлив с нею и настолько сильно любил ее до самой ее кончины, что умер от тоски 30 декабря 1840 года, ровно через год после смерти жены. [↑](#footnote-ref-39)
40. Жена Никиты Муравьева, Александра Григорьевна, урожденная гра­финя Чернышева, приехала к нему в Сибирь одной из первых жен декабристов; умерла 22 ноября 1832 года. [↑](#footnote-ref-40)
41. Пометка А.Н. Мордвинова: *«Сведения III отделения: Сия мещанка находилась в услужении в Петровске у жены Фонвизина. По условию она должна была пробыть там три года, но, не прожив года, в октябре 1832 года, приехала в Иркутск, быв отпущена в Москву. Иркутский гражданский губернатор удостоверил, что у нее ни писем, ни посылок не оказалось».* [↑](#footnote-ref-41)
42. Пометка А.Н. Мордвинова: *«Сведения III отделения: Она дворовая девка Волконской, находится при ней с 27 июня 1832 года* [↑](#footnote-ref-42)
43. ригадирша княгиня Елисавета Сергеевна Шаховская, теща А.Н. Му­равьева, умерла ноября 1831 года в своем селе Белой Колпи, Московской губернии. Волоколамского уезда, где ныне живет ее сын князь Валентин Шаховской со своими сестрами и где, конечно, будет жить княжна Варвара по выезде из Тобольска. Ее дворовых людей, проезжавших с Юшневскою, Федора и его жену Лисавету, можно отыскать в Москве, спросив в доме действительного статского советника Н.Н. Муравьева [на полях примечание А.Н. Мордвинова — не д. с. с, а генерал-майор Нико­лай Николаевич Муравьев, дом свой он в Москве уже продал] (отца А.Н. Муравьева), который отдается в наем под Английский клуб, помнит­ся, на Большой Дмитровке. Федор глуп, нетрезв и, конечно, не много знает. Он отправился из Иркутска с мещанином Василием Портновым, приказчиком и родственником купца Дмитрия Портнова. А жена его Лисавета, уехавшая вместе с княжною Катериною Шаховской и Богуцкою, очень хорошего поведения, не глупа, скромна и, верно, многое может сказать. Московская мещанка девица Марфа Федорова сказала мне, что она всегда живет в Москве и что спросить об ней дворовых людей К.Ф. Муравьевой или Н.Н. Шереметевой (теща декабриста И.Д. Якушкина. — *С.Ш.),* а всего лучше у ее двоюродной сестры Надежды Афанасьевой, живущей в Новой Басманной, у Красных ворот, в доме Левашева, прежде бывшем Львова (здесь впоследствии жил много лет П.Я. Чаадаев. — *С.Ш.).* Она поведения не вовсе трезвого, бывает болтлива; впрочем, хорошо играет свою роль выехавшей из Петровска по множеству обид. Она мне сказывала, что у Фон-Визина в сундуке с книгами много бумаг, им писанных, которые он хочет переслать в Россию (Фонвизин оставил очень ценные в историческом отношении Записки о тайном обществе, напеча­танные впоследствии. — *С.Ш.).* На мой вопрос, почему с нею не послал, она, улыбаясь, ответила, что с ними, простыми, можно только письма посылать, а целый ящик долго ли у них найти. *(Прим. Р. Медокса.)* [↑](#footnote-ref-43)
44. Об этом запись в Дневнике Медокса от 27 января 1831 года. [↑](#footnote-ref-44)
45. Перед словом «Нестор» (псевдоним А.П. Юшневского в новом заговоре) проставлен рисунок, по ключу означающий, что письмо от Думы тайного

общества [↑](#footnote-ref-45)
46. Два знака, по ключу относящиеся к участникам нового заговора I и II [↑](#footnote-ref-46)
47. Соединенные буквы SVD по ключу означают Союз великого дела – новый заговор. [↑](#footnote-ref-47)
48. Изображен условный знак члена нового заговора, которого Медокс не знает. Н.М. Муравьев, сын известного писателя М.Н., писатель-историк, один из основателей тайных обществ, идейный руководитель Северного общества, автор конституции, осужден на смертную казнь, но сослан в каторгу на 20 лет. В Сибирь к нему приехала жена Александра Григорь­евна, урожденная графиня Чернышева. Родился в 1796 году, умер в 1843 году в Сибири. [↑](#footnote-ref-48)
49. Нарисован условный знак М.Ф. Орлова как члена нового заговора [↑](#footnote-ref-49)
50. Нарисован условный знак Н.П. Шереметева как члена нового заговора. [↑](#footnote-ref-50)
51. Иван Александрович Фонвизин — полковник, член Союза Благоден­ствия; отделался пребыванием до 1846 года под надзором полиции ввиду непричастности к заговору; родился в 1790 году, умер в 1853 год [↑](#footnote-ref-51)
52. Николай Петрович Репин — член тайных обществ, деятельный участник заговора в период подготовки восстания и в день 14 декабря 1825 года. Хорошо рисовал и оставил несколько видов, относящихся ко времени пребывания декабристов в Сибири. Родился в 1796 году, умер в 1831 1 году в Сибири. О нем в Дневнике Медокса. [↑](#footnote-ref-52)
53. Михаил Карлович Кюхельбекер — брат товарища Пушкина по лицею и поэта В.К., член тайных обществ; осужден в каторгу на 8 лет и отправлен в Сибирь, где умер в 1859 году. [↑](#footnote-ref-53)
54. Здесь пометка рукой Бенкендорфа: *\*Из сего заключение сделано об Одессе».* [↑](#footnote-ref-54)
55. Князь Сергей Петрович Трубецкой — полковник, герой войны 1812 го­да, один из основателей тайных обществ, деятельный участник заговора и неудачный диктатор в день 14 декабря 1825 года; осужден на смертную казнь, сослан в каторгу вечно. За ним последовала в Сибирь его жена, урожденная Е.И. Лаваль. Родился в 1790 году, умер в 1860 году. Оставил Записки, опубликованные А.И. Герценом в Лондоне. [↑](#footnote-ref-55)
56. Петр Иванович Фаленберг — подполковник, член Южного общества, в заговоре участия не принимал; осужден в каторгу на 12 лет (выразил согласие в случаенадобности, убить Александра Первого); жена его отказалась следоватьза ним в Сибирь и вышла в России замуж вторично. Родился в 1791 году, умер в 1873 году. [↑](#footnote-ref-56)
57. Владимир Федосеевич Раевский — кишиневский приятель Пушкина, ближайший помощник М.Ф. Орлова по революционной пропаганде в армии; член тайных обществ; арестован в 1822 году и просидел в крепо­стях до 1827 года, когда был сослан в Сибирь. Имел сельскохозяйственное обзаведение в селе Оловки близ Иркутска и дом б этом городе. Человек образованный, обладал поэтическим дарованием, был очень сдержан на допросах («Я судьбу мою сурову с терпеньем мраморным сносил»). Родил­ся в 1795 году, умер в Сибири в 1872 году. [↑](#footnote-ref-57)
58. Пометка Медокса, отсылающая к сохранившейся собственноручной записке жены декабриста А.П. Юшневского: «Роман Михайлович, кто Вам даст сию записочку — от того Вы узнаете все, что только любопытно Вам будет знать о нас. Он же Вас уверит, сколько мы Вас любим и как часто вспоминаем. Прощайте. Едет к Вам живая грамотка, расскажет все. Муж мой Вас обнимает, а я желаю всевозможного счастия. Любите нас и не сердитесь, ради Бога, на друзей Ваших. М. Юшневская». На подлинной записке Медокс приписал: «№ 1. Доставлена Фаленбергом, который просил генерал-губернатора Лавинского о свидании с Медоксом при проезде Иркутска, о чем Медокс был извещен через городничего». [↑](#footnote-ref-58)
59. Брат Е.П. Нарышкиной, П.П. Коновницын, — член Северного обще­ства, лишен чинов и дворянства и сослан солдатом в Семипалатинск. Родился в 1802 году, умер в 1830 году. [↑](#footnote-ref-59)
60. Вот текст этой записочки, сохранившейся в подлиннике: *«Роман Михайлович, генерал позволил вам быть у меня. Итак, милости просим».* Здесь же надпись Медокса: *«№ 2. Прислана к Медоксу с кучером 12 марта поутру от Юшневской».* [↑](#footnote-ref-60)
61. Фердинанд Богданович Вольф — штаб-лекарь при главной квартире 2-й армии, где действовали П.И. Пестель, А.П. Юшневский и другие; член Южного общества, но не активный участник заговора; осужден на каторгу вечно; образованный и талантливый врач, Вольф лечил поселен­ных вместе с ним товарищей по процессу, а также семьи местных начальников, по просьбе которых получил разрешение заниматься меди­цинской практикой; пользовался большим уважением всех знавших его; умерв 1854 году в Тобольске. [↑](#footnote-ref-61)
62. Иван Дмитриевич Якушкин — один из основателей тайных обществ; осужден на смертную казнь, но сослан в каторгу на 20 лет (за вызов убить Александра Первого); жена его, знаменитая красавица, урожденная А.В. Шереметева, хотела ехать к мужу в Сибирь, но сначала Якушкин сам отговаривал ее от этого, настаивая, чтобы она оставалась в России для воспитания их двух сыновей (один из них, Евгений Иванович, известный исследователь обычного права; его сыновья — известный пушкинист, Вячеслав Евгеньевич, и исследователь истории декабристов, Евгений Евгеньевич), а после, когда он согласился на приезд жены и даже страстно хотел этого, царь, действительно (в 1832 году), запретил это, несмотря на ходатайство В.А. Жуковского, по приведенному Медоксом формальному поводу. И.Д. Якушкин сыграл в Сибири большую просветительную роль. Его Записки — один из самых ценных документов к истории декабристов [↑](#footnote-ref-62)
63. Нарисованы знаки, относящиеся к членам тайного общества I и II cтепени. [↑](#footnote-ref-63)
64. Нарисованы соответствующие знаки членов тайного общества и Думы. [↑](#footnote-ref-64)
65. А.Г. Муравьеву очень любили все декабристы, называвшие ее ангелом-хранителем [↑](#footnote-ref-65)
66. Фраза в тексте — по-французски. [↑](#footnote-ref-66)
67. Сын фельдмаршала и главнокомандующего второй, Южной армией, где был сильно распространен заговор во главе с Пестелем и С. Муравьевым-Апостолом, Л.Х. Витгенштейн был привлечен к делу о заговоре 1825 года, но ради заслуг и высокого положения его отца оставлен без показания. [↑](#footnote-ref-67)
68. Любопытна осведомленность Медокса в этом вопросе. Александр Ми­хайлович Муравьев (родился в 1802 году, умер в 1853 году в Тобольске накануне получения там разрешения на выезд его из Сибири) — член Северного общества, был осужден в каторгу на 12 лет. По разным сокра­щениям он подлежал в ноябре 1832 года освобождению из каторжной тюрьмы и должен был выйти на поселение. Не желая расстаться с братом Никитой, просил у царя, как милости, разрешить ему остаться на каторге до выхода оттуда брата. Николай Первый имел жестокость приказать коменданту Петровского завода (9 марта 1833 года) генералу СР. Лепарскому «не минуемо подвергнуть» А. Муравьева, как добровольно отказавшегося от дарованной ему высочайшей милости, «всем тем правилам, коим подлежат находящиеся в Петровском заводе государственные пре­ступники». Из каторжной тюрьмы A.M. Муравьев вышел только вместе с братомНикитой в 1835 году. [↑](#footnote-ref-68)
69. Иван Александрович Анненков (родился в 1802 году, умер в 1878 году в Н. Новгороде) — член Южного общества, осужден в каторгу на 20 лет. В Сибирь к нему приехала француженка П. Гебль, с которой у него был роман до ссылки, и они поженились там. П.Е. Анненкова оставила инте­ресныеЗаписки. Мать И.А. Анненкова была женщина очень богатая. Один из ее домов был в Москве на Петровке, на углу Кузнецкого моста, перейдя последний, если идти от Большого театра, антрепренером и директором которого был в конце XVIII и в начале XIX века М.Е. Медокс, дом которого был здесь же. [↑](#footnote-ref-69)
70. Братья Александр и Петр Петровичи Беляевы — члены тайных обще­ств, осуждены в каторгу на 12 лет; умерли: первый — в 1885 году, второй — в 1864 году в России. Александр Петрович оставил Записки. Оба сделались в Сибири людьми религиозными и консервативных полити­ческих убеждений. [↑](#footnote-ref-70)
71. Князь Александр Иванович Одоевский — талантливый поэт, друг поэтов — членов тайных обществ А.С. Грибоедова, А.А. Бестужева-Марлинского, К.Ф. Рылеева; родился в 1802 году, осужден в каторгу на 12 лет, в 1837 году послан солдатом на Кавказ, где и умер в 1839 году от малярии во время одного похода. Смерть его отметил стихотворением М.Ю. Лермонтов. Стихи Одоевского изданы много раз. [↑](#footnote-ref-71)
72. .М. Дружинин родился в 1808 году, Д.П. Таптыков родился в 1799 года. Все вспоминавшие о Таптыкове отзываются *о* нем очень хорошо. [↑](#footnote-ref-72)
73. Рассказ Медокса о П.И. Фаленберге верен. Фаленберг действительно наговорил сам на себя, надеясь, что «признание» облегчит его положение, и наговорил именно после того, как освобожденный А.Н. Раевский (брат жены декабриста М.Н. Волконской и друг Пушкина, тоже замешанный в деле декабристов, но освобожденный от суда), встретясь с ним на гауптвахте, сказал ему, что Николай прощает тех, кто приносит покаяние. Фаленберг оставил Записки. [↑](#footnote-ref-73)
74. В тексте пометка Медокса, отсылающая к списку книг, названия которых выписаны Юшневским карандашом по-французски. В этом списке: «История завоевания норманнами [Англии]» Тьерри, 4 тома; «Исто­рия конституции Великобритании» Галлама, 4 тома; «История Велико­британии» Лингарда, 10 томов; «История Венецианской республики» Дарио, 8 томов; «История французов до 1789 г.» Сисмонди, 24 тома; «История итальянских республик в средние века» его же, 15 томов; «История Петра Великого» Сегюра, 2 тома; «Исторический ежегодник» Леснока; «Энциклопедический словарь»; «Юридические доказательства» Бентама; «Тактика законодательных собраний»; «Политические софиз­мы»; «Кодификация» Бентама; «Письма об истории Франции» Тьерри; «Лекции по истории» Гизо, 6 томов; «Собрание конституций старого и нового света», 6 томов; сочинения Дестюд де Траси, из них замечательны .Комментарий на «Дух законов» [Монтескье]» и «Идеология»; «Британ­ское обозрение»; «История бургундских герцогов» Баранта; «Резюме истории Франции» Бодена; «Лекции по литературе» Вильмена. [↑](#footnote-ref-74)
75. Лазарь Карно — французский государственный деятель и ученый (1753—1823), один из виднейших организаторов военной обороны Респуб­лики в эпоху Великой революции; был назван «организатором победы»; в 1795 году был вместе с Бонапартом членом Директории. [↑](#footnote-ref-75)
76. Александр Иванович Якубович — известный в 20-х годах дуэлист и бретер (он стрелялся с А.С. Грибоедовым, которому нарочно прострелил левую руку, чтобы лишить его удовольствия заниматься музыкой); проявил себя храбрецом во время кавказских войн; родился в 1792 году, умер в 1845 году в Сибири; в заговоре участия не принимал, но в день восстания 14 декабря 1825 года в Петербурге был все время на Сенатской площади, разъезжая между восставшими войсками и остававшимися в подчинении у Николая. Восставших заговорщиков убеждал держаться, так как царь трусит, а царю предлагал услуги по уговариванию мятежников сдаться. За вызов на цареубийство осужден к смертной казни, но сослан в каторгу вечно. [↑](#footnote-ref-76)
77. Единственный Катилина; Люций Сергий Каталина — римский госу­дарственный деятель, поднявший знамя вооруженного восстания за 60 лет до нашей эры [↑](#footnote-ref-77)
78. В тексте пометка Медокса, отсылающая к собственноручной записке М.К. Юшневской: «Не *засидитесь, пожалуйста, сделав Ваш визит, и приходите поранее к нам. Алек. Петр. Вас ожидать будет».* [↑](#footnote-ref-78)
79. Ротмистр Вохин [↑](#footnote-ref-79)
80. Интересно отметить одну подробность в этом наставлении Медокса правительству, свидетельствующую, во всяком случае, о каких-то сверх­тайных сношениях ссыльного солдата с Бенкендорфом: и в докладе Бенкендорфа царю от 4 декабря 1832 года, и в этом документе, посланном Медоксом из Иркутска весной 1833 года, почти в одинаковых выражениях изложен план пресечения дальнейшей переписки сосланных декабристов с участниками нового заговора в России. [↑](#footnote-ref-80)
81. Правитель канцелярии иркутского генерал-губернатора. [↑](#footnote-ref-81)
82. А.С. Лавинский был генерал-губернатором Восточной Сибири с 23 мар­та 1822 года до 6 декабря 1833 года. [↑](#footnote-ref-82)
83. Л.В. Дубельт — знакомый с некоторыми декабристами по службе при генерале Н.Н. Раевском (отец М.Н. Волконской); с 1830 года служил в корпусе жандармов, с 1839 года управляющий III отделением; сын его Михаил был женат на дочери Пушкина Наталии. [↑](#footnote-ref-83)
84. Каролина Карловна Кузьмина — свойственница Никиты Муравьева, приехавшая в Сибирь после смерти А.Г. Муравьевой и занимавшаяся воспитанием его дочери; до безумия влюбившаяся в Н.М. Муравьева, она требовала, чтобы он женился на ней [↑](#footnote-ref-84)
85. Левашовы — родственники декабриста И.Д. Якушкина. [↑](#footnote-ref-85)
86. Чернышеву пришлось представлять царю специальный доклад об этом |Обнинскоми на основании секретных сведений доказывать, что Обнинский хороший офицер и преданный царю слуга. [↑](#footnote-ref-86)
87. Аркадий Иванович Майборода — капитан Вятского полка; принят в тайное общество П.И. Пестелем, на которого в ноябре 1825 года послал донос; получил за это награды от правительства, но не выдержал явного презрениясослуживцев и застрелился на Кавказе. [↑](#footnote-ref-87)
88. Многоточие у Лесовского. [↑](#footnote-ref-88)
89. Надо только любить, чтобы дерзать *(фр.)* [↑](#footnote-ref-89)
90. Французская фраза «Да будет стыдно тому, кто думает об этом плохо» — девиз английского ордена Подвязки. Фраза должна выявить возлюбленной Медокса его желание иметь ее подвязку. См. такой же оборот в Дневнике по адресу В.М. Шаховской. [↑](#footnote-ref-90)
91. Она писала к своему любовнику Муханову. *(Прим. Бенкендорфа.)* [↑](#footnote-ref-91)
92. Известно, и за ней следили, и ничего не найдено; Волков сам искал. (Прим. *Бенкендорфа.)* [↑](#footnote-ref-92)
93. Я самего видел и имел с ним дело. *(Прим. Бенкендорфа.)* [↑](#footnote-ref-93)
94. Не Мордвинов, а я ему позволил ходить по городу, но он начал врать, и я его выслалскорее в Москву, где он сам уверял, что может все узнать. Деньги я ему давал. *(Прим. Бенкендорфа.)* [↑](#footnote-ref-94)
95. Деньги ему давали, но в этом случае никакой в них надобности не было.*(Прим. Бенкендорфа.)* [↑](#footnote-ref-95)
96. Я ему обещал, когда он без позволения приехал в Петербург и здесь начал врать. *(Прим. Бенкендорфа.)* [↑](#footnote-ref-96)
97. Поручик В.Я. Мирович в 1764 году неудачно пытался освободить из крепости императора Иоанна Антоновича, чтобы посадить его на престол вместо Екатерины II, и был казнен. [↑](#footnote-ref-97)
98. Они ни в чем не нуждаются; сам Медокс сие показывал; и мне это ю по пересылке денег и вещей. *(Прим. Бенкендорфа.)* [↑](#footnote-ref-98)
99. В.Д. Соломирский — побочный сын знаменитого русского дипломата Д.П. Татищева от связи его с красавицей Н.А. Колтовской. В 1827 году Соломирский посещал салон своей тетки княгини Е.П. Урусовой, посто­янным гостем которой бывал в то время Пушкин.

Соломирский приревновал поэта к своей двоюродной сестре, в которую был влюблен, и вызвал Пушкина на дуэль. Секундантом поэта был Павел Александрович Муханов (брат декабриста, о котором много говорится в Дневнике и доносах Медокса), благодаря стараниям которого и С.А. Со­болевского дуэль не состоялась.

Противники помирились, и Пушкин был потом с Соломирским на «ты». Поэт подарил ему сочинения Байрона с дружественной надписью. Соло­мирский был человек образованный, интересовался литературой, сам писал стихи.

В 1831—1835 годах он был по командировке в Сибири, был вместе с бароном П.Л. Шиллингом фон Канштадтом на русско-китайской грани­це, исследовал положение монголо-бурятского духовенства и составил доклад об этом, а также о русско-китайской торговле [↑](#footnote-ref-99)
100. Закончился первый листок рукописи [↑](#footnote-ref-100)
101. Закончился второй листок рукописи [↑](#footnote-ref-101)
102. Закончился третий листок рукописи [↑](#footnote-ref-102)
103. Стихи Анакреона приведены в Дневнике в английском переводе Томаса

Мура. [↑](#footnote-ref-103)
104. Закончился четвертый листок рукописи [↑](#footnote-ref-104)
105. Декабрист Владимир Федосеевич Раевский (1795—1872), которого Медокс старался запутать в свою интригу. Медокс втерся в дом сестер Раевского, в Европейской России, разыгрывал роль влюбленного в млад­шую из них — Марию, которой писал в стиле этого Дневника. Раевский женился в Сибири (1829 год) на крещеной бурятке, с которой имел трех сыновей и трех дочерей. В описываемое время он имел дом в Иркутске и хозяйство в селе Олонки близ Иркутска. Официальное местожительство Раевского — по ссылке — было в Олонках [↑](#footnote-ref-105)
106. Закончился пятый листок, который на обороте исписан только наполовину и имеет вторую половину чистой с обеих сторон. Дальше следует тетрадка в два двойных листа, исписанных со всех сторон с нумерацией б, 7, 8, 9. Оборотные стороны всех листов Дневника не нумерованы. [↑](#footnote-ref-106)
107. История итальянской литературы» П.Л. Женгенэ в девяти томах [↑](#footnote-ref-107)
108. В тексте по-французски [↑](#footnote-ref-108)
109. Дальше — тетрадка Дневника из трех двойных листков с нумерацией 10, 11, 12, 13, 14, 15, исписанных со всех сторон [↑](#footnote-ref-109)
110. Купцы в Иркутске, друзья А.Н. Муравьева и других декабристов [↑](#footnote-ref-110)
111. Двустишие из Анакреона в английском переводе Томаса Мура. Медокс приводит вторую половину четырехстишия, которое начинается так: «Купидон, проникши в твою грудь, пробудил странное, смешанное чувство, которое...». [↑](#footnote-ref-111)
112. Голова мужчины, тело женщины и сердце ангела. [↑](#footnote-ref-112)
113. П.И. Иванов был начальником адмиралтейства в Иркутске; он вскоре после этого умер; жена его была замечательная красавица. [↑](#footnote-ref-113)
114. Мария Казимировна Юшневская — жена декабриста А.П. Юшневского, одного из главарей Южного общества. В одном из своих доносов и здесь в Дневнике Медокс говорит, что имел с нею «интригу», то есть связь, о чем говорится, с его слов, и в одном из «всеподданнейших» докладов А.Х. Бенкендорфа. [↑](#footnote-ref-114)
115. Средины нет: Гименей со своими цепями — либо величайшее из зол, либо величайшее из благ (Вольтер). [↑](#footnote-ref-115)
116. Само собою разумеется *(фр.)* [↑](#footnote-ref-116)
117. Стоит ли сохранить жизнь, в которой для меня осталось лишь чувство i гибели *(фр.).* [↑](#footnote-ref-117)
118. Игра слов. Имеется в виду название английского ордена Подвязки, девиз которого: «Да будет стыдно тому, кто думает об этом плохо» [↑](#footnote-ref-118)
119. Слуга А.Н. Муравьева; он и после состоял в переписке с Медоксом, сообщая ему новости о доме Муравьевых и прося у него денег. [↑](#footnote-ref-119)
120. ЖизньЛоренцо Медичи. Ливерпуль, 1795 г. Сочинение английского историка Вильяма Роско (1753—1831). [↑](#footnote-ref-120)
121. **Иркутская** повивальная бабка Петрова, о которой Модокс доносил в Петербургr, что она является посредницей в сношениях сосланных декабистов **с** их родными в России [↑](#footnote-ref-121)
122. Дальше — тетрадка в два двойных листка с нумерацией 20, 21, 22, 23, исписанных сплошь. [↑](#footnote-ref-122)
123. Стихи Анакреона в английском переводе Т. Мура [↑](#footnote-ref-123)
124. Стихи Байрона во французском переводе, как и все цитаты из Байрона [↑](#footnote-ref-124)
125. Дальше — двойной листок 24—25, причем верхушка 24-го (приблизи­тельно /в) срезана и нумерация проставлена по отрезу, а оборот этого полулистка — чистый. 25-й заполнен с обеих сторон. [↑](#footnote-ref-125)
126. Первая скрипка, вторая скрипк [↑](#footnote-ref-126)
127. Андрей Андреевич Жандр — театральный деятель Александровской и Николаевской эпохи, друг Грибоедова. Евгения Ивановна Колосова — известная танцовщица, мать известной драматической артистки. [↑](#footnote-ref-127)
128. Дальше — двойной листок 26—27, исписанный со всех сторон. [↑](#footnote-ref-128)
129. Герой романа Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или Воспитание». [↑](#footnote-ref-129)
130. Нет; верно, по знанию сердца человеческого. *(Прим. Медокса.)* [↑](#footnote-ref-130)
131. Тому, что я вижу себя здесь *(фр.)* [↑](#footnote-ref-131)
132. Дальше — два двойных листка, исписанных сплошь, с нумерацией 28, 20, 30, 31 [↑](#footnote-ref-132)
133. Место тюремного заключения декабристов до перевода их в Петровский завод. [↑](#footnote-ref-133)
134. О картинке, в раму которой якобы были вклеены письма, есть в доносе Медокса. [↑](#footnote-ref-134)
135. В то время дамы нюхали табак [↑](#footnote-ref-135)
136. Ходячая мораль убивает подлинную (фр.) [↑](#footnote-ref-136)
137. Жизнь и папство Льва X». Сочинение английского историка Вильяма Роско (Ливерпуль, 1805 год). [↑](#footnote-ref-137)
138. Дальше — два двойных листка с нумерацией 32, 33, 34, 35; исписаны сплошь, но имеют много тщательно зачеркнутых строк. [↑](#footnote-ref-138)
139. Воспоминания» Л.А. Бурьенна, секретаря Наполеона [↑](#footnote-ref-139)
140. Хрупкое воспоминание о прочной дружбе *(фр)* [↑](#footnote-ref-140)
141. Незабудка. [↑](#footnote-ref-141)
142. М.К. Юшневской было в то время 40 лет, мужу ее — 44 года. Мужа она любила сильно и еще до отправления его на каторгу просила разре­шить ей следовать за ним в Сибирь. [↑](#footnote-ref-142)
143. Фраза эта приписана позже другими чернилами и относится к мнению М.К. Юшневской о предмете любви Медокса. [↑](#footnote-ref-143)
144. Здесь выписка в полторы страницы из «Воспоминаний» Бурьенна о Наполеоне. Полстраницы выписки занимают оборот листка 35, затем следует тетрадка в два двойных листка с нумерацией 36, 37, 38, 39, исписанных сплошь; из них первая страница листка 36 — продолжение выписки из Бурьенна.

В выписке идет речь об одном из сподвижников Наполеона, когда он был главнокомандующим республиканской армией в Египте, генерале Бертье, который влюбился в одну итальянку настолько, что разлука с нею грозила Бертье смертью.

Наполеон, не желая допустить Бертье до гибели, устроил ему команди­ровку в Европу. По словам Бурьенна, поклонение Бертье предмету своей страсти (автор воспоминаний застал его однажды на коленях перед портретом своей возлюбленной в таком экстазе, что генерал не сразу пришел в себя и долго не мог понять, что от него хотят) вызывало насмешки друзей и товарищей. Однако перед самым отъездом влюблен­ного генерала в Европу из боровшихся в груди Бертье чувств — любовь к даме и преданность Бонапарту —- победило второе, и он вернулся к армии. . [↑](#footnote-ref-144)
145. Это слово вписано другими чернилами, позднее [↑](#footnote-ref-145)
146. Тот самый ящик, который Мед оке вскрывал, чтоб сообщить Бенкен­дорфу содержание якобы запрятанных в нем писем декабристов. [↑](#footnote-ref-146)
147. П.А. Муханов — декабрист, жених В.М. Шаховской. [↑](#footnote-ref-147)
148. Моей любимой и прелестной Вариньке *(фр.)* [↑](#footnote-ref-148)
149. Дальше — тетрадка из трех двойных листков с нумерацией 40, 41, 42, 43, 44, 45; листки 40, 41 исписаны сплошь, имеют несколько тщательно зачеркнутых строк; листки 42, 43 исписаны сплошь; листки 44, 45 (вторые половинки листков 40, 41) имеют такой вид: 44-й исписан до половины, пторая — нижняя — половина его отрезана и по оставшемуся краю видны отдельные буквы записи; оборот заполнен записью от 3 марта, первый абзац которой (см. дальше) перечеркнут двумя линиями крестообразно, а второй отрезан; листок 45, верхняя треть которого срезана, имеет на лицевой стороне запись от 28 февраля, а на обороте продолжение се. [↑](#footnote-ref-149)
150. Сестра Медокса. [↑](#footnote-ref-150)
151. После слова «двора» тщательно зачеркнуто четыре строки. [↑](#footnote-ref-151)
152. Морем называют в Сибири озеро Байкал. [↑](#footnote-ref-152)
153. Цитата по-французски [↑](#footnote-ref-153)
154. Цитата из Бурьенна по-французски [↑](#footnote-ref-154)
155. Детское искажение французского имени Шаховской — Вагbе [↑](#footnote-ref-155)
156. Выше — о романе Медокса с Марией Федосеевной Раевской и его письмо к ней. [↑](#footnote-ref-156)
157. Барон П.Л. Шиллинг фон Канштадт — о его шпионской роли в доме А.Н. Муравьева и взаимоотношениях его с Медоксом уже говорилось. [↑](#footnote-ref-157)
158. Дальше — тетрадка из двух двойных листов с нумерацией 46, 47, 48, 49, исписанных сплошь, кроме оборота листка 49, на котором сверху кончается запись от 8 марта [↑](#footnote-ref-158)
159. Самособою разумеется *(фр.)* [↑](#footnote-ref-159)
160. Из «Дон Жуана», песнь Ш, строфа 3-я. Здесь после слова «любовь» Медокс добавил от себя, однако не отметив этого: «И похожа на перчатку, годную на всякую руку» [↑](#footnote-ref-160)
161. Обе цитаты по-французски. Сочинения Байрона во французском пере­воде Пишо вышли в десяти томах в 1819-1821 годах и выдержали до 1830 года семь изданий. [↑](#footnote-ref-161)
162. Философ и богослов XII века, оскопленный родственниками своей возлюбленной Элоизы, после того как она родила от него сына [↑](#footnote-ref-162)
163. Дальше — тетрадка из двух двойных листков с нумерацией 50, 51, 52, 53? исписанных сплошь. [↑](#footnote-ref-163)
164. «Сорок вопросов для души». [↑](#footnote-ref-164)
165. Цитата по-французски [↑](#footnote-ref-165)
166. Знаменитый ученый в области естествознания (1707—1788) [↑](#footnote-ref-166)
167. Дальше — тетрадка из листков с нумерацией 54, 55, 56, 57; листки 54 и 57 исписаны сплошь, листок 55 — так же; листок 56 исписан на обороте, а лицевая сторона его занята: внизу — вставкой к обороту листка 55, где приводится цитата из Байрона. [↑](#footnote-ref-167)
168. Цитата по-французски; вставлена в текст позже. [↑](#footnote-ref-168)
169. Цитата по-французски. [↑](#footnote-ref-169)
170. Фраза по-французски [↑](#footnote-ref-170)
171. Фраза по-английски. [↑](#footnote-ref-171)
172. Дальше — тетрадка из двух двойных листов, нумерованных цифрами 58, 59, 60, 61, исписанных сплошь. [↑](#footnote-ref-172)
173. Мизерная [↑](#footnote-ref-173)
174. Подозрительна эта уверенность Медокса в том, что А.Н. Муравьев останется в Иркутске. Так оно и случилось: вскоре он из городничих был назначен председателем Иркутского губернского правления. Ботово — имение Муравьева в Европейской России. [↑](#footnote-ref-174)
175. Фраза по-французски. [↑](#footnote-ref-175)
176. Дальше — тетрадка из двух двойных листков с нумерацией 62, 63, 64, 65, исписанных сплошь, кроме листка 63, нижняя лицевая половина которого чиста. [↑](#footnote-ref-176)
177. Любовь руководит им *(фр.)* [↑](#footnote-ref-177)
178. Стихи по-французски. Речь идет о боге любви — Купидоне, сыне Венеры. [↑](#footnote-ref-178)
179. Дальше тетрадка из двух двойных листков с нумерацией 66, 67, 68, 69 исписанных сплошь; есть много зачеркнутых строк [↑](#footnote-ref-179)
180. Стихи по-французски. [↑](#footnote-ref-180)
181. Валентин Михайлович Шаховской — брат Прасковьи Михайловны Муравьевой, женатый на сестре П.А. Муханова. [↑](#footnote-ref-181)
182. Она после смерти своей сестры Прасковьи Михайловны (1835 год) была ( (с 1841 года) замужем за А.Н. Муравьевым. [↑](#footnote-ref-182)
183. Фраза по-французски, как и несколько выше фраза в скобках [↑](#footnote-ref-183)
184. Дальше — два листка с нумерацией 70, 71, исписанные с четырех сторон. Ими кончаются апрельские записи. [↑](#footnote-ref-184)
185. Французская любезность [↑](#footnote-ref-185)
186. Красное словцо. [↑](#footnote-ref-186)
187. Андрей Николаевич Муравьев (1806—1874) — брат Александра Николае­вича, писатель по церковным вопросам и деятель по духовному ведомству. На него Пушкин написал эпиграмму («Лук звенит, стрела трепещет», 1827 год). [↑](#footnote-ref-187)
188. Дальше — листки 72, 73, 74 (от него оторвана вторая половина, но осталисьследы записей), 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 с записями от 10 до 31 мая. Листки с записями от 2 до 9 мая имеют нумерацию 85, 86, 87. Л переставляю их на свое место. Неправильная их нумерация, как отмечено выше, объясняется тем, что Медокс перенумеровал листки позднее их написания**,** в один прием, а так как они писались отдельными группами, то он и перепутал последние. Листки с нумерацией 88 (от него оторван листок 85) и 89 (он оторван от другого) отсутствуют. Итак, дальше следует исписанный **с** двух сторон листок 85, от которого оторван листок 88. [↑](#footnote-ref-188)
189. Фраза по-французски [↑](#footnote-ref-189)
190. Шотландский батист [↑](#footnote-ref-190)
191. Дальше — листки 86, 87, исписанные с четырех сторон. [↑](#footnote-ref-191)
192. Речь идет о польском восстании в ноябре 1830 года и об июльском перевороте 1830 года во Франции. [↑](#footnote-ref-192)
193. Дальше — листки 72, 73, исписанные со всех сторон. [↑](#footnote-ref-193)
194. Иркутский приятель сосланных декабристов, отец известного врача и писателя Н.А. Белоголового, учившегося впоследствии у А.П. Юшневского и других декабристов по выходе их на поселение; был одним из посредников между декабристами в Сибири и их родственниками в Европейской России, получая на свое имя письма и журналы для них в обход жандармской цензуры. [↑](#footnote-ref-194)
195. А.А. Закревский — тогда министр внутренних дел. Переписка велась по вопросу о переходе А.Н. Муравьева на службу ближе к Европейской России. Любопытна здесь проявленная Медоксом поразительная осведом­ленность его о дальнейших предположениях высшей власти относительно служебной карьеры А.Н. Муравьева. [↑](#footnote-ref-195)
196. Дальше — листок 74, от которого оторвана вторая его половина со следами записи. [↑](#footnote-ref-196)
197. Стихи из оды Анакреона в переводе Томаса Мура; в рукописи по-английски, с небольшими описками. [↑](#footnote-ref-197)
198. Дальше — тетрадка из двух двойных листков с нумерацией 75, 76, 77, 78, исписанных со всех сторон. [↑](#footnote-ref-198)
199. Дальше — тетрадка из двух двойных листков с нумерацией 79, 80, 81, 82. [↑](#footnote-ref-199)
200. Дальше — листки с нумерацией 83, 84, исписанные кругом. [↑](#footnote-ref-200)
201. Дальше — листок с номером 90, исписанный с двух сторон. [↑](#footnote-ref-201)
202. Фраза по-французски. [↑](#footnote-ref-202)
203. В.Ф. Раевский был, однако, человеком отличных дарований и хоро­шего образования. [↑](#footnote-ref-203)
204. Дальше — листок с номером 91, на котором запись доведена до половины лицевой стороны, остальная половина и весь оборот чисты. [↑](#footnote-ref-204)
205. Фраза по-французски.

Дальше тетрадка с нумерацией 92, 93, 94, 95, исписанная со всех сторон. [↑](#footnote-ref-205)
206. Дальше — листки с нумерацией 96, 97, 98, 99, исписанные со всех сторон. [↑](#footnote-ref-206)
207. Иркутский гражданский губернатор Иван Богданович Цейдлер. [↑](#footnote-ref-207)
208. Вальсируя в большой зале, сделала сряду 30 туров. (Прим, Р. Медокса.) [↑](#footnote-ref-208)
209. Род Муравьевых дал России многих государственных и общественных деятелей. В связи с заговором декабристов пострадало восемь Муравьевых кроме их родственников: Сергей Иванович Муравьев-Апостол — повешен, брат его Ипполит — застрелился после разгрома восставшего Чернигов­ского полка, их брат Матвей был в ссылке 30 лет, Артамон, Никита и Александр Муравьевы были в ссылке до смерти, Александр Николаевич Муравьев был в Сибири на службе в качестве ссыльного несколько лет, его брат Михаил отделался легким арестом. [↑](#footnote-ref-209)
210. А.Н. Муравьев был в ссылке в Верхнеудинске с 1826 по 1828 год. [↑](#footnote-ref-210)
211. Дальше — группа листков с нумерацией 100, 101, 102, 103, исписан­ных сплошь. [↑](#footnote-ref-211)
212. Великий народ. [↑](#footnote-ref-212)
213. Потом Медокс включил эту историю в свой провокационный донос на декабристов. [↑](#footnote-ref-213)
214. Дальше — тетрадка из восьми страниц на листках 104, 105, 106, 107. Оборот последнего исписан на одну четверть. [↑](#footnote-ref-214)
215. Н.П. Репин был отличный рисовальщик; сохранились его рисунки, относящиеся к истории пребывания декабристов в Сибири. «Петровский костюм» — костюм декабриста в Петровской каторжной тюрьме. [↑](#footnote-ref-215)
216. Все это «занимательное» Медокс изложил в доносе на декабристов. [↑](#footnote-ref-216)
217. Дальше — тетрадка с нумерацией 108, 109, 110, 111 исписана сплошь [↑](#footnote-ref-217)
218. Дальше — тетрадка из двух двойных листков с нумерацией 112—115 и 113 и 114, но листок 114 оторван, а переходящий на листок 115 конец фразы, относящейся к записи между 19 и 23 августа, не имеет начала. [↑](#footnote-ref-218)
219. «Воспоминания аптекаря об испанской войне» *(фр.).* [↑](#footnote-ref-219)
220. Счастливец *(фр.).* [↑](#footnote-ref-220)
221. Дальше следовал листок 114, оторванный от листка 113 [↑](#footnote-ref-221)
222. Имеется в виду К.П. Ле-Дантю, прибывшая в это время в Иркутск и 16 сентября 1831 года обвенчавшаяся с декабристом В.П. Ивашевым [↑](#footnote-ref-222)
223. Д.П. Таптыков — член Оренбургского тайного общества, пострадавший от провокации Ил. Завалишина, брата декабриста. [↑](#footnote-ref-223)
224. Дальше — тетрадка из листков с нумерацией 117—120 и 118, 119, исписанных со всех сторон. [↑](#footnote-ref-224)
225. Варвара Ивановна Ланская — жена С.С. Ланского, друга А.Н. Муравь­ева и товарища его по масонству. Ланского Медокс называет в одном из своих доносов как человека, вокруг которого собираются друзья декабристов. [↑](#footnote-ref-225)
226. Н.Н. Муравьев — основатель известной Школы колонновожатых, в которой учились очень многие будущие декабристы. В числе преподава­телей этой школы были Александр Николаевич Муравьев и его брат Михаил Николаевич, один из основателей тайных обществ, отошедший от заговора задолго до 1825 года и впоследствии сделавший большую административную карьеру. Школа колонновожатых является тем учеб­ным учреждением, из которого впоследствии была образована Академия Генерального штаба. [↑](#footnote-ref-226)
227. Дальше — тетрадка с нумерацией 121,122,123,124; листки исписаны сплошь. [↑](#footnote-ref-227)
228. «Домашняя медецина Бюшена, том IV». [↑](#footnote-ref-228)
229. Дальше — тетрадка из двух двойных листков: 125—128 и 126—127, исписанных со всех сторон. [↑](#footnote-ref-229)
230. И походит на пришивание флера к маске. (Прим. Р. Медокса.) [↑](#footnote-ref-230)
231. Добрый малый *(фр.).* [↑](#footnote-ref-231)
232. На этом обрывается сохранившаяся часть Дневника Медокса за время его пребывания в доме А.Н. Муравьева. Другие записи его о событиях и людях, которым посвящен этот Дневник, — в доносах его на декабристов. [↑](#footnote-ref-232)